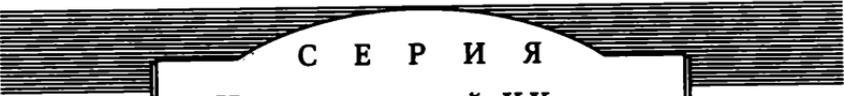


**Галина
Цурикова**

**Тициан
ТАБИДЗЕ**

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ





С Е Р И Я

Неизвестный XX век



Галина Цурикова
ТИЦИАН ТАБИДЗЕ
жизнь и поэзия



Тициан Табидзе
АВТОПОРТРЕТ
Избранное



Галина Цурикова
ТИЦИАН ТАБИДЗЕ



Тициан Табидзе
АВТОПОРТРЕТ



УДК 821.161.1-311.4-312.6

ББК 84.3(2Рос=Рус)7

Ц87

*Издание выпущено при поддержке
Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации Санкт-Петербурга
Издание Санкт-Петербургской общественной организации
«Союз писателей Санкт-Петербурга»*

Выражаем признательность
сотрудникам рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН,
Государственному музею грузинской литературы
имени Г. Леонидзе (Тбилиси),
а также Александру Сватикову за помощь,
оказанную в подготовке данного издания

Редактор *Наталья Соколовская*

Цурикова Г. М.

Ц87 Тициан Табидзе: жизнь и поэзия / Под общ. ред. Н. Е. Соколовской; Подг. текстов И. С. Кузьмичева; Послесл. И. И. Рожанковской. — СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2015. — 471 с.; ил.

Предлагаем вниманию читателей *первое полное неподцензурное* издание книги историка литературы, критика Г. М. Цуриковой «Тициан Табидзе: жизнь и поэзия». Текст печатается в первоначальной авторской редакции.

Это *единственная* и в России, и в Грузии книга, посвященная жизни и творчеству известного грузинского поэта, его дружбе с русскими поэтами и особенно душевному родству, связывавшему Тициана Табидзе с Борисом Пастернаком.

Также в настоящее издание включен корпус избранных стихотворений Тициана Табидзе в переводах русских поэтов.

Книга выходит в год 120-летия Тициана Табидзе и 125-летия Бориса Пастернака.

ISBN 978-5-94668-162-9



- © Г. Цурикова, наследники, 2015
- © Т. Табидзе, наследники, 2015
- © И. Рожанковская, послесловие, 2015
- © И. Дадашидзе, состав раздела «Автопортрет. Избранное», наследники, 2015
- © И. Кузьмичев, подготовка текста, 2015
- © ООО «Издательство “Росток”», 2015

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга была задумана почти пятьдесят лет назад, в период короткой «оттепели», когда можно было называть вещи своими именами и прямо указать дату убийства поэта Тициана Табидзе: 15 декабря 1937 года. Много позже это подтвердится и листом из следственного дела: «Являлся активным членом национал-фашистской организации в Грузии; проводил вредительскую работу на фронте литературы и искусства... Расстрелять».

Книга была сдана в набор в октябре 1969 года. Однако из подписанного в печать (только в марте 1971 года) макета сведения о гибели поэта исчезли. Вместо них появился эвфемизм: «ушел из жизни»... Цензуре подвергся весь текст, последняя глава исчезла.

Тогда книга вышла в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» крошечным по тем временам тиражом в пять тысяч экземпляров и быстро стала библиографической редкостью. Надо сказать, что ни на русском, ни на грузинском языках монографий о Тициане Табидзе ни до, ни после — не появлялось.

Однако доцензурная машинопись книги сохранилась в личном архиве Галины Михайловны Цуриковой, а после ее смерти была передана родным в Пушкинский Дом. Именно этот текст и лег в основу настоящего издания. (Угловым скобками отмечены фрагменты издания 1971 года, отсутствовавшие в машинописном тексте.)

За время работы над книгой Галина Михайловна стала другом семьи Тициана Табидзе. Тогда еще была жива Нина Александровна, вдова поэта. Ее голос, ее воспоминания звучат со страниц книги, воскрешая истории дружб, связавших русскую и грузинскую поэзию. Константин Бальмонт, Андрей Белый, Сергей Есенин, Илья Эренбург, Сергей Городецкий, Николай Тихонов, Борис Пастернак...

Многие страницы этой книги посвящены душевному и творческому родству Тициана Табидзе и Бориса Пастернака, поэтов, чья дружба не закончилась с гибелью одного из них.

Писатели, художники, музыканты, упомянутые в этой книге, бывали в доме Тициана на Грибоедовской, 18. Сидели за овальным столом, под удивительным, сине-зелено-черным портретом работы Ладо Гудиашвили: коленопреклоненный Тициан держит на вытянутой руке блюдо с халдейскими городами. Портрет этот и сейчас можно увидеть в мемориальной квартире Тициана на Грибоедовской улице, и стол, за которым он любил работать, как прежде, стоит в столовой... Только гораздо реже, чем это было в двадцатые и тридцатые, а потом в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, собираются за ним приезжающие в Грузию русские поэты.

Это книга о Грузии, с которой связаны, начиная с Пушкина и Лермонтова, самые, может быть, прекрасные страницы русской поэзии. В русской литературе существует введенное В. Н. Топоровым понятие «петербургский текст». То, что правомочно понятие «грузинский текст русской литературы», показывает, в том числе, и книга Г. М. Цуриковой.

Читая эту книгу, хочется, как сформулировал в одном из писем Борис Пастернак, «в тоске по русской культуре — вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этой тоскою».

Последний творческий вечер Тициана Табидзе состоялся 21 марта 1937 года в Ленинграде.

Это *первое полное неподцензурное* издание выходит в Петербурге, в сто двадцатую годовщину со дня рождения поэта.

Галина Цурикова
ТИЦИАН ТАБИДЗЕ
ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ

*Памяти
Нины Александровны Табидзе*

...и над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мною улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице...

Борис Пастернак

Миролюбивому поэту, не державшему оружия в руках, снились кровавые битвы; несмелый, застенчивый, он жил в мире неутолимых страстей; благополучный, удачливый — в личной жизни и в литературе, — он себя ощущал над обрывом, чувствуя рядом пропасть, предвидя раннюю гибель, и много писал об этом; лишь после трагической катастрофы стихи зазвучали пророчеством, — прежде *трагизм* казался поэтическим своеобразием.

Борис Пастернак был поражен душевной щедростью этого человека, бездонностью сложной, затаенной души, направленной только к добру, способной к ясновиденью и самопожертвованию. «Тициан Табидзе, — писал Пастернак, — был устремлен внутрь и каждую свою строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души».

Поэзия была его жизнью и страстью, его биографией:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит,
И живо схоронит. Вот что стих...

В те годы Илья Эренбург писал в своей «Книге для взрослых»: «У человека, отдавшего себя искусству, нет биографии; даты рождения и смерти, встречи с людьми, радости и горести, — это только

иллюстрации; текст — в стихах, в холстах, в масках актера...».

Биография Тициана Табидзе вбирает в себя и трагическую историю грузинского народа, и пути-перепутья европейской поэзии.

Это — и биография времени тоже, как оно отразилось в человеческой личной неповторимой судьбе.



ПОД НЕБОМ КОЛХИДЫ



Брату Галактиону

*Двое братьев, почти близнецы,
Там, в Орпири, мы выросли оба.
Там зарыты и наши отцы,
Да истлели, наверно, два гроба.
Там дома наши рядом стоят.
Мы в одной малярии горели
У разлива Риона в апреле,
И одни нас истоки поят.*

*Ты томишься по лаврам, а мне
Любо вспомнить о той стороне,
Слушать хриплую жалобу жабью
Или ржавое хлюпанье хляби.
Дилижанс, приближаясь, скрипит,
Чаландари бредет и вопит,
Босоногий певец, и проселок
Полон песен его невеселых.*

*Моя песня лишь отзвук глухой
Той трясины, где прошлое тонет.
То в ней волгий послышится вой,
То как будто бы колокол стонет.
Наши матери сгорбились, ждут,
И поминки справляют старухи,
Да соседи в проклятой округе
Никогда уже к ним не придут*

Перевод П. Антокольского



Орпири — западно-грузинское двуречье: родина Тициана Табидзе. Тицианом он стал — когда уже был поэтом; сначала его звали Титэ, мать и сестры всю жизнь называли его Титико. Он родился 2 апреля 1895 года в селении Шуамтá.

Старший сын деревенского священника Юстина Степановича Табидзе, живой, впечатлительный мальчик, глазастый, светловолосый, с толстыми губами, которые складывались как-то особенно, если ему что-нибудь казалось обидно, — он краснел, когда при нем говорили неправду.

Очень добрый.

Может быть, слишком чувствительный ко всему.

Самый любимый — в большой, с невеликим недостатком семье.

Он легко предавался фантазии: издали слышный, проезжающий по шоссе дилижанс — четверкой замученных лошадей запряженная колымага — представлялся ему длинным связанным зверем, бредущим в полях. Но чаще он среди бела дня скакал на коне рядом с Георгием Саакадзе, бился с персами насмерть, и раскрасавица дева ему воздвигала высокую башню в зарослях у реки...

Большая река струилась у самого дома. Холодные струи бесшумно бежали по рыжему каменистому ложу, слегка шелестели, обегая большие камни; и тихо качался вставший стеною камыш; и скользили вдали груженные хворостом плоскодонки.

Рион широко, двумя потоками расплеснулся по низкой равнине. По зеленым болотистым островам, высоко поднимая ноги, бродили цапли, и отовсюду звучали лягушечьи хриплые хоры.

Горы виднелись вдали, окружая болотистую равнину.

Весной, во время разлива, Рион приходил во двор.

О Рионе рассказывали легенды.

«Старики вели счет годам со времени чумы и большого наводнения на Рионе, когда разбушевавшаяся река несла разрушенные жилища, детские люльки и нырявшие в мутных волнах гробы из разворочен-



ных могил. Неделями выжидали, пока войдет в берега рионский потоп и остановится жуткий оползень», — писал в автобиографии Тициан.

Автобиографию дополняют стихи. В последние годы жизни он, как никогда прежде, много писал о детстве: это — россыпь живописных подробностей, и непосредственность быта, и отпечатки детских фантазий, и пронзительный деревенский воздух.

...Поэт не такой уж мудрец,
Хоть людям и кажется мудрым.
Я все еще тот сорванец
И вышел рыбачить под утро,
И южного зноя багрец
Еще золотит мои кудри.

И кажется ярче парчи
Холщовой рубахи заплатка,
Сладка кислота алычи,
И райская птица, в ночи
Поющая дико и сладко, —
Как все это хрупко, как шатко!..

Танцуют в кустах светлячки.
Под струны старинной чонгури
Читает Натела стихи,
И в бездне рассветной лазури
Алеют вершин ледники.

Озноб продирает по коже:
Негаданно ты наступил
На муравейник. Но кто же
Напасть на тебя напустил?
Ползут и ползут, и похоже,
Что дьявола ты потревожил...

Пусть слезы твои безнадежны,
Ты все-таки плачешь навзрыд.
Вольнка, поющая нежно,
С тобой о любви говорит.
Ты тянешь к ней руки, — и это,
Наверно, рождение поэта...

Перевод П. Антокольского

...кавказские причудливые пейзажи: тропические папоротники, лианы, густые ряды чинар и тополей, просторы пашен вперемишку с бо-



лотами — «фон для романов Майн Рида, которыми я безумно зачитывался, и необычайных приключений героев Александра Дюма».

Закаты в долине Риона: дневное светило спускается в пурпурном пламени в озеро Палеостоми. И комары — туча комаров — пожаром охватывают полнеба...

Орпири лежит у впадения горной реки Цхенис-Цхали в Рион.

«Название этой реки некогда было Таквери, — повествует грузинский летописец, царевич Вахушти, — и когда унесла она в пучину шестьдесят тысяч воинов отброшенного от Анакопии арабского полководца Мурвана Глухого, за это прозвана была Цхенис-Цхали (Река Коней)».

Что же о детстве?

Лежу в Орпири, мальчиком, в жару,
Мать заговор мурлычет у кровати
И, если я спасусь и не умру,
Сулит награды бесам лихорадки.

Я — зависть всех детей. Кругом возня.
Мать причитает, не сдаются духи.
С утра соседки наши и родня
Несут подарки кори и краснухе.

Им тащат, заклинанья говоря,
Черешни, вишни, яблоки и сласти.
Витыми палочками имбиря
Меня хотят избавить от напасти.

Замотана платками голова,
Я плаваю под ливнем роз и лилий;
Что это — одеяла кружева
Иль ангела спустившегося крылья?

Болотный ветер, разносящий хворь,
В кипеньи персиков теряет силу.
Обильной жертвой ублажают корь
За то, что та меня не умервила.

Вонжу, не медля мига, в сердце нож,
Чтобы напев услышать тот же самый,
И сызнова меня охватит дрожь
При тихом, нежном причитаньи мамы...

Перевод Б. Пастернака



Перед Новым годом отец привез из города дивные фрукты — апельсины из Трапезунда. Ну, кто бы решился съесть хоть один из них, не полюбовавшись неделю золотистым плодом в папиросной бумаге?

...Тонут в рыжей грязи дороги. Ихтиозавру не выбраться!

Сам Александр Дюма, будучи проездом в Колхиде, застрял в орпирской грязи, — Тициан охотно об этом рассказывал.

В апреле молочною пеной вскипают яблоневые сады и, стекая ливнями лепестков, отцветают.

Под ливнем лепестков родился я в апреле.

Дождями в дождь, белея, яблони цвели.

Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.

Как слезы глаз моих — они мне издали.

Перевод Б. Пастернака

...Старая церковь за домом давно снесена. Зеленеет, цветет иванчаем площадка, и вход намечают две белые могильные плиты: под одной похоронен отец Тициана, под другой — отец Галактиона Табидзе. А дом — уже ветхий, промытый дождями, и серые выщербленные ступеньки печально скрипят. Во дворе маленький домик — кухня: тяжелые черные бревна прокоптились насквозь, и внутри темно; отсыревшим домом пахнуло: посреди кухни — открытый очаг, откуда-то сверху свисают громадные черные цепи, котлы на цепях. У самого очага стоит массивный низенький стол, трехногие скамеечки-стулья...

Тициан уже взрослым любил возвращаться домой, в Орпири. Мать встречала его тихим радостным причитаньем, без конца повторяла: «Титико, Титико...» — будто падали капли дождя за окном. В домике-кухне садился он на низенькую скамеечку перед огнем, привычный дым ел глаза, и не было ничего вкуснее горячего мчади — рыхлой кукурузной лепешки, снятой с глиняной раскаленной сковороды.

Мать была из среды городского, не бедного духовенства. Она не получила никакого образования, была очень религиозна, однако от природы умна и с завидным характером.

Отец Тициана родился в семье деревенского церковнослужителя.

Он собственным разумом и трудолюбием достиг немалых успехов. В юности он мечтал вырваться из своей косной среды и, казалось бы, преуспел: получил неплохое по тому времени образование. Из тифлисской духовной семинарии, где он учился, вышли многие известные писатели, ученые, общественные деятели Грузии, в том числе некоторые выдающиеся революционеры, — там шло в конце прошлого века брожение умов. Юстин Табидзе в семинарии усвоил дух российского нигилизма, идеи русских шестидесятников. «Всю свою жизнь, — писал

Тициан, — отец мой благоговел перед русскими просвещенцами: Н. Чернышевским, Н. Добролюбовым, Д. Писаревым и почти до конца жизни помнил всего Некрасова наизусть».

Закончить учение ему не удалось. Осенью 1886 года затравленный семинарским начальством, доведенный до предела отчаянья тихий семинарист Иосиф Лагиашвили убил ректора семинарии Чудецкого. Последовали репрессии, и в числе многих других бывших на подозрении был изгнан из шестого класса Юстин Табидзе. В Тбилиси он сблизился с литературными кругами, принимал участие в журнале и газете «Иверия» Ильи Чавчавадзе; работать устроился секретарем недавно образованного в Грузии Юридического общества. Все складывалось удачно, и вдруг, три года спустя, рухнуло из-за чистой, казалось бы, случайности.

Сельский приход отца должен был унаследовать брат Юстина Василий Степанович, который прежде был дьяконом; хлопотали о нем и добились, что был Василий рукоположен в сан священника. Он, довольный, возвращался домой из города, простудился в дороге, заболел и умер, оставил семью; уже после смерти отца Василия родился сын его Галактион, который впоследствии стал знаменитым поэтом.

Галактион Табидзе — двоюродный брат Тициана.

Вдова и дети остались на руках старого священника. Не без труда убедил он Юстина пожертвовать будущим ради семьи. Рассказывают, что, умоляя сына вернуться в деревню, старик угрожал ему, что иначе бросится с моста в Рион (они встретились в Кутаиси).

«...Внезапное ли появление деда и его настойчивость, или всегдашнее безволие отца — не знаю, что решило его судьбу, но отец окончательно оставил Тифлис и уехал в добровольное изгнание в деревню, где был посвящен в сан священника имеретинским епископом Гавриилом, в миру Герасимом Кикодзе, автором одного из первых учебников психологии и логики на русском языке, в свое время удостоенного похвального отзыва Добролюбова, — писал Тициан. — В первые годы по инерции отец еще занимался литературой, выписывал все журналы и газеты, сотрудничал в печати и был в постоянной переписке с друзьями, но скоро почувствовал, что навсегда оторвался от города, и ограничил себя деревенской жизнью. По болезни оставил учительство в основанной им приходской школе, где я получил первоначальное образование...»

Говорят, что епископ, заметив, как угнетает Юстина Степановича мысль о необходимости стать служителем церкви, сказал ему:

— Везде можно делать доброе дело. Ты используй свое положение, чтобы улучшить жизнь твоей паствы. Священник в деревне — тот же учитель!

Внешне все выглядело благопристойно: ему подыскали невесту — добрую, преданную, из хорошей семьи. Братья Елизаветы Окропировны закончили духовную семинарию, а двое учились даже в духовной академии; когда сгорел старый дом и вся большая семья была вынуждена ютиться в тесном домике отца Василия, братья Елизаветы Окропировны купили ей дом — тот, большой, а заодно прикупили еще земли с виноградником. Один из братьев матери давал впоследствии деньги, на которые Тициан смог учиться в гимназии и в Московском университете.

«Больной и раздражительный, отец пользовался всеобщим уважением во всем округе, к нему ходили за советами из далеких сел и горных поселков, хотя он был необщителен и в одиночестве доживал свою, как он думал, загубленную жизнь. Зато мама за всех попевала, соседи ставили ее всем в пример, она не гнушалась даже полевой работы, оправдывая свой труд болезнью мужа и множеством детей, хотя работа была ее стихией, а в деревне, как она говорила, есть только одна работа — в хозяйстве».

Отца рано разбил паралич, — мать так самоотверженно за ним ухаживала, что выходила, и никогда не жаловалась: муж не может работать — болен. Только бы жил! Детей было пятеро: три сына и две дочери. Мать сама справлялась с мужской работой, чтобы выбиться — дать образование детям. В деревне ее называли «Отарова вдова» (по рассказу Ильи Чавчавадзе). Ее уважали за справедливость и прямоту. Четырех лет ее старший сын уже ходил в школу, организованную отцом у себя же в доме; как-то сам того не заметив, он выучился читать и с тех пор с книгами не расставался.

...По размытой дождями дороге шлепали лошади, грязью забрызганные до грив, голос кучера слышался за три версты, собирая мальчишек, и мальчишки бежали за дилижансом. «Я этого зова жду. Я лезу через плетень. Я прыгаю через канаву. Моя голова повязана от солнца платком. Я бегу к дилижансу, чтобы взять нашу газету “Цнобис пурцели” (“Листок знания”). А во дворе нашего дома собрались уже люди. Видели б вы мою гордость, когда я громко читаю в газете о русско-японской войне. У отца большие глаза, но если б и не болели — что может быть лучше: сын в деревне читает отцу газету, а вокруг собрались крестьяне и тоже слушают новости. Все просто поражены: такой малыш, а как разбирается в книжной науке!»

Отец не хотел, чтобы старшему сыну, любимцу семьи, довелось когда-нибудь повторить его участь. Отец мечтал видеть сына образованным человеком, духовно свободным, не зависимым от обстоятельств.



«Отцу моему ничего не стоило настоять на моем светском образовании, хотя для этого требовалось больше средств», — писал Тициан. Нужны были деньги, а значит — согласие богатых родственников: надо было нарушить обычай, согласно которому детям священника признанный путь в духовное училище, из него — в семинарию, в духовную академию, если кому особенно повезет (этот путь предстоял Галактиону Табидзе). Ни одного из своих сыновей Юстин Степанович не послал в духовное училище: младшие братья Тициана учились в так называемой дворянской гимназии (преподавание там велось на грузинском языке). Классическая гимназия открывала двери любого университета России.

«В 1905 году отец взял меня в Кутаис — подготовить для первого класса классической гимназии...»

Виктор Шкловский, увидев этот город впервые, заметил: «Дома в Кутаиси были бы реалистичны для театра, а для города они слишком театральны; так в театре покойного Марджанова изображали старый Тифлис».

Развалины древнего храма Баграта высятся над Кутаиси.

Вдали, белея вершинами, тянется горная цепь.

Много солнца и много зелени. В центре города старый тенистый парк, в котором гимназистам бывать не рекомендуется, особенно по вечерам, но, разумеется, они там бывают. Веселые разноцветные домики ступеньками сбегают к Риону. Дома опоясаны галерейками на столбиках, зелеными, желтыми, голубыми. Балконы висят над рекой. Украшенные арочками и башенками дома окружены садами, оплетены виноградными лозами.

Некогда Кутаиси был столицей богатого Имеретинского царства (Западной Грузии).

Кутаис — губернский город Российской империи, о котором К. Случевский не без горестной усмешки писал:

В Кутаисе и подле, в окрестностях,
Где в долинах, над склонами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал...

Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит...

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, —
Там коллежские наши ассессоры
Подходящее место нашли...

Российская провинция — Кутаиси!

Город чиновников, торгашей, гимназистов.

Один из друзей Тициана, — они вместе учились в гимназии, — поэт Колау Надирадзе рассказывает о Кутаисе — провинциальном, заброшенном городе, с его зловонными улицами, кабацким чадом, с бесконечными сплетнями, сводничеством, сутяжничеством...

По улицам Кутаиса уныло бродили спившиеся чиновники в просаленных фуражках.

Колау Надирадзе вспоминает («как обрывки сна оживают») начальника пожарной команды с толстыми усами и глазами навыкате, длинноносого городского у военного госпиталя, в сапогах с широкими низкими рыжими голенищами, краснолицего генерала на площади, увешанного орденами. Гром военного оркестра на параде мешается с грохотом пустых водовозных бочек, летящих к Риону за водой. В сумерках обходит фонарные столбы человек-призрак с лестницей на плечах, и... слабое мерцание зажженных фонарей в наступившей ночи.

«Я хорошо помню, — пишет Надирадзе, — как впервые в Кутаисе зажглись газовые фонари. Они шипели и разливали белый, чуть лиловатый свет. Первым ввел их Лагидзе, он повесил их перед своим лимонадным заводом, у городского сада».

Свет газовых фонарей привлекал публику. Возле столиков, поставленных прямо на тротуаре, собиралось кутаисское «общество».

Кутаиси — второй после Тифлиса культурный центр Грузии. В Кутаиси Акакий Церетели, знаменитый поэт, бывал — как дома. Здесь жили свои известные писатели — Нико Лордкипанидзе и Давид Клдиашвили. В кутаисском театре охотно гастролировали московские и петербургские знаменитости: город был у них на хорошем счету — мало где еще такой шумный, восторженный, темпераментный зритель.

В Кутаиси много учащейся молодежи. Город имеет классическую и дворянскую гимназии, реальное училище, заведение святой Нины (в Грузии так называли женские гимназии), духовное училище.

И все же...

«Случается, — писал Тициан позднее в одной из своих статей, — что иной человек даже в солнечный день не видит солнца, не замечает во дворе среди других насаждений огромного дуба. Так в детстве не замечали мы исторического величия храма Баграта».

В единственной на всю Кутаисскую губернию классической мужской гимназии — конкурс: случается по сто пятьдесят претендентов на



ежегодные сорок мест. Мальчики, успешно сдавшие экзамен, бывает, возвращаются ни с чем. Особенно трудно приедем.

Владимир Маяковский держал экзамен в старший приготовительный класс Кутаисской классической гимназии в мае 1902 года: «Спросили про якорь (на моем рукаве) — знал хорошо. Но священник спросил, что такое “око”. Я ответил: “Три фунта” (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что “око” — это “глаз” по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился...».

В классических гимназиях многоязыкой Российской империи преподавали, разумеется, по-русски. Кроме живых языков, иностранных, в гимназии изучали мертвые, «классические» языки: древнегреческий и латинский, — оттого и гимназия называлась: «классическая»; еще изучали древне-церковно-славянский язык, — его и в Грузии тоже изучали, хотя богослужение в православной грузинской церкви издавна шло по-грузински, а православие грузинское старше русского на несколько столетий.

Мальчиков, привезенных в Кутаиси для поступления в классическую гимназию, старались пристроить в семью, где бы говорили по-русски, чтобы им легче было овладеть чужим языком, а затем могли бы с помощью малопонятного русского учить и вовсе непонятную латынь.

Интерес к родному языку в гимназистах не поощрялся, попытки говорить по-грузински, хотя бы на переменах, порою наталкивались на грубость и даже издевательства со стороны воспитателей. Впрочем, в те годы, когда Табидзе учился в гимназии, в старших классах преподавали грузинский язык (в неделю один пятый или шестой урок), — это было завоевание революции 1905 года.

Гимназисты организовывали подпольные кружки, в которых изучали родную речь. «Мне особенно помогало, — вспоминал Тициан, — что в детстве я почти наизусть знал грузинскую Библию и общался в деревне с трудовым народом». «Подпольщики» писали стихи и прозу на родном языке (случалось, писали и прокламации против самодержавия, но обычно это бывали невинные сочинения; и стихи, и прозу печатала часто городская газета). В жизни Табидзе и его друзей эти кружки сыграли заметную роль, и тогда же родилось их «святое содружество» — «братство» поэтов, с годами обретшее смысл и форму поэтической школы с красивым названием «Голубые роги», — почти все ее участники вышли из классической кутаисской гимназии. Они все писали с детства стихи. Объединило их патриотическое горение.

Отец привез десятилетнего мальчика в Кутаис в октябре 1905 года, в самый разгар революционных событий. Даже поезд, в котором они ехали, попался «революционный»: в нем везли из Одессы убитого там

черносотенцами известного революционера профессора Саба Клдиа-швили. На вокзале поезд встретили красными знаменами и пением «Марсельезы», похороны превратились в многолюдную и необычную для Кутаиса демонстрацию. «В моей детской памяти революция 1905 года запечатлелась главным образом благодаря этому событию, — вспоминал Тициан. — Красные знамена и революционные песни зажгли восторгом мое мальчишеское сердце. Внимание мое захватили бойцы красного отряда, одетые в гурийские чакури с перетянутыми крест-накрест патронташами. Слово “жандарм” уже вызывало во мне ненависть, а “социал-демократ” — ласкало слух и было для меня полно высокого героического и рыцарского значения».

Революция 1905 года в Грузии — летучее пламя крестьянских восстаний, особенно полыхавшее в Западной Грузии — в Гурии, где едва ли не каждый мальчишка владеет оружием: народные дружины отбирали землю у помещиков, утверждали на местах свою, народную власть. Красная гвардия вела настоящие бои с жандармами. Из России были вызваны казачьи части для подавления восстания; наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков телеграммой затребовал из Петербурга дивизию пехоты с артиллерией, обозами и госпиталем.

В эти дни Акакий Церетели писал из Тифлиса близким: «Здесь такие ужасы, что не поддаются перу. В городе “военное положение” и на днях сделали уже “осадным”. Нет сообщений, выхода ниоткуда, а анархисты и казаки с другой стороны производят ужасы!.. Недавно разнесли Армянский базар. Стреляли из пушек в центре города и перебили всех без разбора. Погибли невинные!.. Вчера разнесли ночью целый квартал Нахаловку, и сегодня мертвые в несколько сот человек валяются на улице, и хоронить их некому...». В другом письме он пишет — из Кутаиса: «Горят дома, лавки и магазины разграблены, и людей убивают, как мух, не разбирая правых и виноватых...».

Учащаяся молодежь Кутаиса была охвачена волнением почти поголовно. Митинги возникали на улице и в стенах классической кутаисской гимназии; во дворе реального училища поставили пушки. Волнение охватило даже девочек из епархиальной школы. Местные газеты писали: «В Кутаисе все средние учебные заведения и городское училище закрыты вследствие забастовки учащихся. Учащиеся предъявили политические требования. Забастовщики — гимназисты, реалисты и гимназистки — устроили политическую демонстрацию». Учащиеся требовали предоставить им свободу собраний и актовый зал для проведения таковых, требовали не допускать в стенах гимназии присутствия военной и политической администрации, требовали экзаменовывать их в присутствии товарищей. Были также требования, связанные с учебной программой: расширить курс новейшей литературы, изъять из программы

церковно-славянский язык, ввести преподавание грузинского языка; даже требовали некоторые уроки вести по-грузински. В демонстрации приняли участие несколько тысяч учащихся. Они пели «Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу» и «Марсельезу», — с пением прошли по главным улицам города.

Как нечто вполне обыкновенное представилась деревенскому мальчику квартира старого учителя Ав. Сулаквелидзе, где его поселил отец: «Это была штаб-квартира революции — сыновья и дочери моего учителя были главарями движения, и я обычно спал на кровати с винтовками под матрацем и как бы заведовал складом листовок, печатавшихся тогда в бесчисленном количестве. Надеялись, что мальчишку никто не станет обыскивать. Этот, казалось бы, наивный, расчет достигал цели. В этом доме я познакомился почти со всеми выдающимися деятелями первой русской революции — многие из них были потом активными участниками Октября».

Революция предстала ему непривычным бытом — полным неожиданностей, опасностей, приключений: «Когда полиция врывается в дом, революционеры выскакивали из окон, а хозяйка дома с проклятьями поминала имя полицмейстера, кажется, Антонова. А на следующий день соседские ребятишки заставляли меня громче читать им “Спартак” Джованьоли, и я горько плакал над тяжелой участью любимого вождя рабов...».

Очаги революции были повсюду: в театре, на улице, в гимназии, в солдатских казармах. Кутаисский театр возглавлял Ладо Месхишвили. Каждое представление «Кая Гракха» превращалось в митинг. «Граждане!» — кричал народ...

«А потом мы мечтали и много говорили о людях далекого социалистического будущего, которое я представлял себе по описаниям Маркса и Бебеля, а иногда рисовал и с помощью собственного воображения, — вспоминал Тициан. — И я писал стихи, которые мечтал напечатать в революционной газете маленького формата, похожей на прокламацию».

Маркса и Бебеля читал уже гимназист.

В пятом классе гимназии он проштудировал «безбожное» сочинение Дарвина «Происхождение видов».

Первые стихи («революционные») относятся, вероятно, к 1906 или 1907 году, ни один из них не сохранился, — это было, наверное, что-то вроде тех стихотворных воззваний, о которых пишет в автобиографии и Маяковский.

Революционный дух держался в классической кутаисской гимназии долго: «Мы писали прокламации, точно классные сочинения», — вспоминал Тициан.

Это было гораздо позже — в 1913 году. Ему хорошо запомнился этот рискованный случай: «В романовские юбилейные дни я написал гроз-

ную прокламацию, где со всем пылом обрушился на династию. Скоро через кого-то из наших товарищей это стало известно гимназическому начальству, — директор резко упрекнул меня в крамоле. Заинтересовались и в Попечительстве Округа, начали следствие, меня ждал арест, но директор не выдал. Спасал ли он честь своей гимназии или молодого поэта, не знаю, но он мужественно выгородил меня из этого дела».

Революция 1905 года была жестоко подавлена на Кавказе. И здесь, как повсюду, наступили годы реакции, общественной смуты, духовной опустошенности и распада. В искусстве — цветение декаданса. Запах тлена и ладана.

Упаднические настроения среди молодежи...

И сюда приходила поэзия смерти, страдания, ночной тьмы.

Поэтическое очарование смерти.

Сологубовщина.

Печальная фигура Сологуба в годы политического ренегатства и безверия — следствия поражения первой русской революции — возросла болезненно-непомерно. «Его тоскующая мысль все с большей и большей убедительностью приподымает покров очарования, которым оказывается вся действительность, — пишет о Сологубе Андрей Белый. — Он воспевает смерть всюю нежностью молитвы, всем жаром страсти; он говорит о смерти, как страстно влюбленный о возлюбленной» («Истлевающие личины»).

В русской литературе трудно найти образ более жуткий и, вместе с тем, ощутимо реальный, чем Передонов, герой сологубовского «Мелкого беса», — учитель провинциальной гимназии, мелкое, пакостное, вьедливое существо, вобравшее в себя всю мерзость и душевную гниль ренегатства.

Успевшая хлебнуть революционного воздуха молодежь не утратила полностью дух протеста, — было в ней некое противоядие против растленных влияний черного десятилетия. «Революционный дух» держался в стенах классической кутаисской гимназии, несмотря на царивший в ней, «как везде почти в бывшей империи», суровый режим; «много было у нас Передоновых, но были и преподаватели, которым я навсегда остался признателен», — писал в автобиографии Тициан.

Менялись формы протеста, принимая подчас неожиданные, странные очертания: в подпольных кружках гимназисты изучали грузинский язык, и одновременно шло широкое проникновение иноязычной культуры в их сознание — увлечение «новейшей литературой», так и не включенной в гимназические программы, «левым» искусством.

«Наша гимназия отдала свою дань и революции, и новейшей поэзии», — подчеркивал Тициан. Вслед за «революционными» Табидзе пишет «символистские» стихи — это взаимосвязано. Еще будучи гим-

назистом, он переводит на грузинский язык стихи Александра Блока, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Иннокентия Анненского; он переводит «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского и французских поэтов. Его оригинальные стихи и переводы печатаются в кутаисских газетах, а потом и в Тифлисе. В его представлении это — начало другой «революции»: в грузинской литературе. *«Еще подростками мы мечтали о перевороте в грузинской поэзии»*, — скажет он позже.

Тициан Табидзе печататься начал с шестого класса гимназии.

Шестой класс гимназии — предпоследний. В шестом классе Паоло Яшвили, тогда еще Павле Яшвили (он стал Паоло потом, когда и Титэ стал Тицианом), редактировал печатный журнал «Стрелы Колхиды» и сам его оформлял как художник.

Табидзе и Яшвили уже тогда были неразлучны, «как сиамские близнецы», по их собственному определению. Тициан писал: «Я вспоминаю (вместе с Паоло Яшвили) Маяковского-гимназиста. Это был рослый, худощавый мальчик. От многих своих сверстников он отличался тем, что прекрасно плавал в Рионе и в случае необходимости не отступал в драке; он явно был непохож на выхоленных и избалованных чиновничьих детей», — у них были общие с Паоло воспоминания.

Паоло Яшвили, сын провизора из Чиатуры, был, как и Маяковский, с детства по натуре трибун. Яшвили был разносторонне и ярко талантлив: учился впоследствии живописи в Париже, играл ведущие роли на любительской сцене, был отличный организатор, творец воинственных манифестов.

«Рядом с Паоло Яшвили, уже и тогда замечательным мастером поэтической импровизации, блистательным юношей, который, подобно фейерверку, сверкал экспромтами и остроумными поэтическими находками, Тициан Табидзе как бы оставался в тени, — вспоминает Симон Чиковани, — в обществе он не мог произвести такого внезапного поэтического эффекта, какой выпадал на долю его друга. Он был застенчив и казался скромным участником товарищеских интимных бесед на поэтических тайных вечерах».

Вследствие каких-то неприятностей, которые грозили исключением из гимназии, Яшвили был вынужден перед самым ее окончанием уехать из Кутаиса в Анапу к родственникам, якобы для поправки здоровья...

В старших классах гимназии (1911—1912) Табидзе был уже признанным в кругу товарищей поэтом. Кроме стихов, он писал прозаические «новеллы», своего рода «стихотворения в прозе». Они роман-

тичны, подчеркнуто антинатуралистичны, поэтически абстрагированы от быта:

«...По умолкнувшей лире Грузии скорбит небо Колхиды. Последняя мелодия порванной струны заставляет рыдать горы Колхиды. Потому и застыли они в скорбном молчании.

Исчезнувшую под небом Колхиды свободу оплакивает с распущенными волосами колхидская дева.

Ты спрашиваешь, почему люблю я небо Колхиды?

— Потому что под ним должен быть погребен пепел моей грешной души.

Ты спрашиваешь, почему люблю я небо Колхиды?

— Потому что здесь стоит гроб моей первой любви...»

«Новеллы» — наивны, пронизаны грустью и... разочарованием. В них много — о смерти.

Газеты писали об эпидемии самоубийств среди учащихся.

Один из бывших кутаисских гимназистов рассказывал, как в классической гимназии служили панихиду по кому-то из добровольно ушедших из жизни (там и Табидзе присутствовал). Учитель богословия, было похоже, сочувственно говорил последнее слово: он, в сущности, поощрял поступок мальчика, который сам ушел от грешной сей жизни, нашел в лучшем мире вечное себе пристанище...

— Кто мог подумать, что он таил в себе эту великую тайну!?

В напряженной атмосфере, во время самой панихиды, застрелился еще один, русский пятнадцатилетний гимназист, а спустя несколько дней покончила с собою ученица епархиальной школы, где учились младшие сестры Тициана, — ей не позволили выйти замуж за того, которого она любила, — назавтра и ее избранник последовал за нею. Весь город говорил об этом. В гимназии спорили, в спорах принимал участие и Табидзе. Он казался грустным. Он был взволнован и озабочен.

Светловолосый, стройный, с нежным, по-детски пухлым лицом, всегда аккуратно, не без щегольства одетый, Табидзе выделялся своей серьезностью, своей глубокой сосредоточенностью, он производил впечатление человека, не привыкшего тратить время впустую; его было бы странно видеть слоняющимся без дела или скушающим. Всегда у него в руках была книга. Он даже знакомство с девушкой начинал обычно с какого-нибудь серьезного литературного разговора, с вопроса, — например:

— Вам нравится Гедда Габлер?.. Вы читали д'Аннунцио?.. Мне интересно, что вы скажете об этой книге...

Друзья обращали внимание: он ходит очень задумчивый и печальный; выжидающе на него посматривали; о нем говорили, что он безна-

дежно влюблен в одну девушку из хорошей семьи, — его грусть приписывали переживаниям.

И будто бы вскоре после самоубийства девушки из епархиальной школы он сказал одному из своих друзей, что решил никогда больше не видеться с той, которую любит, — больше к ней не подойдет; и будто бы он сдержал свое слово.

Не тогда ли было написано это стихотворение?

Нет, моя хорошая, не говори, что я любил тебя.
Не могут эти слова снять с души моей сети печали.
Как будто без этого мало мучений
в мучениях выросшей моей несчастной душе!
То было бредом, что звал я прежде любовью...
В этом краю ты найдешь другого, счастливого:
может ли в мире иссякнуть радость?
Его полюби — он поймет твою ласку...
Что общего, скажи, с тобой у моего горюющего стиха?
Нет, не пой! Я не вынесу звуки гитары...
Воскресает, видишь, что предал волнам забвенья, —
гроза времени того чувства не стерла, —
напрасно старался забыть: все же ее люблю!

Я привожу подстрочный перевод, потому что в нем очевидней сквозящая среди банальных «поэтичностей» истинность переживания.

Мотивы прощанья с «похороненной» любовью устойчивы и в прозаических «новеллах», и в стихах Табидзе, написанных в эту пору.

Они звучат в стихотворении «Ноктюрн»: повторяя мотивы новеллы «Под небом Колхиды», стихотворение рисует колхидскую светлую ночь — ночь родины, которая «качала колыбель моей любви» и теперь «смотрит грустью в глаза» и рассказывает «были минувшего», от которых у души вырастают крылья:

Раненый лебедь оплакивает прошлое,
хочет вызвать из могилы весну
рано похороненных чувств.
Забыл, что времени ливень
не терпит никаких повторений;
забыл, что ласки возлюбленной
не вернет уже и сатана...

Воспоминания «пережитого» облакаются в романтические одежды, раз от раза все более условные — «символические». Постепенно они отдаляются от земного прообраза и превращаются в красивую поэтическую «легенду».

Табидзе пробует себя в разных жанрах. Среди них есть психологическая новелла о роковой любви «Отрывки из дневника», в которой попадают автобиографические детали; но самый сюжет ее к «пережитому» отношения не имеет: в новелле исследуется душевное состояние человека, одержимого любовью, убившего мужа своей возлюбленной, — в дневнике он подробно описывает свои мучительные переживания. Тонкости психологизма уличают семнадцатилетнего автора в том, что он прилежно читал Достоевского, но что ему еще ближе Кнут Гамсун, знаменитый норвежский писатель, с его романтикой современной любви, изломанной и капризной.

«Что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах; нет, — золотое свечение крови. Любовь — это адская музыка, заставляющая плясать даже сердца стариков...»

Кнут Гамсун много писал о любви, и его романы были чрезвычайно популярны среди молодежи. В 1910 году приложением к «Ниве» вышло в переводе на русский язык Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна, оно дошла и до Кутаиса, и тамошние гимназисты им тоже зачитывались.

«Стихи Ал. Блока и романы Кнута Гамсуна завершают круг моих тогдашних исканий и настроений», — писал Тициан Табидзе в черновом наброске автобиографии; в ее окончательный текст имя Кнута Гамсуна не вошло. Философия Гамсуна в сложном плетении ницшеанских идей, прославляющих сильную личность вне категорий добра и зла, «белокурую бестию германца», в тридцатые годы вышла на встречу фашизму: от писателя отвернулись.

Прозаические «новеллы» Табидзе писались под непосредственным впечатлением от сочинений Кнута Гамсуна.

Однако их романтичность, их книжность не исключают искренности. Они — свидетельство душевной взволнованности, остроты ощущения мира. Как и стихи, эти прозаические миниатюры — меланхоличны, пронизаны юношеским скептицизмом.

Порой обратит на себя внимание живая подробность или «пейзаж с настроением»:

«Вечер. Туман печальности застилает окрестность. Подобно недавно овдовевшей женщине, оделась в черное деревья. На свинцовом небе белое облако вздрагивает, словно улыбка на горяющих губах. Земля молится, вопрошая к небу и прося отпущения грехов, и буря поет упокойную пожелтевшим листьям, сорванным листьям засохшего дерева.

Тик... тик... падают на окно капли...»

Грузинская поздняя осень — в траурных черных силуэтах деревьев, в свинцово-подвижных, нависающих облаках, в графической устремленности к небу, в порывах ветра, несущего ливни желтой, сухо шелес-

тящей листы, в характерности жеста, в этой невольно представляемой пластически четкой фигуре воздевшей к небу руки женщины в черном, — она возникает как символ, как силуэт.

В цикле «На грустный лад», из которого взят отрывок, есть своего рода психологическая непосредственность: герою хотелось, очень сильно хотелось выпрыгнуть из окна и целовать углубленья в земле — оставленные ею следы, — их смывал дождь; «как горьки, как горьки воспоминания о том, что любимая женщина, которая вчера была с тобой, ушла навсегда и никогда не вернется»; «в руке дрожит бокал вина» — красивая дань литературной банальности; «тик... тик... падают на стекло дождевые капли, словно повторяя произнесенное тобою имя; холодный поцелуй бури и ее тоскливый крик еще сильнее холодят душу».

Осенний, ветренный, дождливый Кутаис...

«Уй, уй, уй!.. — квакают лягушки. Потоп ожидает вселенную, и кому же если не им оплакать ее...»

«Задумывались ли вы когда-нибудь, о чем поет буря в холодную осеннюю ночь, когда затворены ставни, чтобы не слышать ее стоны, но все же вы слышите пляску высохших ветвей деревьев на крыше дома: их чародейка-буря втянула в хоровод.

Задумывались ли вы...

Хоть и слышите, но не хотите слушать, ибо она поет о той великой дикой страсти, в сравнении с которой наша страсть выглядит ребяческой...

Песня бури — отголосок затерянного где-то в веках римского полководца, который после выигранной битвы с чашей фалернского вина распевает песни Анакреона. В ожидании ласки дрожит рабыня и расплескивает вино...

Песня бури — отголосок песни возвращающихся с войны amazонок, это их окровавленных скакунов шафранные лучи месяца накрыли воздушным покрывалом.

Песня бури — дыхание на грешном ложе дрожащей от страсти Клеопатры и голос затерянного в окрестностях Израиля жениха Суламиты...

Прислушайтесь... Разве не слышите?.. В мрачную ночь как душераздирающе зовет Язона Медея. Знает, что он далеко, но все же зовет, ибо сердце не вмещает потока чувств.

В мрачную ночь жена Потифара ждет раба Иосифа в нильских плавнях...

Буря будит миф, чтобы опьянить человека снами великих страстей прошлого. Дикая песня бури хранит мистерии Диониса».

Разбуженные однажды ноябрьским вечером, они долго будут сопровождать Тициана, эти многоголосые тени: amazонки на окровав-

ленных скакунах; жена египетского сановника Потифара, ждущая раба Иосифа в нильских тростниках; обманутая дочь колхидского царя Медея... Библия, античные мифы, страницы школьной истории — станут частью его собственной жизни; с юношеской щедростью одарит он хрестоматийно бесплотные тени животрепещущим пылом своей души, телесностью почти осязаемой, чувством, томлением, беспокойством.

Богатая фантазия порождает в его творениях мир преувеличенно, пышно эмоциональный. Его завораживает свобода поэтического полета, открытая символизмом: «Твори, что хочешь, ибо *этот мир принадлежит тебе*», — слова Блока он понимает буквально, не чувствуя в них иронической горечи. Его влечет абсолют — любовь в ее идеальном, в ее максимальном воплощении. И он создает свой рассказ-легенду о «древней великой страсти, подобной фонтану, исторгнутому из сердца первобытного человека» (потом она «превратилась в детскую шутку»!).

Свою легенду он строит наивно-последовательно, по рецепту Федора Сологуба: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме тусклая, бытовая, или бушуй яростным потоком над тобою жизнь, — я, поэт, воздвигну творимую легенду об очаровательном и прекрасном». Она так и названа по-сологубовски — «Созданная легенда» (можно перевести и «Творимая легенда»); «легенда» имеет многозначительный подзаголовок: «Воспоминания прошлого».

«О! Сколь прекрасна царица амазонок Иезавель! Ее глаза — зажженный в полночь у спящего озера факел. Роза увяла и утратила всякое желание цвести, увидев грудь амазонки. Луком казались брови, ресницы — стрелами. Густые дебри ее волос черны, как проклятый богом ворон!

И вот она, страсть, дикая до сумасшествия, животная страсть богов, ненасытная, невиданная. На огне этой страсти сгорела безжалостно Иезавель. Месяц в небе таял от вожделения и рыскал по усеянному жемчужинами небу. Он бледнел, он стыдился своей страсти, а она была лишь бледною тенью огня, сжигавшего Иезавель. Мир для нее стал пустыней. Так иногда гиена, заблудившаяся в пещерах, от голода пожирает сама себя. На нее похожа Иезавель, предводительница храбрых амазонок!

И какой же воин мог бы забыть сумасшедшую деву, растрепанное видение на окровавленном жеребце! Потоки крови... Долго ночами успокаивали жены воинов, избежавших меча Иезавель, когда рвали они на себе одежду, вспоминая, как их преследовали амазонки.

И еще был сгоревший от страсти греческий царь Александр. Он любил нежиться в водах Ганга, очищающих от греха. Александр — всемогущий царь, которому сам Язон прислал в дар девушек из Колхи-



ды, при виде которых однажды ночью отравился евнух персидского шаха. Александра полюбила Иезавель...

Кто теперь вспомнит об Александре?

Умирая, он звал в бреду Иезавель, а она в это время вспоминала по пути на Кавказ рассказанную ей Александром легенду об Амيرانе — богатыре, который похитил огонь у Зевса.

Она уже мечтала об Амيرانе».

Жизнь шла, чередуя будни и праздники.

Случалось, что городская газета помещала стихи молодых грузинских поэтов, — такой случай торжественно отмечали: шумной компанией шли к Лагидзе, осаждали столик — пили там лимонад.

Впрочем, раз кто-то из них стащил дома бурдюк вина, привезенный родственниками из деревни. Они захватили с собой хлеб и немного сыра, — отправились за город кутить. Было очень весело, только вина слишком много — столько не выпить! Они надули бурдюк с недопитым вином и пустили в Рион, привязали записочку к тем, кто поймает — пусть выпьют за их здоровье! И пошли домой, распевая песни.

Часто они встречались. Бывали серьезные литературные разговоры, споры. Всего охотнее собирались они у Табидзе: он жил независимо, самостоятельно, без родителей, снимал комнату; вместе с ним жили младшие братья. Собравшись, обязательно читали стихи. И свои, и чужие.

Друзей поражала эрудиция Табидзе, его незаурядный литературный кругозор: Бальзак и Метерлинк, Шекспир и Тютчев, Оскар Уайльд, Кнут Гамсун, французские и русские символисты, Иннокентий Анненский и Михаил Кузмин, особенно его «Александрийские песни», и, разумеется, Достоевский, Блок. Но и Надсон, и Брюсов, и Сологуб...

Сологуб приезжал в Кутаис, когда Тициан Табидзе был еще гимназистом. С ним вместе приехала Анастасия Чеботаревская, его жена, и покровительствуемый ими, тогда еще малоизвестный — Игорь Северянин. Об их вечере в городском театре вспоминает Сергей Давидович Квдиашвили, в ту пору ученик дворянской гимназии, один из друзей Тициана. Он был на вечере вместе с Табидзе, которому гимназическое начальство в тот раз почему-то не разрешило пойти в театр, и он, всегда довольно послушный, весьма успевающий в учебе, вынужден был пойти без разрешения, потому что не пойти он, конечно, не мог.

Сначала Чеботаревская прочитала доклад об Игоре Северянине; потом Северянин читал стихи, — кажется, без большого успеха.

Потом читал Сологуб.

Он был до странности мало похож на поэта. Пожилой, с чиновничьим скучным лицом, угрюмый. Сологуб сошел бы за учителя провинциальной гимназии. Его появление на сцене казалось неуместным.

Сологуб читал певучие, живописующие звуком стихи:

Затхлый запах старых книг
Оживил в душе былое,
В злой тоске пережитое,
В тихом звяканье вериг,
Дни, когда, смиренный инок,
Я молился, окружен
Тучей пляшущих пылинок,
И славянскую печать, —
Прихотливые узоры, —
Отуманенные взоры
Ухищрялись разбирать.

Было что-то отрешенное, веющее стариной и забвением, в самих произносимых им звуках: луч света пронизывал узкую келью, падал пятном на серое рубище, тихо звенели вериги, шуршали ветхие страницы, пахло пылью... Взрывался ненужными аплодисментами зал, а поэт смотрел невидяще и удивленно, хмурился... Пока вдруг откуда-то сверху, из полумрака галерки не послышался звонкий мальчишеский голос: кто-то, захлебываясь, выкрикнул с характерным туземным акцентом:

— Пожалуйста, прочитайте «Чертовы качели»!

Поэт был поражен, прервал чтение и, заметно волнуясь, сказал:

— Как? Меня знают здесь?

Сологуб просил крикнувшего с галерки спуститься вниз и назвать себя, — поэт хотел видеть юношу, который знает его стихи...

Увы, если бы даже гимназист, попросивший Сологуба прочитать стихотворение про чертовы качели, не очень стеснялся, он бы все равно не посмел, придя без разрешения в театр, выйти на сцену и назвать себя. Табидзе подумать об этом не мог, хотя было бы лестно познакомиться с Сологубом и, может быть, даже прочитать ему переводы его стихов на грузинский.

...В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
— Попался на качели,
Качайся, черт с тобой!..

Это двусмысленное «черт с тобой» ему особенно нравилось, и нравились дерзкие стихи, такие отчаянные — как жизнь:

Взлечу я выше ели,
И лбом о землю — трах.
Качай же, черт, качели,
Всё выше, выше... Ах!

Кончился вечер, но два гимназиста долго топтались у входа, ожидая поэтов, потом шли за ними по улице, но подойти и представиться не решились, только незаметно подталкивали друг друга; в конце концов, Игорь Северянин их заметил, подозвал и, как ни в чем не бывало, спросил: не знают ли они, где бы сейчас можно выпить чаю? У Серго Клдиашвили мелькнула мысль пригласить поэтов к себе, угостить их, но было позднее время, и он не решился; подумав, они сказали, что можно пойти на вокзал, там в буфете чай всю ночь подают...

«Новейшая литература», в особенности поэзия символистов, им представлялась отдушиной в той тусклой бытовой, казенной, провинциальной атмосфере, которая их окружала. Это был способ уйти от скучной повседневности кутаисских будней.

«Серая мещанская среда мелкой буржуазии заполнила для нас общественную среду, легко вызывая нас на оппозицию и на все оплеухи общественному вкусу», — напишет, годы спустя, об этом времени Тициан в черновом наброске автобиографии. Потом он поправил стиль — станет: «Город обнищавших мелкопоместных дворян, давно спустивших свои имения, какой-то “аристократической богемы”, изощренных в хитрых выдумках праздных тунеядцев и остряков легко настраивал нас на оппозицию мещанству и “пощечину общественному вкусу”...».

Здесь еще и символизм был пощечиной, хотя в России на смену символизму шел уже более решительный футуризм! «*Пощегина общественному вкусу*» — название первого поэтического сборника футуристов (1912).

Их соблазняли, их влекли за собой литературные призраки — обманчиво живые, — в противовес мертвящей, тупой и беспробудной повседневности.

«Литературные призраки» приходили осенними тучами из-за моря.

Не только поэтические, но и жизненные ассоциации молодых кутаисских поэтов были литературны.

«Кутаис представлялся нам “мертвым Брюгге” Роденбаха, — писал Табидзе в автобиографии. — На фоне этого мертвого города оживали галлюцинирующие призраки, и мы были в плену литературных образов».

Блистательный «мертвый Брюгге», этот некогда пышный фламандский город времен Возрождения, вот уже несколько веков погруженный в сон, похожий на забытье, на затянущуюся агонию, — что общего было у него с Кутаисом?

Печальный, монастырский, живущий как бы под сурдинку Брюгге — объект меланхолических творений бельгийского писателя-символиста, жившего и умершего в Париже, Жоржа Роденбаха; не просто место

действия — центральный персонаж его романа «Мертвый Брюгге» и лирического очерка «Брюгге» из книги «Агонии городов».

Роденбах писал о старом Брюгге как о своей минувшей, но не забытой любви, о неизбежной печали воспоминаний.

«Красота пегали выше, чем красота жизни!» — утверждал Жорж Роденбах.

Выступая на Первом Всесоюзном съезде писателей, Тициан Табидзе скажет о «поколении, зачатом до войны и революции — в капиталистической агонии», о молодом человеке, которого двадцатый век застал стариком, о «замечательных французских поэтах», павших в патриотическом угаре Первой мировой войны, в предсмертных судорогах вспоминая Бодлера и Малларме: они «видели заходящее, черное солнце декаданса, хоть умирали за возрождение родины».

Их символом был «мертвый Брюгге».

С новейшей французской поэзией Табидзе и его друзья с гимназических лет были знакомы основательно. Они читали «Цветы зла» Бодлера с их извращенной чувственностью, с их эстетикой ужаса, пластической образностью ночного кошмара. Они знали толк в импрессионизме и экспрессионизме (разбирались и в живописи). Ценили Верлена, его образ — музыкально текучий, изменчивый, подвластный настроению, интонацию интимного разговора, нарочитую антисоциальность. Артюре Рембо и Жюль Лафорг были ими вдвойне почитаемы и любимы: непохожесть, особенность, отдельность Рембо и гейневский скептицизм, ироничность Лафорга; смятенность души, трагизм и безмятежность, чудовищность гипербол и подчеркнутый антиэстетизм, риторичность в сочетании с доверительностью... А зыбкая иносказательность метафоры Малларме, ее скрытая эмоциональность! А трагический лиризм безумного Лотреамона, рано умершего и почти неизвестного... Все это входило в их плоть и кровь, бралось на вооружение, должно было содействовать глубинному перевороту в недрах грузинской поэзии, дабы поставить ее в один ряд с европейской лирикой нового века.

Они были молоды, смелы, уверены в своих силах.

Французских поэтов они читали по-русски, предпочитая брюсовские переводы.

В 1913 году в переводе на русский язык вышла «Книга масок» французского критика, теоретика символизма Реми де Гурмона, — эта книга оказала серьезное влияние на формирование их теоретических убеждений. Табидзе читал ее внимательно и неоднократно, отмечая важнейшие, отвечающие его собственным представлениям строки (в его домашней библиотеке сохранился этот экземпляр); впоследствии он часто ссылался на авторитет Реми де Гурмона.

Крупнейший французский теоретик символизма авторитетно заявлял, что творчество поэта должно быть увеличенным отражением его личности; что нет другого оправдания для человека, пишущего стихи, кроме того, что он пишет себя самого, раскрывает перед другими людьми тот особенный и единственный в своем роде мир, который отражается в зеркале его индивидуальности; его оправдание в том, чтобы быть оригинальным, он должен говорить вещи, никем не сказанные, и делать это в форме, до него не существовавшей.

Со времени первых поэтических опытов прошло несколько лет — разительно изменились за это время стихи Табидзе.

Кто скажет, что это написано вчерашним гимназистом, еще не студентом, пожалуй? Вот это стихотворение — «На маскараде» (1913):

Темно в глазах. А всё кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
Зал дышит алым бархатом и черным.
Звук скрипки небывало удрученным
Ко мне приходит, чтоб во мне открыть
Мне самому неведомые раны.
Как странно... Всё, что было, — всё в году
Бог весть каком уплыло, стало дальним...
Нет имени тому, чего я жду
Сейчас смертельно сладким ожиданьем.
Но впереди — мертвец, суров и светел,
Под смертною рубашкою простой, —
Так некогда, оставшись сиротой,
Моя душа скончалась на рассвете...

...Зурна рыдает. Дикий танец гор
Показывают иностранцам. Скор
И медлен танец. И пищит дудук.
И звук зурны — всё тот же скорбный звук.
Звук реквиема моего. Я знаю:
Нельзя мне вспоминать. И вспоминаю
И май, и яблоню. Ее цветы —
Постелью белой по двору. И ты,
Невозвратимая как время...
Темно в глазах. Но всё кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
А мертвый зал, и шумный, и немой,
Танцует реквием печальный мой.

Перевод Ю. Ряшенцева



Если в первых мало самостоятельных стихотворных опытах Табидзе прозаический дословный пересказ полнее сохранял внутренний смысл и душу оригинала, то в новых его стихах подстрочник бессилён, он — лишь намек на некое поэтическое содержание, — в нём пропадает главное: вкус живого, звучащего слова. Поневоле вспоминаешь слова русского философа и теоретика раннего символизма Вл. Соловьёва о том, что «в истинно лирическом стихотворении нет вовсе содержания, отдельного от формы... Стихотворение, которого содержание может быть толково и связно рассказано своими словами в прозе, или не принадлежит к чистой лирике, или никуда не годится» («О лирике»).

Пересказ — вялая тень лирического сюжета: «Если спросите меня, чего я хочу, ожидание чего меня убивает? Сам не знаю... Прошлое умерло, а в будущее открывается дверь... Душа моя умерла серым утром... Ушедшее время не вернуть, не затрепещет больше душа, ожидая возлюбленную...».

Стихи — прощание с прошлым, тревожное ожидание будущего.

Интонация оригинала несколько иная, чем в переводе Юрия Ряшенцева, — она интимнее, в ней меньше рисовки, несмотря на некоторую велеречивость.

...Мелодичность, текучесть фразы, подвижность образа, смятенность чувства, его неопределенность; и несочетаемость представлений, и неожиданность поворотов мысли. Почти болезненная обостренность мироощущения, и при этом — ни преувеличений, ни выпренности. Психологическая достоверность: напряженное душевное состояние человека в момент глубокого и скрытого внутреннего перелома.

Трагический колорит...

То же — на примере другого стихотворения: «Принц Магог» (1915), близкого по характеру, — те же свойства представлены в нём ещё более интенсивно. Перевод Ю. Ряшенцева не передает, может быть, в полной мере гибкость словесного построения, частично утрачивает звучность аллитераций, но зато характерную сложноплетенность лирического сюжета, образную фактуру стиха воспроизводит с большой степенью поэтической точности, не теряя при этом художественной выразительности оригинала:

Ноябрьский бес приходил с бокалом вина
И подергивал челюстью, коротенькой и смешной,
И потягивался, и поглядывал на меня,
И спрашивал: «Ты ведь пойдешь со мной?..»
Куда мы шли... Мы не шли — метались во мгле
Жеребенком напуганным. За нами на полном скаку
Тишина летела — темный всадник на высоком седле, —
Тишина летела и к груди прижимала тоску.

Казались седые вершины далеких скал
Сломанными крыльями усталого божества.
Небо ли умерло или земля, кто по кому горевал —
Горьким и медленным черным снегом покрывалась трава.
Стонала сова. Нетопырь ей вторил вдали.
Шакал глядел с амбара у схлеста дорог.
И табуном, словно туча, кентавры шли
По черной земле, где властвовал принц Магог.

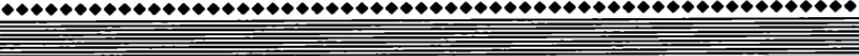
Стихотворение зиждется на субъективном, «внутреннем» видении, конкретном и зыбком одновременно. Смутность пейзажного образа психологически насыщена и закреплена в словесной структуре, оценить которую в переводе почти невозможно, потому что немалую роль здесь играют стилевые оттенки, не передаваемые по-русски: разнохарактерные и просто разноязыкие элементы, поэтические мотивы, возникшие в различной мифологической, литературной и бытовой среде — здесь сплавленные воедино.

«Ноябрьский бес» — народно-сказочный имеретинский «чинка» (болотный чертик); согласно поверью, явление чинок на землю бывает между 15 октября и 6 ноября, их появление сопровождают дожди: маленький длинноволосый чинка обладает сказочной силой — вздымает в воздух дома, — это несущая, безудержная стихия осени.

Рядом — библейский офранцуженный «принц Магог», излюбленные символистами античные полу-люди, полу-кони «кентавры», — они включены в грузинскую литературную образно-речевую фактуру, воссоздающую пластически зримый, характерный пейзаж: ночные долины Кавказа, горы — седые, ночью падающий — кажется черным — снег... Душа — вспугнутый жеребенок. Мчащаяся следом — в седле — тишина:

Тишина на коне за нами мчалась,
Тишина к сердцу прижимала тоску...
Горечь шла черным снегом.
Сове вторила летучая мышь,
И на амбаре присел шакал...

Что было реальной основой, первопричиной тех драматических переживаний? Каких?.. Сам вопрос этот кажется странным и неуместным. Сквозь поэтический прием проглядывает некая жизненная реальность, но разве в этом действительный смысл стиха? Здесь прием, поэтический образ, некая лирическая структура — цель, а не средство; им не надо смыслового оправдания. Их оправдание — целостность эмоционального впечатления, индивидуальность взгляда на мир, своеобразии словесного воплощения...



ХАЛДЕЙСКИЕ ГОРОДА



Автопортрет

*Профиль Уайльда. Инфанту невинную
В раме зеркала вижу в гостиной.
Эти плечи под пелериною
Я целую и не остыну.*

*Беспокойной рукой перелистывая
Дивной лирики том невеликий,
Зажигаюсь игрой аметистовой,
Точно перстень огнем сердолика.*

*Кто я? Денди в восточном халате.
Я в Багдаде в расстегнутом платье
Перегитываю Малларме.*

*Будь что будет, но, жизнь молодая,
Я объезжу тебя и взнуздаю
И не дам потеряться во тьме.*

*Ноябрь 1916
Москва*

Перевод Б. Пастернака

Спасибо великой России, она дала мне постижение — умение заглянуть в тайники души человеческой. Это сделал Достоевский. Она, Русь, приучила меня смотреть на жизнь изнутри, глядеть на нее сквозь призму своей души: это сделал Врубель. Она научила меня слышать в груди моей безысходные рыдания — это сделал Скрябин. Спасибо ей, моей второй родине, спасибо чудесной России...

Константин Марджанишвили

В 1913 году Табидзе стал студентом Московского Императорского университета. По конкурсу аттестатов он поступил на филологический факультет, на историческую секцию пятого философского отделения.

В Москве он прожил четыре года; в 1916 году ездил домой во время летних каникул.

В Москве было много студентов грузин. Табидзе еще застал там своего старого друга по кутаисской гимназии — поэта Валериана Гаприндашвили (друзья называли его Чичико); в 1914 году Гаприндашвили окончил Московский университет и вернулся в Кутаиси. Из кутаисских друзей вместе с Табидзе приехал и поступил на юридический факультет Серго Клдиашвили.

Годы студенчества и все с ними связанное Тициан потом с нежностью вспоминал.

«Студенчество — это такое время, — писал он, — когда не стесняются романтизма; и, как это ни тривиально звучит: есть вечное благородство — и в первой любви, и в первом восторге. Время, проведенное в университете, равно всей последующей жизни; нет такого отъявлен-

тербургских туманах выстрадало предыдущее поколение...» (из статьи, написанной Т. Табидзе по случаю открытия университета в Тбилиси в 1918 году).

Москва тогда не была столицей.

Москва в те годы была культурным центром России.

В Москве царило искусство начала XX века.

«Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом», — писал в «Охранной грамоте» один из сверстников Тициана Табидзе, тогда еще с ним не знакомый Борис Пастернак, только что вернувшийся из долгой заграничной поездки; Пастернак вернулся в Москву словно бы для того, чтобы это все прочувствовать заново, еще раз пережить.

Большая, древняя культура возрождалась в этом молодом искусстве. «Однако культура в объятия первого желающего не падает, — заметил Пастернак. — Все перечисленное надо было взять с бою».

«Московский университет я застал после разгрома университетской автономии министром просвещения Кассо, — вспоминает в автобиографии Тициан. — Лучшие профессора оставили наш университет, и понятно, что наше сознание двоилось, и мы предпочитали слушать лекции опальных тогда профессоров А. Мануйлова, Мензбира и других. При этом я проходил курс некоторых профессоров Лазаревского Института восточных языков и академика Н. Я. Марра, которого до сих пор считаю не только величайшим лингвистом, но и основоположником грузинского научного литературоведения. Из наших профессоров с особенной любовью я вспоминаю декана нашего факультета Аполлона Аполлоновича Грушко, в доме которого жил Скрябин, и академика Матвея Ник. Розанова, который читал курс эпохи Возрождения и Просвещения, семинарии Льва М. Лопатина; меня остро огорчило, что уже отзвучали согретые тютчевской “последней любовью” речи проф. Ключевского, которого никак не мог заменить М. Любавский, наш ректор, ставленник Кассо, одноглазый циклоп.

Но уже приближался канун великой войны, и в воздухе запахло порохом. Позорное дело Бейлиса особенно возбуждало студенчество. Наконец, убийство эрцгерцога положило водораздел нашей жизни.

Литературная Москва была в плену у символистов. Только что приехавший из Дорнаха Андрей Белый принес свое томлению по Иоаннову

Зданию*, горячие споры с Гёте и лекции о театре жеста. Смерть и похороны Скрябина, культ скрябинской музыки и, вместо Иоаннова Здания, храм в Гималаях — «Поэма экстаза». Бесчисленные поэзо-вечера парфюмерного Гарун-аль-Рашида Игоря Северянина, заседания Религиозно-философского общества и формула: от Канта к Круппу; отход русских войск на германском фронте. Оставление Варшавы и конгрессы славянского общества. Приезд Маринетти и Эмиля Верхарна в Москву, заседания Общества свободной эстетики в художественном кружке и выступления Валерия Брюсова, атаки на символизм акмеистов и адамистов, знакомство с К. Д. Бальмонтом, переведившим тогда поэму Руставели «Носящий барсову шкуру», увлечение А. Блоком и Иннокентием Анненским и, наконец, появление на московских улицах и эстрадах Владимира Маяковского, позднее В. Хлебникова и других русских футуристов — вот что вспоминается мне из круга моих исканий и настроений, что меня влекло и, так или иначе, отразилось в дальнейшей работе».

Это говорит о широте и разнообразии интересов студента-историка, о литературно-художественной среде, с которой он, оказавшись в Москве, соприкоснулся (он с этой средой довольно близко познакомился через старших своих друзей, а больше — благодаря активности грузинского землячества, в деятельности которого охотно и много участвовал).

Это говорит об общественной атмосфере, в которой три года жил Тициан.

А театральные увлечения? О них можно судить лишь по косвенным замечаниям, брошенным мимоходом. В статье «Котэ Марджанишвили» (1933) Тициан походя вспоминает запомнившийся ему разговор о Марджанове между Бальмонтом, Сологубом, Алисой Коонен и Таировым в день премьеры «Фамиры-Кифареда» И. Анненского в Камерном театре, — в кабинете у директора театра, — «тогда я был молодым поклонником театральной Мельпомены и, затаив дыхание, прислушивался к их беседе», — пишет он; тогда он дружил с Бальмонтом и часто его сопровождал, за кулисы Камерного театра попал, вероятно, с ним.

А Шаляпин?

Попасть на оперный спектакль с участием Шаляпина было трудно, и студенты ночами простаивали у театра, чтобы купить дешёвый билет на галерку. С. Д. Клдиашвили вспоминает, как он однажды тоже выстоял целую ночь, но билетов ему не хватило, и он в отчаянии взял на Собинова.



* Речь идет о первом, задуманном Р. Штайнером, «Гётеануме» («Иоанновом здании»), всемирном центре антропософского движения в Дорнахе. — *Прим. ред.*



— Слушай!.. Что говоришь... Что Собинов? Я на Собинова сам достану! На Шаляпина как попасть? — обиделся Тициан.

На Шаляпина они все же попали: пошли вдвоем, попросили театрального служителя — за небольшую мзду он их пустил на галерку, — у Серго Квдиашвили это получалось, а без него Тициан пойти не решился бы.

...Милее мука, если в ней
Есть тонкий яд воспоминаний.

Ин. Анненский

Увлечение Иннокентием Анненским — это и восхищение его литературоведческими, критическими опытами («Книги отражений»); особенно — исследованиями в области классической филологии («трагическая Медея» — о ней Табидзе писал стихи, еще будучи гимназистом: она родилась в Колхиде, вблизи тех мест, где прошло его детство!).

Но, конечно, главное — восторженное отношение к Анненскому поэту, которого высоко ценил Александр Блок.

Теперь Тициану стал еще понятней и ближе строгий лирик Анненский, несколько даже «академичный», сторонящийся модных крайностей, затаенно трагичный, скрыто гражданственный, приоткрывающий душу современного человека и не делающий фетиша из буйно рвущейся и неразумной страсти, понимающий ее преходящую сущность.

Собственные стихи Табидзе в первые годы его пребывания в Москве — преимущественно «чистая лирика», мало самостоятельная, хотя говорить о прямой подражательности как будто бы нет оснований. «Святое» в душе — лишь оно достойно искусства! — думалось Тициану.

В искусстве — истинное бессмертье души:

Исчезнет всё, и все умрут. И эти
Одежды свадебные снимут с нас.
Могильный мрак опустится на сети
Чувств, не успевших расцвести сейчас.
Кто вспомнит, что любили мы с тобою,
Узнает кто, что жили ты и я?
Завеса смерти нас укроет тьмою.
«Прости» нам скажет ночь небытия.
И лишь сонет поэта, встав из пыльной,
Забывтой книги, явится. Он — жив.
Он зарыдает над плитой могильной
Под ветром, всколыхнувшим ветви ив.

Погасшее оплачет сновиденье
Сгоревшей жизни прерванную нить
И за поэта вознесет моленье
Тому, кто все умеет рассудить.

Перевод С. Спасского

Его литературные симпатии принадлежали символистам и в этом смысле казались уже несколько старомодны. Особенно привлекали его «старшие символисты» и даже «предсимволисты», теснее связанные с русской поэтической традицией.

В московских стихах Тициана Табидзе «поэт» — «чужой среди чужих» в толпе, которая не знает святыни. Но и забытый — он жив и не исчезнет для света, как не затеряется в пыли книжных полок томик его стихов («Моя книга»); он жив, потому что жива надежда:

...Может быть, неожиданный друг
Почувствует силу красивого скорбного слова,
И сердце его, испытавшее множество мук,
Проникнет в стихи и поймет впечатленья другого.

И так же, как я воскрешал для людей города,
Он в сердце моем исцелит наболевшую рану,
И вспомнятся тени, воспетые мной, и тогда,
Ушедший из мира, я спутником вечности стану.

Перевод Н. Заболоцкого

Воспетые «тени», «воскрешенные города» (еще вернемся к этому) теснят в стихах Табидзе жизнь. Со всей серьезностью он противопоставляет «вечность» поэтических «химер» пестроте и суетности «проходящей» жизни. Лирическая сценка («В парке») — игра влюбленных, музыка вальса, манящая, но не вдохновляющая, обманчивое очарование «страсти» — венчаются многозначительной концовкой:

Что вспомнилось? Веселье балагана.
Мелькнули предо мной былого тени.
И я, от ритмов Берлиоза пьяный,
Затосковал о Блоке и Верлене.

Перевод К. Арсеновой

Давно ли его стихи дышали «пережитым»: первые страсти, «без-
временно похороненная» любовь, — теперь все это в прошлом, «ть-
нь былого» — затерявшийся в тумане лет «зеленый островок».

Новым стихам эмоции чужды.

Не потому, что им в его жизни уже не было места: стихи писались в счастливую пору, когда увлечения сменялись одно другим, и впечатлениями жизнь была как никогда богата. Но не это казалось достойным стиха. Если и мелькнет в его поэтических творениях страсть, живое чувство, — то в свете призрачном и жестоком:

Как хохочет откровенно
Грех безумный и нагой...
Страсть темно и дерзновенно
Завывает, как гиена,
Над могилой дорогой...

«Голубой эдем», перевод Ю. Ряшенцева

Даже любовь стала «мечтой», воспоминанием о прошлом: «бес-
смертная» любовь, противостоящая «страсти», — «дорогая могила»...

Не надо думать, что в эти годы он стал святошей или отъявленным грешником. Вовсе нет! Лет через десять, вспоминая московские «страсти», он об этом скажет почти с умилением:

Ходим, читаем «Восстание в Гурии»,
И колокольный слышится звон.

«Исе Назаровой», перевод С. Ботвинника

«Восстание в Гурии» — роман Эгнате Ниношвили о революции 1905 года. У Тициана с детства была потребность читать понравившиеся книги друзьям, для женщин не делалось исключения. Литературные разговоры и воспоминания о Грузии сопровождали его любовь.

Живое чувство казалось несовместимо с искусством, и надо было удалиться — все равно: время или расстояние, — чтобы услышать тот «колокольный звон».

И не случайно одно из лучших его стихотворений московской поры называется «Дальней» (здесь следует вспомнить слова Реми де Гурмона, относящиеся к Стефану Малларме, — они отчеркнуты в книге, принадлежавшей Тициану Табидзе: «Сознательно убив в себе всю непосредственность простых и живых восприятий, он из поэта превратился в настоящего виртуоза»):

Будь дальней! Бездну отдаленья
Тоской заполню. Ведь на свете
Нас только двое. Так и встретим
Мы даже светопреставленья.

Я не задам тебе вопроса
О сущности моих влечений,

Но знаю: ты — моих мучений
Нераспустившаяся роза.

Меня твой дальний ветер будит.
Душа о шип твой зацепилась.
Возьми ее — о, сделай милость, —
Она тебе не в тягость будет!..

Юному поэту не совсем удастся убить в себе непосредственность чувства — искренность душевного порыва прорывается сквозь изысканный, на грани банальности — восточнейшая утонченность! — образ. Эта роза, с ее шипами, произрастала в далекие времена в «Саду грусти» настоящего виртуоза — не просто поэта — Бесариона Габашвили (Бэсики): «Ты видишь — в сердце у меня занозы, изранен я шипами гордой розы...». Но если там этот образ был поэтическим воплощением «страсти», то здесь он — высокий символ «чистой» любви. Излишняя живость лирической эмоции глушится декларативной концовкой стихотворения — традиционно-похоронной:

...О, грезы, ставшие золою.
Хвалы надтреснутые крики.
Склеп из химер багрово-диких
Для дорогой и дальней строю.

Перевод Л. Мартынова

В жизни он не был такой меланхолик. Доверчивый, экспансивный, немного робкий, наивный, он любил музыку и хорошее общество, не сторонился женщин, был вспыльчив и восторжен до слез, и его любили...

«Он был очень юн, худощав, нежен и имел, говоря его же словами, “профиль Уайльда и голубые глаза”», — рассказывает Симон Чиковани. Это — «Автопортрет»:

Профиль Уайльда. Инфанту невинную
В раме зеркала вижу в гостинной...

В другом, более позднем стихотворении Тициан писал, вспоминая юность: «Я был похож на Антиноя...».

Гипсовые маски Антиноя в московскую пору его жизни были обычным украшением художественных гостиных, — Антиной считался идеалом облагороженной страданием мужской красоты.

Сравнение артистично, хоть не лишено чувства юмора:

Я был похож на Антиноя,
Но все полнею, как Нерон.

Я с детства зрелостью двойною
Мук и мечтаний умудрен...

Перевод Б. Пастернака

...Кое-как он справлялся с своей провинциальной застенчивостью. «Титэ Табидзе — сотрудник газеты “Сакартвело”» — значилось золотом в белых, заказанных им визитках; время от времени он посылал в Тифлис известия о московских литературных новостях. Он купил полосатые брюки и пестрый галстук, завел модную трость и старался держаться уверенно, независимо. Это ему почти удавалось. Если бы только не ребяческая серьезность, во всем сквозившая!

Грузинское землячество устраивало литературные вечера и концерты с участием известных писателей и артистов, а также большие балы и банкеты в пользу неимущих студентов, раненых воинов-грузин, а иногда в честь знаменательной даты или события.

Главою грузинского землячества в Москве, его почетным председателем считался князь Александр Сумбаташвили — артист императорских театров и популярный драматург А. И. Южин-Сумбатов, очень знаменитый, очень корректный, очень эlegantный и при этом неизменно внимательный к своим кавказским соотечественникам.

«Впервые я увидел его, — вспоминает Табидзе, — в 1914 году на большом банкете. Сумбаташвили произнес речь, поблагодарил присутствующих, которые, не уставая, славословили его, потом стал говорить о своих личных друзьях: об Илье Чавчавадзе, Акакии Церетели, Васо Абашидзе и Вахтанге Тулашвили — людях, воплотивших идеалы своего поколения. В это время в Москве на литературном фронте появились футуристы. Эти нигилисты не шутили. Сейчас для меня смысл слов Сумбаташвили становится яснее: в период ожесточенного отрицания всё и вся Сумбаташвили требовал уважать и ценить то истинное и непреходящее, что создали “отцы”...»

В пору всеобщего расшатывания авторитетов и низвержения «классиков» с «корабля современности» Александр Сумбаташвили выступил, по сути дела, в защиту грузинских «Пушкина и Достоевского» — писателей-«шестидесятников» Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели, на которых как будто никто еще не обрушивался, но — шло к тому — должны были вскоре обрушиться свои «нигилисты»-ниспровергатели. В этой роли в ближайшие годы предстояло выступить Тициану Табидзе и его кутаисским друзьям. Тогда Тициан, вероятно, и сам еще этого не предвидел, но — как знать, — может быть, предостережение Сумбаташвили все же пало на благодатную почву.



В январе 1915 года, когда умер Акакий Церетели, Табидзе написал о нем статью-некролог для московского театрального журнала «Рампа и жизнь», где называл его «последним из могижан славного поколения шестидесятников, деятельность которых в Грузии, как и в России, отмечена терниями и неугасающим светом подвижничества».

«Чарующие, сверкающие проникновением стихи Акакия воспитали несколько поколений и закрепили за ним славу учителя поэзии», — писал Табидзе в этой статье (она была написана по просьбе Сумбаташвили, и он же ее одобрил: «Для меня это была первая моя русская статья, — вспоминал Тициан, — и легко представить, как подействовало на меня одобрение Сумбаташвили»).

Об Илье Чавчавадзе Табидзе писал позднее, сравнивая его с Бальзаком, — что он «своим влиянием заполнил XIX век в Грузии»; в прозе «Илья Чавчавадзе главенствовал полновластно».

«Огромное влияние Ильи Чавчавадзе на современников и на следующее поколение ни с чем не сравнить...» Илья Чавчавадзе, «как утес, стоял непоколебимо, заполняя собой все поры общественной жизни, — писал Тициан. — И новые поколения пробовали свои волны, ударяясь об этот утес».

Всю жизнь сохранит он почтительное уважение к двум гигантам грузинской литературы — Акакию и Илье, как без фамилии, по имени только называют их в Грузии. «Нигилизм» в отношении к заслугам «отцов» — это для Тициана так же немислимо, как проявить неуважение к собственному отцу, пронесшему через всю свою жизнь искреннюю веру в идеалы русского демократического шестидесятничества.

Вместе с тем, его литературные убеждения в чем-то смыкались с «нигилистическими» выступлениями московской поэтической молодежи, с дерзкими заявлениями Маяковского: «Из писателей выживают чиновников просвещения, историков, блюстителей нравственности... — писал Маяковский в статье “Два Чехова” (1914). — Вот с этим очинолничением, с этим канонизированием писателей-просветителей, тяжелою медью памятников наступающих на горло нового, освобождающегося искусства, борются молодые».

Маяковского, которого Табидзе помнил по Кутаису гимназистом еще, в Москве он застал поэтом с очень громкой, хотя и не выходящей за пределы небольшого литературного круга, скандальной славой. Колоритная фигура Маяковского-футуриста притягивала студентов. Симпатия к земляку — почти грузину — несомненно, тоже сыграла роль, — отношение к Маяковскому определилось наперекор тому, чего можно было ожидать: равнодушный к направленным против символизма выступлениям акмеистов, активно недоброежелательный к «повсесердно утвержденному» Игорю Северянину и влюбленный в Бальмонта, Та-

бидзе смотрел на Маяковского с удивлением и восторгом. Правда, в студенческие годы он так и не возобновил знакомства — он был застенчив и, может быть, просто не решился к Маяковскому подойти.

Он познакомился в Москве со многими поэтами-символистами, с Михаилом Кузминым, с Сологубом, подружился с Бальмонтом, но так и не встретился с Блоком. Кажется, даже не был ни на одном его выступлении...

Маяковского он предпочел видеть издали. «Помню вечер, — писал он, — устроенный в нашем университете под председательством профессора Самсонова. Более ста молодых поэтов из студенческих кружков выступило на этом вечере. Были среди них и символисты, находившиеся под влиянием Брюсова и Кузмина. Большинство же оказалось зараженным эгофутуризмом северянинского толка. Обыватели приходили в восторг от “поэзо-вечеров” Северянина. И только Маяковский мог осмелиться возвысить голос в защиту подлинной поэзии». Маяковский у всех на глазах развенчивал всеобщего кумира; в его стихах «из сигарного дыма ликерною рюмкой вытягивалось пропитое лицо Северянина», — и в это лицо бросалось гневное:

Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Маяковский внушал уважение независимостью и смелостью поведения, решительностью суждений; «а его поэма “Облако в штанах” явилась для нас подлинным поэтическим открытием и откровением», — писал впоследствии Тициан. Маяковский был сам по себе и как будто над всеми. «В художественно-литературных кругах, на так называемых вечерах “свободной эстетики”, главенствовал Брюсов, футуристы склоняли перед ним голову, а он принимал от них похвалы как должное, — вспоминал Тициан. — Эти вечера посещали все модные поэты, включая крестьянского парня Сергея Есенина. Один лишь Маяковский стоял в стороне...» Тициана восхищало его презрение к авторитетам.

Андрей Белый издал свой роман «Петербург».

О московских литературных новостях для тифлисской газеты «Сакртвело» Титэ Табидзе писал в рецензии на роман Андрея Белого: «Это было в прошлом году, когда поляки бежали из Галиции в Россию. За одну неделю Москва превратилась как бы в лагерь беженцев. Что-то печальное и несчастное было в этом народе. По улицам бродили

печальные тени, и тени эти плакали. Я тогда физически ощутил, что такое родина и как любят ее поляки».

Он пошел на маленький (говорилось: «интимный») русско-польский вечер с участием польских писателей-беженцев. Там Бальмонт читал нараспев свой перевод поэмы Ю. Словацкого: оплакивал Польшу; потом с тоскливым воодушевлением сказал речь — о белом рыцаре, обагренном кровью, о распадении дружной семьи славян... И один поляк, писатель, вздрагивая от гнева, рассказывал: немцы проходят Польшу с огнем и мечом, чинят в народе зверства... И в зале стоял плач, и плач сливался с плачем Словацкого и Мицкевича...

Казалось, какая связь между лингвистическими исследованиями Н. Я. Марра в области древних халдских клинописей и конгрессами Славянского общества; музыкой Скрябина и выступлениями Валерия Брюсова в Художественном кружке; его чеканно марширующими стихами и громкими голосами грузин на банкетах, которые устраивало московское грузинское землячество? И как все это могло сказаться в поэтическом творчестве Тициана Табидзе?

Между тем, связь была — несомненно!

Война и трагедия Польши, литературные впечатления, лекции в Институте восточных языков об историческом прошлом народов Кавказа — это все дало неожиданный сплав, который вылился в первую поэтическую книгу Тициана Табидзе «Халдейские города».

Собственно, речь идет не о книге как таковой — скорее о поэтическом замысле, в котором соединились мысли его об искусстве и размышления об истории своего народа, о сегодняшней Грузии и о себе самом, об отце, о доме. «Халдейские города» — поэтический «мир», в котором он жил на протяжении нескольких лет: «мечта».

Он воздвигал города, оживляя забытые тени предков, — он понял, что есть родина для человека. Он вспоминал историю Грузии, много раз пройденной огнем и мечом, — полчищами разноязыких завоевателей.

Прошлое и настоящее.

«Мрачное солнце былого величия Грузии» сходило в пучину слез, реки краснели кровью, горе рвалось из узды, — в трауре застывала душа:

О, долгий путь и бесконечный плач наш
Над гробом собственным. Погост далек,
Но всех проклятий, всех угроз, — палач наш, —
И этот долгий путь вместить не смог.
И белый призрак над кортежем вьется —
Мадонна белая — пресветлый лик...
А пурпурному солнцу остается
Над морем слез — один недолгий миг.

Последний луч над горьким морем тает.
Горит звезда, как скорбная свеча...

Перевод Ю. Ряшенцева

Он впервые по-настоящему осознал, почувствовал, пережил эту неразрывную связь — единство человеческой личной судьбы с судьбою народа. И в своих стихах впервые подошел к этой новой для него, неожиданно емкой, бездонной теме.

Табидзе к ней подошел впервые, осознав ее в обостренно личном и трагическом плане, но открытие это за несколько лет до него сделал Блок.

Тициан, конечно, и раньше читал, знал хорошо стихи Блока из цикла «На поле Куликовом»; но, видимо, нужно было еще пережить и разлуку с домом, и начало большой войны, и появление в Москве польских беженцев, — для того, чтобы в давно знакомых стихах Александра Блока для него прозвучало, как пережитое, свое:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
 Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
 Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
 В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
 Я не боюсь...
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
 Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
 Закат в крови!..

Стихотворение Тициана Табидзе «Белое сновидение» не кажется подражанием этим стихам, несмотря на то что в точности повторяет образы Блока: бесконечность дороги и безбрежность тоски, окровавленный закат — все это не внешне только похоже, но и осмыслено подобно; и все же это — не слепок, но скорее осознанная попытка повернуть блоковское поэтическое открытие лицом к истории Грузии, осмыслить найденное Блоком — для себя.

Блок прочитан еще однобоко: утрачено, может быть, главное — то, что самому Блоку представлялось наиболее ценным, — взгляд в будущее, внутренняя энергия, напряженность мироощущения. То самое:

И вечный бой! Покой нам только снится
 Сквозь кровь и пыль...



Табидзе хотел усилить трагическое звучание стиха, показать горькую участь своей страны; однако его понимание народной судьбы пронизывает безнадежность.

Прощание с «мрачным величием прошлого»: «И сегодня мы провозжаем свой собственный гроб, и бесконечна дорога на кладбище».

Он даже спорит с Блоком, с его: «Не может сердце жить покоем», — он заканчивает «Белое сновидение» мольбой, обращенной к Мадонне (по преданию, Грузия — удел Богородицы):

...Мадонна, мать распятого народа,
где мы успокоимся, где сложим свои кости?

Култ Мадонны, «распятый народ» — осязаемая близость польской трагедии.

Замысел книги «Халдейские города» возникает на стыке смутных исторических ощущений и ясной тоски по дому.

В Москве 10 января 1916 года Табидзе пишет стихотворение «Ноябрь»:

Высохший лист платана желтизною тяжелой вышит,
Над куполом церкви старой снуют летучие мыши.
Долина плачет от песни улетающей журавлиной,
И осень пьет за здоровье зимы, что вдали за долиной.
Там ураган свирепеет, в дикой пляске шалеет,
В бесовском огне сгорает, ни других, ни себя не жалеет...
В сумеречную пору к душе подкрались печали, —
Они этот вечер, казалось, туманами укрывали.
Отец вернулся со службы, суббота глядит обновой,
Виден отблеск молитвы на седой бороде отцовой.
Глаза впиваются в сумрак, тонет во мраке местность,
Ураган, как ведьма, терзает вздыбленную окрестность.
Ноги в грязи янтарной вязнут. Темень тупая.
В жухлых листьях осенних скрываюсь я, утопаю.

Перевод Л. Озерова

Душа поэта в осенней рионской долине, — ей зримы оттуда московские вьюги. (Любопытно: в стихах той поры нет даже упоминания о Москве.)

Летом 1916 года, во время каникул, он приехал домой, в деревню, долгожданный гость и хозяин, старший в семье (отец вовсе ослеп, был очень болен). Сохранилась открытка, посланная Тицианом в июле этого года из Орпири Валериану Гаприндашвили:

«Дорогой Чичико! Я надеюсь, что Вы ко мне приедете с воскресенья на понедельник. Может быть, Вы увидите Григола Вашапидзе, я ему все-таки написал письмо. Если встретите Паоло, извинитесь за меня перед ним. Я надеюсь, что до Вашего приезда я перекрою крышу дома, если не успею — не важно. Будет сом, вино, виноград, инжир и другие восточные *natures mortes* и также живая натура. Ваш Тициан Табидзе».

Поэзия символистов — еще одна бессильная попытка преодолеть трагизм и дисгармонию человеческого сознания мистическим, ирреальным путем, — поиск выхода в мир, которого нет. В том мире живет *Илаэли*, приходящая в полубреду сказочная принцесса (она является молодому герою романа Кнута Гамсуна «Голод»). Поэзия — блоковская Незнакомка...

«*Незнакомка*, — писал Александр Блок в статье “О современном состоянии русского символизма” (1910). — Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это — дьявольский сплав из многих миров, преимущественного синего и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал *Демона*; но всякий делает то, что ему назначено».

Уйти в мир искусства, сделать искусство жизнью, а жизнь искусством. Посредством неких магических действий, именуемых в одних случаях «поэзией», в других — «живописью» или «музыкой», воплотить «мечту», поэтический призрак, свою Незнакомку!

Русский символизм был в состоянии глубокого кризиса; это чувствовал Блок, понимавший безысходность, спекулятивность символистской эстетики. Идеи символизма уводили от жизни, снимали вопрос о будущем, убивали в человеке действенность и целеустремленность.

Поэзия самого Блока не уместается в рамках символизма. В поэзии Блок, так же как Врубель в живописи, в музыке — Скрябин, ставит неумозрительные, но рожденные жизнью вопросы.

В сознании современников Блок и символизм были неразделимы.

Влияние Блока на Тициана Табидзе сильнее, чем влияние символизма. (Это не мешало ему считать себя символистом.)

Сам Блок был поражен и напуган уныло односторонним влиянием декадентской поэзии, и даже своим собственным, на молодежь. Об этом говорит написанное им 8 марта 1912 года письмо Али Арсенишвили, молодому грузинскому поэту, студенту Петербургского университета, — впоследствии (он стал критиком) одному из близких друзей Тициана. С этим письмом Тициан познакомился летом 1916 года дома, во время каникул. Письмо было адресовано многим — ему тоже, он это понял. Блок писал о поэзии — той, современной, которой они все поклонялись: она же для вас — как «елисейские поля», «благоуханные цветущи-

щие поляны прошлого». Блок писал Али Арсенишвили: «Ваше такое тонкое и такое человеческое выражение: “с ними мне не так грустно, т. е. грустней еще”. Я это чувство очень хорошо знаю, временами подчиняюсь ему и не люблю его, или, выражаясь по-Вашему, “еще печальней люблю”. В этом же смысле могу сказать: “не люблю стихов” — т. е. “слишком болезненно люблю”, за то, что все прошедшие стихи (и мои в том числе) способны стать вдруг “полями блаженных”, царством забвения. Чем меньше сил для жизни, тем слаще забвение...». С этой «сладкой тоской» стихов спорил Блок. «Мы пришли не тосковать и не отдыхать, — писал он. — То чудесное сплетение противоречивых чувств, мыслей, воль, которое носит имя человеческой души, именно оттого носит это радостное (да, несмотря на всю “дрянь”, в которой мы сидим) имя, что оно все обращено более к будущему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже, — но поскольку в прошедшем заложено будущее... Милый друг, берегитесь елисейских полей; пока есть в нас кровь и юность, — будем верны будущему... Если Вы любите мои стихи, преодолите их яд, прочтите в них о будущем».

На протяжении нескольких лет Табидзе писал стихи, пронизанные этой «сладкой тоской» о прошлом («Сонет поэта», «В парке», «На кладбище», «Моя книга» — их много); и — словно что-то вдруг изменилось: в «Голубом эдеме» впервые мелькнула надежда. Изменилась тональность стихов. В «Автопортрете» поэт с уверенностью сказал, обращаясь к жизни: «Твои удила у меня в руках, чтобы этот ад превратить в рай».

Существеннее другое: долгий и сложный процесс приобщения к жизни, поэтического слияния с нею, — в этом процессе Блок — и никто другой в такой мере — был учителем, был примером для Тициана Табидзе.

«Халдея» у Тициана восходит к «историческим» истокам: к лекциям Н. Я. Марра, прочитанным в Лазаревском Институте восточных языков. Изучая древнейшие халдские клинописи, пытаюсь проникнуть в тайну исчезнувших загадочных народов Месопотамии и Малой Азии, академик Марр сравнивал древний халдский язык с живыми грузинскими и армянскими диалектами, сохранившими очень старые формы, доказывая тем самым языковое родство — живую преемственность между полубогатырской Халдеей и современной Грузией и Арменией.

Халдея — поэтический символ.

Историческая Халдея (одно из ее названий — «государство Урарту») славилась успехами наук, высокой культурой, военной мощью.

Для Тициана Халдея — символ национального благоденствия.

Не стоит преувеличивать «историзм» поэтического цикла «Халдейские города»: здесь сама история ирреальна. В этих стихах, по словам самого Табидзе, «больше романтики и мистического тумана», патриотических мечтаний. Это — скользкий, литературно опосредованный отблеск его патриотических чувств.

«Халдея» у Тициана Табидзе отчасти напоминает «историческую» Россию Блока — романтическую Русь, живущую в сердце поэта, в его сознании — нерасторжимую с личностью самого творца поэтическую стихию, служащую ему духовной опорой:

Опять с вековой тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...
Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековой тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!..

Поэт как бы рождается заново в этой исторической стихии, и все отчетливее представляется ему невозможность поэтического существования отдельно от исторической судьбы народа.

Табидзе улавливает свое собственное состояние в блоковских стихах о России десятилетней давности, написанных на гребне первой русской революции; он переосмысливает их для себя в иное время — на рубеже нового социального взрыва.

Его «Халдея» — еще условней, еще туманней, чем блоковская «Русь»; еще трагичней — ведь она целиком в прошлом. Она, эта Халдея — «мечта»; ей сродни «пурпур» и «синева» блоковских «лиловых миров», пронизанных «золотым мечом» и «пронзающих сердце» магатора («теурга»). «Здесь утверждается положительно, — писал Блок, — что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть “наши представления”...»

Сложный мир поэтического воображения («мечты») полон живых соответствий с реальным миром. Они — эти два мира — неразделимы.

Тициан Табидзе считал себя символистом, но была разница между ним и Брюсовым, Белым, Бальмонтом: его аргонавты причаливали

к берегам невыдуманной Колхиды — недалеко от дома, в котором он сам родился, — и он своими глазами видел то устье Риона, которое было символом для его московских учителей, — где когда-то причалил первый греческий корабль, тот самый, «золотая трирема Арго» (он был исторической реальностью для Тициана).

«Аргонавтами» называли себя московские символисты «второго призыва». Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, сын московского профессора математики, взял это имя в качестве литературного псевдонима) видел себя на борту «Арго» в позе Орфея, «взрывателя музыкой мертвых твердынь». Так они играли — в поэтическую утопию, защищаясь «мечтою» от пошлости профессорского, староарбатского быта. Они пытались искусством «склеивать» стремления душ, воплотив эти соединенные усилием разума стремления в некий поэтический символ — «Арго»; и на этом символическом корабле они мечтали «отплыть от берегов умиравшего мира».

В предисловии к своей книге воспоминаний «На рубеже двух столетий» Андрей Белый писал, надеясь отвести справедливые упреки современников в мистицизме: «Если бы мы были мистиками в том смысле, в каком нас изображали <...> надо было бы ждать, что мы, наняв баржу в Одессе, поплывем к устью реки Риона за отысканием пресловутого барана; все знали: барана мы не искали и в Кутаис не ездили, а сидели в Москве». В том-то и дело, однако, что не «отыскание пресловутого барана», а именно «сложение воль», которым занимались «аргонавты», сидя в Москве, было наиболее откровенной, хотя и весьма утонченной, формой мистицизма.

Табидзе верил в существование «барана». В его представлении мифические аргонавты, Медея, золотое руно Колхиды — отзвук истории; миф — историческая легенда, сохранившая в преображенном виде память народа о том, что когда-то было.

Табидзе еще гимназистом писал стихи о Медее, дочери колхидского царя Аэта, увезенной греком Язоном на чужбину и там покинутой им. Написанное в 1911 году стихотворение «Медея» — плач колхидской царевны о далекой родине:

...На чужой стороне я в печали сгораю —
Без отцовской земли, без родимого края.
Вянет нежности сад, одолели несчастья:
Даже мертвой смогу ли в Колхиду попасть я?
Плачьте горько вы, дочери в доме Аэта,
О безгрешной сестре, пропадающей где-то...
На далекой чужбине должна погибать я —
Истлевать мне живой средь могильного праха,

Даже кости дрожать будут в склепе от страха,
Услыдав надо мною отчизны проклятье!

Перевод С. Ботвинника

В стихах Тициана Табидзе мифологические образы лишены специфического для символистов мистического осмысления. Если у Андрея Белого стилизованные «кентавры» — символ неких противоречивых качеств души человеческой, носители мистического начала, то у Табидзе они — идущие табуном, словно туча, — всего лишь необычная, «перевернутая» метафора.

В стихах Табидзе, трактующих библейские мифологические сюжеты, поражает чрезвычайно конкретное, исторически осмысленное толкование лиц и событий. Даже откровенно мистические эпизоды Библии теряют у него свою религиозную основу, иногда сохраняя при этом специфическую фразеологию (что-нибудь вроде «кары Господней»).

Так, в стихотворении «Трепещи, Валтасар!» (1916) у него прошлое изобличает современность, предвещающая гибель царской тирании — нарек откровенный:

Трепещи, Валтасар, сметено твое царство, —
Трепещи, Валтасар, трепещи!
Уже смерть рассчитала последний удар свой,
Скоро сгинешь ты в черной ночи...

Поэт отбрасывает важнейшую пророческую «деталь» библейской легенды: во время торжественного пира Валтасара с тысячей его вельмож, «в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала <...> мене, текел, упарсин (считано, взвешено, разделено)», — в ту же ночь, как сказано в Библии, Валтасар был убит. В стихотворении Табидзе пророчество звучит как сила исторической неизбежности; в нем — пафос ненависти к тирану.

Внешне стихотворение напоминает холодно-монументальные стилизации Брюсова, певучие импровизации Бальмонта, однако в нем пульсирует свежая кровь — иная мера пристрастности и лирической непосредственности:

...Да, бедняга, по грубым, по скользким ступеням
Ты спускаешься в смертную тьму.
Нет пощады ни пиршествам, ни песнопеньям,
Ни гостям, ни тебе самому.
Ибо участь твоя — это кара господня,
Приговор рокового суда.

И твой пепел, что ветром рыдающим поднят,
Завтра сгинет и он без следа...
Трепещи, Валтасар! То не факелы пира,
То врывается Кир в Вавилон.
То не кравчие пира, а воины Кира
Притаились у грешных колонн.

Перевод П. Антокольского

В стихотворении преобладает почтительное уважение к истории. Изображение пластично, выразительно — как барельеф, раскопанный в красных песках, — он вопиет беззвучно: дымные тени горящих факелов снуют по стенам тысячелетия назад сгоревшего дворца, и тени воинов скользят среди колонн, изгрызенных временем и песком.

Тициан Табидзе сознавал всю сложность литературно-исторических связей, породивших стихи из книги «Халдейские города». В автобиографии он подчеркивал: «Больше всего я чувствую некоторое соответствие моих стихов дореволюционного периода с стихами А. Блока “О России”...».

Но дело было не только в Блоке.

Розу Гафиза я бережно вставил
В вазу Прюдома,
Бёсики сад украшаю цветами
Злыми Бодлера...

Это — из декларации, открывающей «Халдейские города». В автобиографии Тициан разъясняет: «Под розами Гафиза я разумел давнишнюю тягу грузинской поэзии к иранским лирикам. Прюдома я брал как образ французской формы, помня из письма Г. Флобера. “Сад Бесики” — цветник грузинской поэзии, “восточно-западный диван”, где грузинский стих дошел до предельного совершенства после Руставели, сохраняя величайшую напевность и органичность...».

«В саду Бесики сажаю ядовитые цветы Бодлера», — писал он в стихотворении «L'art poétique» («Искусство поэзии»). При этом его заботило, как сохранить национальную самобытность стиха, насытив его всеми богатствами, найденными на чужбине.

Чанги моя от стыда бы сломилась,
Если бы еле
Внятные слуху стихи под гитару
Вдруг зазвенели.

Его не прельщала бездомная слава. Он твердо помнил — во имя чего это...

Пусть же вполголоса я напеваю
Песню несмело —
Верю: пленит соловей безголосый
Сад Сакартвело.

Перевод Б. Лившица

Сакартвело — Грузия.

Свое призвание Тициан ощутил едва ли не в детстве; поэзия с младенческих лет была для него «хлебом насущным», — об этом неоднократно писал он сам. Но была ли поэзия для него только «мечтой», «полями забвения», миром, воссозданным посредством магии слова, чью магнитную хватку он ощущал повсеместно? Или чем-то еще?

Блок видел в поэзии подвиг человеческого духа, устремленного в будущее. «Путь к подвигу, которого требует наше служение, — писал А. Блок, — есть прежде всего ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе».

Александр Блок — первое имя, которое Тициан в своей автобиографии назовет в ряду четырех имен русских поэтов, «открывшихся» ему в разное время — «как *воплощение поэтического подвига*».

Блок для Тициана Табидзе — пример поведения, не только поэтический образец.

Оправдание жизни художника — поэтический подвиг.

Тициан ощущает неотвратимость подвига для себя. «Халдейские города» открывают стихи об этом. Одно из первых стихотворений цикла носит название «Без доспехов» — незащищенным поэт вступает в неравный бой:

Мне представляется порою,
Что мир — огромный сад,
Где всё — проклятье и отравы,
Где гибель — шаг любой.
И без доспехов, хмурия брови,
Три всадника летят:
Я узнаю в лицо Верхарна,
Эредиа, Рембо.
Я чувствую, что по ошибке
Сюда ввели меня.
За исполинскими тенями
Я с трепетом слежу.
И, как ребенок робкий, плачу,
Невольный страх кляня...

Отравленный мир «проклятых поэтов» — сад, одурманенный «цветами зла», затоптанный, как будто по нему прошел табун кентавров, — этот мир в стихах Табидзе не поэтическая условность, не подражание любимым поэтам — это мир увиденного и пережитого. В зеркале поэтической условности, разумеется. Трагическое мировосприятие Табидзе имеет те же истоки, что и трагическая лирика раннего Маяковского: идет 1915, 1916 год. Дух истребления, бессмысленной и бесчеловечной бойни; жестокость распространяется, мир охвачен войной...

В искусстве — не только в поэзии — царит смутное, в клочья рвущееся сознание безумства происходящего, тревожное предчувствие, предощущение гибели насквозь прогнившего, утратившего устойчивость жизнеустройства.

Войны в стихах Тициана Табидзе нет: есть войною порожденное состояние потерянности в этом жестоком мире — в море крови и слез:

Кто в этот сад впустил ребенка?
Кто душу городов
Исполнил ядовитым дымом,
Застлавшим все вокруг?

В буквальном переводе читается еще определенной: «Кто напустил дым от сгоревших городов в мою душу?».

Зачем за всадником летящим
Тень вырастает в зов?
В пустыне я, но почему же
Я вижу свежий луг?

Перевод Б. Лившица

Характерна эта заключительная фраза, освещенная надеждой, не похожая на «похоронные» финалы многих более ранних стихотворений: в ней детская, не утраченная поэтом способность радоваться жизни, верить в нее.

С именем Блока связан «налет романтизма» — так называл Тициан свои патриотические мечтания, — который долго сопутствовал ему в поэзии (это дало некоторым критикам право называть Т. Табидзе «грузинским Блоком»). «Налет романтизма» не исчезнет и в зрелом творчестве Тициана Табидзе; со временем это сблизит его в какой-то мере с грузинскими романтиками: Николозом Бараташвили, Григолом Орбелиани, с «условным романтиком» Важа Пшавела. К тому же более позднему времени Тициан отнесет свой период «творческих заблуждений».

«Односторонне и пристрастно понимая классическое наследие грузинской поэзии, мы заразились от него националистическими кон-

цепциями», — так он это сформулирует в апреле 1936 года. Осторожная формулировка продиктована, скорее всего, инстинктом самозащиты. Дело в том, что хотя Тициану всегда было чуждо и невыносимо проявление каких бы то ни было националистических пристрастий во всех областях жизни, будь то искусство, языкознание, быт, — в том смысле, как мы это понимаем, — он сам все же не был уверен, что в трудное время всеобщих обвинений и покаяний нельзя будет и его в чем-либо обвинить. Именно поэтому в автобиографии, написанной в качестве предисловия к первому — и при жизни последнему — сборнику стихотворений Тициана Табидзе, вышедшему в переводе на русский язык в Москве, появились эти странно звучащие сегодня покаянные ноты: стремление поспокойнее и помягче сформулировать то, что могут более жестко и пристрастно определить другие. В рукописи автобиографии в этом месте больше всего вычерков и исправлений. Ссылка на классиков — смягчающее вину обстоятельство: «Несмотря на новизну темы и ощущение пейзажа, я все же думаю, — пишет он, к примеру, — что иногда я, конечно, отталкивался от классиков»; дальше идет фраза, не вошедшая в окончательный текст: «В этом (зачеркнуто: “я вижу корень своих ошибок, не обходившихся иногда без...”) было иногда выявление националистического рецидива». Зачеркнуто: «Если лишить грузинских поэтов темы патриотизма, почти ничего от них не останется». Он это понимал, но не решался сказать; он сердился сам на себя и спорил сам с собой, — с тем, искавшим удобную форму «покаяния».

И снова за ним вставала незримая тень Александра Блока.

«На самом же деле, — подказывал Блок, — что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею и в те минуты, когда ее измученное тело хоть на минуту перестают пытаться, чувствует себя отдыхающим вместе с нею?..

Чем больше чувствуешь связь с родиной, — утверждал Блок, — тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальнее в глаза...

Мы, — подчеркивал Блок, — не государственные люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную сеть юридических схем на разгоряченного и рвущегося из правовых пут зверя.

Мы люди, — пояснял Блок, — и значит — прежде всего обязаны уловить дыхание жизни <...> почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя...



Родина — древнее, бесконечно древнее существо, большое, потому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей...»

Блоку виделась Русь, вздернутая на дыбы, разгневанная и рвущая путы, — «Россия начала нашего века».

Время было неудобное для дискуссий даже с самим собой, — Тициан воздержался выносить этот спор на люди...

Классикам все же пришлось это взять на себя — к чему бы им от этого отречься? «Грузинские поэты XIX века возвели в идеал формулу А. Мицкевича, что родину любит тот, что ее потерял, — написал Тициан. — Они восхваляли историческую Грузию, героические подвиги, романтику рыцарских обычаев, а Важа Пшавела распад родового быта ощущал, как конец мира. Но что было закономерно, даже действенно раньше, потеряло всякое оправдание в наши дни». В этом была оценка и собственного своего дореволюционного творчества, ибо поэтическая формула Адама Мицкевича: «*Родину любит тот, кто ее потерял*», — основа поэтического цикла Табидзе «Халдейские города».

...Сознание трагической участи порабощенной в условиях социального и национального гнета Грузии. Настоящему противостоит величие «прародины» — Халдеи.

«Воспевая Халдею как прародину, — вспоминает Тициан, — я больше восходил к историческим истокам, почти позабыв о “цветах зла”».

Мечта целует прошлого следы,
Халдеи сны плывут передо мной:
Нас души предков — яростны, тверды —
Влекут к химерам Грузии родной!

На подвиги твои, отчизна гор,
Столетий опускается вуаль,
Но древней славы вновь горит костер,
И на востоке вспыхивает даль.

Надежды древней медленный напев,
Слова о счастье сгубленном слышны...
Пустыня спит, от зноя онемев,
Пронесется над ней былые сны...

Перевод С. Ботвинника

«Сны Халдеи» — напоминание о древней славе, о пройденных путях, о городах, когда-то знаменитых (теперь — «ничтожество и прах»); но это — и «медленный напев надежды».

В душе поэта рыдает голос предков — «прародителей-магов».

Ему припоминаются слова священных заклинаний, «забытые в веках», «залитый солнцем путь к Сидону» (Сидон — богатый древний порт на Средиземном море); мнится «алтарь победы», поправший песок пустыни:

Созрев для песнопений мощных,
Излиться жаждет дух, —
Теней величественных зова
Благоговейно жду...

Всю жизнь томлюсь по беспредельным
Путям... Далек мой путь...
Под солнцем пламенным Халдеи
Хочу навек уснуть.

Перевод Б. Лившица

Вся эта «беспредельность» могла бы показаться бутафорской, — подражанием Брюсову, — если бы не лирический пафос, перекидывающий мостки в реальную современность.

Исторический «реквизит» прикрывает живые чувства.

Монументально стилизованный брюсовский «царь царей» в стихотворении Табидзе «Асаргадон твоей упился плотью...» («Цветы») становится лирической деталью — символом Времени, образом вечной неизблемости человеческих чувств (любовь становится «исторической» темой). «Похороненная», «дальняя» любовь — бессмертнее «царя царей» Асаргадона:

Глаз голубой лишь светит в целом мире,
Как светлячок, игрой пленяет женской;
И молится в ночи бездомный лирик,
В том свете голубом узнав блаженство.
И долго-долго голубое око
Слепить поэтов одиноких будет,
И лирик пожалеть заставит бога —
Пускай за одиночество не судит

Перевод М. Шехтера

«Восходя к историческим истокам», Тициан Табидзе рядит в исторические одежды и любовную лирику. В стихотворении «Фатьма-Хатун» он берет за «исток» поэму Шота Руставели, воскрешая образ одной из его героинь: Фатьма-Хатун — жена богатого купца Усена, легко дарящая проезжим и прохожим свою любовь:



Терзает душу девы отраженье.
Фатьма-Хатун, твой взгляд мне сны прожег!
О милый призрак, множащий мученья,
Когда бы прошлое вернуть я мог!..

Перевод С. Спасского

Переписав стихотворение на открытку, Тициан по почте послал его знакомой девушке, которую звали Фатьма, бывшей кутаисской гимназистке, у которой он спрашивал когда-то: нравится ли ей Гедда Габлер?

Мифическая Халдея в стихах Тициана Табидзе — не абстракция. Облик прошлого, лики «предков-волхвов» («прародителей-магов») накладываются на реальное лицо современности.

Почти очевидно: «Над кладбищем родимым, как ястреб, мысль кружит...».

Легендарное мешается с будничным. «Маг-прародитель», возникший (в одноименном стихотворении) в томлении по Халдее, мысленному взору поэта рисуется на фоне ежедневной вечерней молитвы, которую читает его отец-священник. Родина — не отвлеченность, не поэтическая декорация, не цепь исторических параллелей, не вереница скорбных дорог. Это — деревня на берегу Риона. Дом из потемневших каштановых бревен. Старая церковь и кладбище рядом:

Священнодействует доселе
Из века в век мой род.
Какое множество обеден
Он отслужить успел!

У нас и ныне на погосте
Храм врезан в небосвод:
Он — герб, что гордому поэту
Дан с первых дней в удел.

Смотрю я, как вечерню служит
Отец на склоне дня.
Псалом мне в душу залегает,
Чтоб лечь на самом дне.

На рясу черную пурпурный
Ложится блеск огня.
Мое томленье по Халдее
Уже понятно мне.

В свече мерещится мне солнце
С его теплом благим



И храм, воздвигнутый во славу
Слепительных щедрот:

Как будто каменные плавит
Колонны знойный гимн
И маг поет, собой начавший
Мой бесконечный род...

Давнее, языческое, дохристианское, почти внерелигиозное что-то проглядывает в этом извечном «священнодействии»: «Астарте предок мой молился, и в ладанном чаду отец возносит Приснодеве дар сердца своего». И поэту они равны: Астарта ли, Мадонна...

Магия слова, таинство поэзии, искусства — вот что его волнует. Все прочее — самообман жрецов: «Доныне не переводились жрецы в моем роду — обедни их состарят, право, и бога самого...».

«Маг-прародитель» — лирическое стихотворение, суть которого в осознании поэтом своего собственного места в мире, в бесконечной цепи явлений. И души предков — их «величественные тени», и зримый облик священника-отца — призваны быть свидетелями «личных действий», говоря словами А. Блока, и не только свидетелями — актерами в этом «театре», где «сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами»:

Не сожалейте о потомке,
О прадеды мои!
Не верьте клевете, что робко
Я перед всем дрожу.

Пусть по себе не совершу я
И краткой литии —
Однажды панихиду миру
Я все же отслужу!

Перевод Б. Лившица

...Паоло Яшвили успел побывать в Париже.

Эренбург однажды встретил его в «Ротонде»: «Было это в 1914 году, — вспоминает он. — Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня:

— А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишете в кафе? Я не мог бы... Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет...»

Паоло учился живописи в Луврской школе, слушал лекции в Сорбонне, вдыхал воздух Парижа...



Борис Пастернак вспоминает рассказ Паоло о том, как он в начале Первой мировой войны кружным путем возвращался домой из Парижа: «На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал, — пишет Пастернак. — Он был рожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл, случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку. Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет...».

В Париже Яшвили познакомился с Бальмонтом. Узнав, что Бальмонт хочет переводить Руставели, он явился к поэту с друзьями и торжественно преподнес ему дорогой фолиант в тисненном кожаном переплете, со старинными гравюрами.

Грузинское письмо показалось Бальмонту восхитительным, звуки грузинской речи — божественными!..

Паоло читал ему по-грузински Шота Руставели и современных поэтов, и свои собственные стихи.

Бальмонт любил экзотику.

Из путешествий Бальмонт привозил редкие книги, амулеты, игрушки, поэтические замыслы.

Незадолго до встречи с Паоло Яшвили Бальмонт познакомился на океанском пароходе — вблизи Канарских островов — с англичанином по имени Оливер Уордроп. Оливер Уордроп был брат Марджори Скотт Уордроп, которая только что перевела поэму Шота Руставели на английский язык.

«Прикоснуться к грузинской розе в просторе океанских зорь, при благом соучастии Солнца, Моря, Звезд, дружбы и любви, и диких вихрей, и свирепой бури, — писал Бальмонт, — это — впечатление, которого забыть нельзя».

Осенью 1915 года Бальмонт побывал в Грузии. Там его принимали по-царски. Паоло Яшвили к его приезду подготовил и выпустил книгу его стихов в переводе на грузинский язык. Паоло едва ли не первый стал переводить Бальмонта в Грузии; при участии Паоло Бальмонту была устроена блистательная встреча в Кутаиси.

К этой встрече Валериан Гаприндашвили написал (по-русски) посвященный Бальмонту сонет:

Всех стран и всех веков тебе подвластны чары,
Ты миром, как вином и как загадкой, пьян,
Певец мгновения, огнепоклонник ярый,
Влюбленный в тишину и в звонкий океан!
Искатель жемчугов и златорунных стран,
Порою ты — дитя, порою — виконт старый,
Ты — ослепительный; достойной нет тиары,
Чтобы венчать тебя, пленительный Баян!
Ты щедро дивные свои рассыпал трели,
Чтоб в звуках сладостных и легких воссоздать
Божественную мощь и пламя Руставели.
Коня поэзии тебе дано взнудать.
Летишь на скакуне к своей мечте заветной,
Сквозь вихрь, — окутанный вуалью огнецветной!

Очарованный встречей, Бальмонт им отвечал стихами:

Как нежный лепет колыбели,
Как странный шорох птичьих крылий,
Люблю содружных Руставели
Гаприндашвили и Яшвили...

Событием в жизни Тициана Табидзе было знакомство с Бальмонтом, блистательным русским поэтом, который взялся перевести поэму Шота Руставели — гордость грузин.

Табидзе явился к Бальмонту (незадолго до его отъезда в Грузию) на дачу в подмосковном Лесном городке, готовый предложить ему свою помощь в работе над переводом. Вероятно, этому предшествовала рекомендация Паоло Яшвили.

«У меня сидит студент-грузин Табидзе. Мой поклонник и переводчик. Он так трогательно и смешно трепещет, видя своего бога, о котором мечтал “всю юность” (причем, юность, конечно, в полном цвете). Осенью в Москве я буду читать с ним по-грузински», — писал К. Д. Бальмонт 13 июля 1915 года А. Н. Ивановой.

Осенью и зимой Тициан стал часто бывать у Бальмонта, носил ему книги, читал по-грузински, переводил, рассказывал о грузинских обычаях, вспоминал историю Грузии, помогал переписывать готовые куски поэмы, показывал перевод знакомым, читал и сам при этом волновался до слез.

«Работа над “Витязем в барсовой шкуре” почти полностью прошла на моих глазах», — писал Тициан спустя два года в статье «Бальмонт и Грузия».



А еще через десять лет он в стихах вспоминал эту зиму и встречи с Бальмонтом:

...Собачьей площадкой пройду я снова,
Миную ограду церковки старой.
Помедлит рука у звонка дверного,
Тут — храм, где живут моей юности чары.

Здесь жил Грушко, наш старый декан.
Здесь споры, что вел со смертью Скрябин.
В портфеле своем я несу Руставели,
И лоб мой в поту, в холодном накрапе.

Ты читаешь — стихам всё светлей, всё просторней.
За окном на деревьях искрится иней.
Земли родной обоняю я корни,
Алыча расцветает в душе моей зимней.

Внимательно слушает Балтрушайтис,
Волошин склонил свою львиную гриву.
Зима осеняет волшебною шалью
Шаири задумчивые переливы...

Перевод В. Державина

Одному из первых Тициан принес готовые куски перевода Сумбаташвили. Как вспоминает Шалва Апхаидзе, — он пришел с ним вместе, — при этом Тициан так нервничал, как будто сам все это написал; он достал из портфеля рукопись, стал читать — торопливо, невнятно; его вежливо остановил Сумбатов: «Подождите, дорогой, дайте я сам прочту...».

Александр Сумбаташвили отнесся к работе Бальмонта участливо; при его содействии в Москве состоялось несколько публичных чтений «Барсовой кожи», как тогда называли поэму Руставели. Одно из первых — в грузинском землячестве.

Тициан вспоминает, как это было:

«Синодальный зал переполнен людьми: грузины, русские, армяне. Бальмонт почти поет. Присутствующие не понимают его напевной манеры. Вот во время антракта он взглянул на одного экзотического грузина с библейской бородой. Это — рачинец, пекарь, он не понимает, о чем спрашивает его Бальмонт, и просит меня перевести. Бальмонт спрашивал, знает ли он Паоло Яшвили?»

— Константин Дмитриевич, — отвечаю я, — он не только Паоло Яшвили, он Акакия Церетели не знает и пришел сюда отдать дань уважения Шота Руставели... — Бальмонт несколько успокоился, потом



поднялся на эстраду и снова запел свой перевод. Конечно, люди опять не понимают его чтение. После него выходит Александр Сумбаташвили и читает вступление к поэме, только что прочитанное Бальмонтом, — все в восторге, от аплодисментов рушится зал. Сумбаташвили поворачивается, берет Бальмонта за руку и сам начинает аплодировать. В зале — буря...»

Сам Бальмонт вспоминает один из таких вечеров: «Табидзе после лекции заходил в лекториум с лицом, залитым слезами. Много было красивых взволнованных лиц. Для всех (Южина включительно, встретившего меня первым, когда я приехал) этот вечер воистину был неожиданным блеском, откровением» (из письма Е. К. Цветковской).

14 января 1916 года (день 14 января в Грузии — национальный праздник: день святой Нины) перевод Бальмонта слушало избранное общество; потом состоялся пышный банкет, на который пришли многие русские писатели, художники; Сумбаташвили в тот вечер был тамадой. На банкете славил Бальмонта. Балтрушайтису запомнилось приветствие в честь героя дня, произнесенное Тицианом:

«— Дорогой Константин Дмитриевич! — начал он. — Я очень извиняюсь, что вы не грузин... — Потом он говорил о творце солнечных гимнов, и речь его была гимн Человеку Солнца, влюбленному в солнце Грузии.

Едва Тициан умолк, вскочил Бальмонт, обнял его, повторяя:

— Друг мой! Друг мой!..

Ответная речь Бальмонта звучала взволнованно, — он говорил, как писал, красиво:

— Руставели!.. Это имя — клич и талисман древней Грузии и Грузии наших дней... (Он произносил “Руст’авели” — отдельно и с придыханием, как говорят грузины.) Шота Руст’авели, — говорил он, — святыня для каждого грузина, кто бы он ни был, царевич или пастух! В этом имени знак величия древней Грузии, когда она была могучим царством, простиравшимся от Трапезунда до Каспия... Это сокровищница грузинской поэтической речи, и ее отдельные строки живут в сознании грузинского народа как поговорки, как лучезарные правила поведения, как блестящие определения душевной красоты. “Что ты спрятал — то пропало, что ты отдал — то твое”, — скажи это грузину, и сын этого красивого народа, изящного в своей душевной расточительности, мгновенно расцветет... Поэма Руставели живет в устах сазандаров, народных песнопевцев Грузии, и сладостный грузинский инструмент — тари — будет музыкально сопутствовать певучему имени Руставели, пока будет жить Грузия и выразительный грузинский язык... (Такими словами Бальмонт предварил в 1918 году издание первых десяти песен поэмы.) — Он сравнивал красивый язык грузин с гордым орлиным



клекотом и шуршанием пламени, а Руставели — с красивым барсом, всегда готовым к меткому прыжку. Имя Руставели он ставил среди имен всемирно прославленных: рядом с Данте, Петраркой и Микеланджело, — каждый из них на горной вершине высокой любви. С Лаурой и Беатриче сравнивал Бальмонт царицу Тамару...»

Тициан Табидзе иногда называл себя «грузинским Бальмонтом» (другие, случалось, его называли «грузинским Блоком», он сам был скромнее); по правде сказать, между ними не было сходства, — его пленяли певучесть и плавность бальмонтовского стиха: «Переплеск многопенный, разорванно-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переключки лесные зеленого мая, — все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно-юный, как сон...», — однако сам он предпочитал в стихах живую мысль, пульсирующее чувство; его упрекали подчас в стиховой небрежности: многопенные, звучные переплески — со всем не его стихия!

Влюбленный в Солнце, зовущий — «Будем как Солнце!» — Бальмонт славил грузинское солнце, воспевал былое величие Грузии...

В его гимнах Солнцу Тициану слышалась слава Солнцу Халдеи.

Восхищаясь Бальмонтом, Табидзе видел в бальмонтовском — собственное, свое.

В статье «Бальмонт и Грузия» Табидзе писал: «Большой поэт и истинный ценитель прекрасного Иннокентий Анненский говорил, что в Бальмонте есть все, что мы можем пожелать увидеть: русский темперамент и Бодлер, китайское богословие и фламандский пейзаж в освещении Роденбаха, Рибейра и Агура-Мазда, и все это целиком живет в нем, если только он в это влюблен в данную минуту. Сам же Бальмонт называл такую способность радостью постижения многообразия, талантом космического причастия души. Умение преобразиться, перевоплотиться в другой народ, слиться с душой незнакомого племени и озвучить эту душу... Метемпсихозы Бальмонта столь многообразны, что способны убедить нас в силе волшебства и колдовства. И вот Бальмонт в последние годы остановил взгляд своей солнечной любви на Грузии». (Статья написана весной 1917 года, к приезду Бальмонта в Грузию, и напечатана в газете «Сакартвело».)

Увы, при всей пылкости этой любви, в искренности которой нельзя усомниться...

«Утонул в Руставели... — писал одной своей корреспондентке Бальмонт. — Я утомляюсь, но радуюсь очень. Когда кончу всё, мне будет очень интересно заниматься грузинским языком. Спроси Табидзе, сможет ли он два раза в неделю приходить ко мне, когда я вернусь в Москву? Или пусть он укажет мне какую-либо грузинскую гурию. Или

еще лучше — и то и другое. Да, изучу я грузинский язык и в мужской, и в женской мелодии...»

Несмотря на влюбленность, Грузия для Бальмонта была лишь еще одна «стеклянная пустыня»: он равно мог воспеть горы Грузии, похожие на храмы, и пирамиды Египта, испанские танцы, любовников Клеопатры, ассирийских царей, богов исчезнувшего народа майя, яванских женщин, китайские чайные домики, самураев, буддийские храмы, халдейских мудрецов...

Все боги были ему равны.

Но ведь Бальмонт, никто другой, впервые по-настоящему перевел Шота Руставели!

Тициан боготворил его — рыжеволосого, маленького, с ярким цветом в петлице, бледного от волнения, капризного и порою несправедливо придирчивого (Тициану случалось на него обижаться до слез!), большелобого, с раздувающимися ноздрями, с близоруко прищуренными в светлых ресницах краснеющими глазками...

Бальмонт певуче, высокомерно читал стихи. Он вскидывал голову и смотрел прямо перед собой концом рыжеватой бородки...

Тициан послушно по первому зову приходил к нему.

Он любил Бальмонта всю жизнь, как любят собственную юность, — любил и тогда, когда разуверился в его гениальности, что случилось уже в студенческие времена.

Он был снисходителен, он и в этом винил лишь себя самого.

В грустную минуту, ожидая скорого возвращения на родину, Тициан писал Валериану Гаприндашвили: «Часто хожу к Бальмонту. Он уже так не вдохновляет и не возвышает меня, как в первое время. На это две причины: или я привык, или плохо себя чувствую, хотя Бальмонт иногда интересен. Его последняя книга “Сонеты Солнца, Меда и Луны” безусловно интересна. Во всяком случае, сравнительно с новой русской поэзией.

Получил книгу Василия Каменского. Большинство этих стихов — напевы русской гармонике в приподнятом настроении. Безусловно, в ней есть хорошие места, но нет поэтической святости. Я в последнее время стал педантом. “Страданием должно быть достигнуто у поэта то, что другим кажется музыкой”, или что-то в этом роде...» (Письмо переведено с грузинского, — Тициан имеет в виду слова Иннокентия Анненского: «И было мукою для них, что людям музыкой казалось».) «Пишу тебе терцины сонетов Бальмонта “Под северным небом”, — продолжает он. — Я часто повторяю эти простые слова, я их люблю. Начинаются они так: “До самого конца вы будете мне милы, родного севера непышные цветы...”» (письмо от 2 января 1917 года).

Ту «святость», которой не было у Василия Каменского, нечасто можно было встретить и у Бальмонта. «Музыка» его стихов не была подсказана «мúкою». Но все же — было в нем что-то, кроме «певучего вымысла» и словесной игры. Бальмонт создал в поэзии мир — запретный, сверкающий и звучащий, солнечно-яркий и многоцветный...

Этот мир был мираж в «ледяной пустыне души».

Поэт-рыцарь: Тангейзер, Тристан, Лоэнгрин — так его называли — Бальмонт любил лишь свою поэтическую «мечту». Любил ее преданно, бескорыстно. Современников поражало его наивное трудолюбие: педантичный Бальмонт глотал тома и целые библиотеки — ничто в нем не застревало. Он толковал восхищенно о Шелли, о Стриндберге, об Оскаре Уайльде... Он сыпал словами: «Халдея», «Мексика», «Атлантида», «Япония», «Египет»... И где он только не побывал, чего не видел!

Все поэты в его переводах похожи один на другого.

Все им описанное одинаково фантастично — красивая сказка!

Вероятно, в одну из последних московских встреч Бальмонт прочитал Тициану стихотворение о России «Лишь с ней», и Тициану это запало в душу:

Я был в России. Грачи кричали.

Весна дышала в мое лицо.

Зачем так много в тебе печали?

Нас обвенчали. Храни кольцо.

Я был повсюду. Опять в России.

Опять тоскую. И снова нем.

Поля седые. Поля родные.

Я к вам вернулся. Зачем? Зачем?..

В этом была несвойственная Бальмонту душевная напряженность; была необычная для него истинность, смутность, тревожность. Откуда все это взялось? Бальмонту чужд был психологический драматизм в поэзии. Чем была для Бальмонта Россия? Может быть, в какой-то момент он вдруг почувствовал интуитивно, что шаг-другой, и... «Россия» для него станет рядом с «Халдеей» и «Атлантидой»? Предугадал, предчувствовал разлуку? И в нем пробудилась нежность, им овладела почти болезненная страсть, рожденная ревностью и страхом утраты?

...Кто хочет жертвы? Ее несус я.

Кто хочет крови? Мою пролей.

Но дай мне счастья и поцелуя.

Хоть на мгновенье. Лишь с ней. С моей.

Ему не дано было этого счастья.



А в душе Тициана облик Бальмонта слился с этими стихами; образ человека — не поэта Бальмонта. Таким он запечатлен в стихотворении «Встреча с Бальмонтом» (февраль 1927):

Я помню поле, ячмень шелестящий,
Синел простор, напоенный светом,
И ты казался пушинкой летящей,
Христом, идушим вослед за ветром.

*«Я был в России. Грачи кригали.
Весна смеялась в мое лицо».*
И ветер взвевал над худыми плечами
Волосы твои соломенным венцом.

А грач кричал в неизбывной печали.
Росистый лес трепетал в луче...

«Я был в России. Грачи кригали».
Грачи кригали: затем, затем...

Мы в дом входили. Плакал грач.
Береза никла... О чем была грусть ее?
И слез моих поток был горяч,
Мне вспоминалась далекая Грузия...

Перевод В. Державина

Строчки из стихотворения Бальмонта в этих написанных по-грузински стихах приводились по-русски...

Возникновение «модернистских» тенденций в грузинской поэзии относится ко времени несколько более позднему, чем, скажем, в русской литературе; это — конец предреволюционного десятилетия. Литературный «модернизм» встретил в Грузии стойкое сопротивление со стороны поклонников твердых поэтических авторитетов, тем более что в борьбе поэтической молодежи за символизм уже обнаруживали себя «эпатирующие» приемы футуристов, вышедших к тому времени на литературную арену в России. Грузинских модернистов называли иногда «футуристами». В этой связи Тициан Табидзе писал в одном из первых манифестов своей группы, которая к 1915 году уже и организационно оформилась: «Невежество пустило против нас словечко “футуризм”. Слово это должно было сыграть роль камня, предназначенного нас повалить. Конечно, мы всегда имели в виду, что символизм выступает в Грузии в тот момент, когда в других странах он из школы борющейся стал школой академической, и сейчас выступает новая школа футуризм-

ма. Однако это ничуть не меняет положения. Европейский футуризм продолжает дело Малларме. Есть ли это углубление символизма или начало футуризма — это все равно. Одно во всяком случае бесспорно: футуризм никогда не сможет отказать символизму в тех культурных и эстетических достижениях, какими он обогатил мысль».

Впрочем, этот полемический запал впоследствии и самому Тициану Табидзе казался сильно преувеличенным. По сути дела, запоздалый грузинский символизм был довольно неопределенным понятием. Его приметы удавалось обнаружить в творчестве очень разных и даже ни в чем не схожих поэтов и прозаиков: от Важа Пшавела до К. Гамсахурдия.

«Эту школу, — писал Т. Табидзе в предисловии к сборнику произведений Важа Пшавела в 1927 году, — главным образом характеризует отрицание натурализма, переоценка формальных ценностей; что же касается того, что она опирается на символы, то еще французский критик Реми де Гурмон прекрасно доказал, что на символы опиралась вся античная литература и даже литература Средневековья».

Тот же Реми де Гурмон, бывший для Тициана бесспорным авторитетом, писал в свое время о Малларме: «Он полюбил слова за их возможное значение больше, чем за их действительный смысл. Из слов этих он творил мозаику, в изысканности которой была своя простота... Подобно андерсеновскому человеку, который ткал невидимые нити, Малларме собирал драгоценные камни, горевшие отблеском его фантазии, не всегда в горизонте нашего зрения... Но было бы нелепостью предположить, что Малларме непонятен...» (*Реми де Гурмон*. Книга масок. Перевод с французского Е. М. Блиновой и М. А. Кузмина. 1913). Не здесь ли зерно и футуристических откровений, имеющих едва ли не большее еще право на сравнение с «новым платьем короля», с той единственной разницей, что теперь уже толпа вопила: «Король-то голый!», — тогда как мальчишки клялись, что видят блеск драгоценных камней и золотое шитье. Тициан Табидзе и его друзья не придавали большого значения разнице между программами символистов и футуристов: просто они были на стороне «мальчишек». Блок и Бальмонт, французские «проклятые поэты» — идола «святейшего искусства» — будили в них жажду яркого и многокрасочного, удивительного, «непонятого» слова, «возможное значение» которого было бы важнее и глубже, чем его «действительный смысл»; это слово своим веселым танцем должно было свести с ума тусклое зрение обывателя; и оно же сближало поэтические порывы молодых грузинских поэтов с поисками нового, небывалого слова в творчестве Хлебникова и Маяковского.

Жажда поэтического совершенства, оттачивание формального мастерства, с одной стороны, и дерзкий вызов литературным мещанам, почти озорство...

Они сами обижались впоследствии, когда эти дерзости из манифестов 1916 года безоговорочно принимались рапповской критикой за поэтическую программу.

В 1915 году грузинские «символисты», во главе с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе, организовали «совершенно невиданный мистический союз братства поэтов, подобного которому, может быть, не помнит мир» — «орден голуборожцев». Это был союз друзей-единомышленников: «Со всеми друзьями из группы “Голубые роги” я был знаком еще в гимназии», — вспоминает в автобиографии Тициан. Их знаменем был символизм, привитый к стволу многовековой грузинской культуры. Объясняя необычное название группы — «Голубые роги» — в одной из первых деклараций, Табидзе указывал на то, что в этих словах выражено «подлинно грузинское мирозерцание»: роги, из которых пьют вино, — «характерная принадлежность грузинского быта», а «голубой цвет — это цвет романтики». «Философский идеализм нашел в голубом цвете свой выход...» — писал Тициан и подчеркивал важную особенность: у голубого цветка в Грузии стебель всегда был красный. «Для Грузии земля и небо никогда не были в разрыве».

Не стоит преувеличивать глубину этих «философских» обоснований. Разумеется, в основе «теоретических» построений голуборожцев лежит поверхностно усвоенный идеализм символистской эстетики, однако не это имело решающее значение. Голуборожцев увлекло формальное новаторство символистов. «Словотворчество» футуристов было как бы продолжением его. Как и русские футуристы, голуборожцы, несомненно, вкладывали бунтарский смысл в те преобразования, которые они стремились произвести в поэзии. В поэтической практике голуборожцев грузинская поэзия обогащалась изгнанными из употребления или доселе не использованными, чисто «антиэстетическими» словами и образами (школа французских «проклятых поэтов», Бодлера и Рембо). Разомкнулся круг поэтических тем, совершенствовалась система стихосложения. Голуборожцев на протяжении многих лет упрекали в западничестве и даже космополитизме, но сами они были убеждены в обратном: их «союз» был создан из патриотических побуждений. Они мечтали поставить современную грузинскую поэзию вровень с европейской. В известной мере им удалось это осуществить.

В творчестве голуборожцев сказались общие тенденции развития европейской поэзии начала XX века с ее достоинствами, но и с ее противоречиями тоже.

Демократическое искусство XIX века представлялось голуборожцам чрезмерно озабоченным общественными вопросами; позднейшие его последователи, по существу — эпигоны, по их мнению, все свойства подлинного искусства утратили, подменив насыщенную граждан-

ским пафосом поэзию, звучавшую в творчестве Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели, «какофонией гражданской шарманки». Голуборожцы искали новые связи с жизнью, нащупывали иные контексты современности.

Им вовсе не были чужды поиски национальных корней — и в далеком, и в недавнем прошлом грузинской литературы: «Как французские символисты воскресили Ронсара, так и мною был выдвинут Бесики (Бесарион Габашвили), замечательный поэт конца XVIII века, тончайший мастер стиха и александриец, — писал в автобиографии Тициан. — ...Как русские символисты — Ф. Тютчева, так я выдвинул Важа Пшавела, величайшего из старшего поколения поэтов Грузии, который в монументальных образах создал грузинский эпос, используя для своего творчества народную поэзию горной Грузии — Пшаветии и Хевсуретии... Грузинская поэзия к тому времени была совершенно лишена воздействия этих поэтов, и процветало эпигонство народников и Надсона, на что мы со всей силой обрушились. Как известно, грузинская поэзия имеет многовековую культуру: среди величайших поэтов древней Грузии, перекликающихся с великими иранскими лириками и европейскими поэтами, Руставели предвосхищал в великом своем творении “Витязь, носящий барсову шкуру” итальянское Возрождение. Он как бы предшествует Данте, так же как у Давида Гурамишвили мы находим переключку с “Большим заветанием” Франсуа Вийона. Поэты начала XIX века: Ал. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Гр. Орбелиани, заканчивая иранское влияние и восприняв Байрона, Пушкина и Мицкевича, создали полноценную поэзию, органично связав ее с грузинскими корнями...»

Защищая поэтов-романтиков Александра Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, Григола Орбелиани и «архаистов» — Бесики и Гурамишвили, — Табидзе, не вступая в открытую полемику, в сущности, противопоставляет их «шестидесятникам» с их «народничеством» и откровенно публицистическими традициями.

Позднее Тициан Табидзе находил некоторое преимущество в том, что школа голуборожцев возникла «на закате символизма и на заре футуризма», — преимущество «критического осознания действительности»: «Свободным от догм обеих школ, нам легче было самоопределиваться в грузинской среде и найти национальную почву, — писал он в автобиографии. — Создавая одной рукой недостающие тогдашней грузинской поэзии образцы символической поэзии, мы через атаку футуристов чувствовали их призрачность и точно бились “на пороге как бы двойного бытия”...». Это верно лишь в том смысле, что «узкие догмы» обеих школ не оказали существенного влияния на поэтическую практику голуборожцев, ни даже на их «теоретические» манифесты.

В «теории» преобладал расплывчатый «условный романтизм», весьма далекий от какого бы то ни было «критического осознания действительности» (это пришло позднее!). «Любимые нимфы подняли занавес нашей сцены, и мы, одетые в золото актеры возобновления, поем перед беззвучным народом. “Первословие” наше ядовито. Оно, как кипящая сталь, обожжет ваше сердце, враги святейшего искусства; вас, которые не верят в царство искусства и перед его высоким престолом не признают наше подданство навеки...» — провозглашало «Первословие», написанное Паоло Яшвили, которое открывает первый выпуск альманаха «Голубые роги». Здесь ничего нет, что могло бы обогатить или хоть подновить обветшалые догматы «искусства для искусства». Это — «возобновление» старого спектакля. Тон манифеста позаимствован у русских футуристов: «пощечина общественному вкусу» — уже не первая.

Не более успешны попытки «самоопределиться в грузинской среде»: «Мы хотим, чтобы Грузия превратилась в безграничный мечтательный город... После Грузии святейшим городом является Париж. Прославляй, народ: это наш злой город, где с сумасшедшим увлечением акробатствовали наши братья-пьяницы Верлен и Бодлер, тайник слов Малларме и Артур Рембо, гордостью пьяный, проклятый муж» («Первословие»).

Паоло Яшвили в среде голуборожцев был глашатаем урбанизма.

В кратком очерке современной грузинской литературы, написанном в начале тридцатых годов, Тициан подчеркивал: «В своих манифестах Паоло Яшвили развивал идеи футуризма... Призывал патриархальную грузинскую поэзию сделать индустриальной и объявить войну устарелым фетишам; ему грезилась машинная Грузия — в образе мирового Парижа, откуда он только что вернулся».

«Манифест Т. Табидзе носит следы ортодоксального символизма», — это он добавляет уже о себе самом.

В сущности, смысл манифестов был неглубок и неоригинален.

В своем творчестве последовательнее других держался символистских традиций Валериан Гаприндашвили. То же можно было бы сказать о Галактионе Табидзе, начинавшем с символистских стихов, но Галактион стоял в стороне от голуборожцев, с ними не дружил.

Голуборожцы довольствовались ярлыками: Паоло Яшвили — грузинский Брюсов, Колау Надирадзе — грузинский Блок, Тициан Табидзе — грузинский Бальмонт, что, впрочем, не мешало им всем писать отличные, вполне оригинальные стихи.

Первый выпуск альманаха «Голубые роги» появился в Кутаиси в начале 1916 года и произвел впечатление скандальной сенсации. Весть о нем быстро распространилась в Грузии и даже вылилась за ее пределы...



10 ноября 1915 года Паоло Яшвили писал Елене Федоровне Бакрадзе, жене грузинского писателя и переводчика Ш. Картвелишвили: «Моя жизнь в Кутаиси небезынтересна. Я сумел сгруппировать вокруг себя молодых служителей искусства. Скоро выпускаем альманах “Циспери канцеби” (“Голубые роги”) с литературным манифестом. Футуризма не будет, хотя почти все газеты отметили, что альманах наш будет являться органом грузинских футуристов. Пусть пишут, что хотят, скучные филистеры... Своих стихов, особенно революционных, я в “Мегобари” не печатаю, прячу свой пафос для альманаха. Как тебе понравились мои триолеты, посвященные В. Гаприндашвили? За последнее время мне приходилось несколько раз выступать перед обществом. Если интересно, могу прислать отзывы газет (я с ними совсем не считаюсь!)... Послезавтра литераторы и любители сцены разыгрывают “Измену” Сумбатова. Я играю Эрекле...». Чуть-чуть хвастливое письмо, только чему удивляться? «Иду — красивый, двадцатидвухлетний...» Паоло был еще на год моложе, и не будь он «грузинский Брюсов» — был бы он «грузинский Маяковский!» Кстати, Маяковского он любил и с неподдельным пафосом декламировал. Паоло Яшвили даже писал стихи в манере Маяковского (по-русски). Одно такое стихотворение он напечатал под псевдонимом «Кретхимерский».

Тициан в это время часто писал из Москвы, но его письма тех лет, за небольшим исключением, неизвестны. Только известно, что, будучи студентом, он переписывался с одной молодой учительницей из Телави, Марией Отиевной Немсадзе, — она преподавала русский язык в женской гимназии, «заведении святой Нины». Эти письма, написанные аккуратным бисерным почерком, вспоминает одна из бывших учениц Марии Отиевны. Она приносила письма учительнице, и однажды, получив очередное письмо из Москвы, учительница сказала ей:

— Знаешь, эти письма от молодого талантливого поэта Титэ Табидзе, — и рассказала про него: как он влюблен в поэзию, и как он ее знает, и какой у него характер...

Прошло несколько месяцев, и эта гимназистка, Нина Макашвили, дочь кахетинского князя, арестованного за распространение среди крестьян нелегальной литературы (у него во время ареста нашли солдатскую газету «Копейка», и потом крестьяне, жаля его, говорили: «Бедный наш князь, он украл копейку, и его за это арестовали!»), пербралась в Тифлис. И однажды она увидела на улице красочную афишу, извещавшую, что состоится вечер поэтов-голуборожцев в зале Консерватории...

Вот как ей запомнился этот вечер:

«На сцене — стол, покрытый парчой; на столе — двенадцать стаканов красного вина. За столом сидят: в середине Паоло Яшвили в красной куладже, красавец с огненными глазами... С ним рядом... весь в черном — Валериан Гаприндашвили, с копной курчавых волос, с глазами умными и пытливыми, с улыбкой невинной девушки; тут же Лели Джапаридзе — в голубой рубашке с ярким оранжевым бантом, что по тем временам казалось ужасно смелым; Шалва Кармели, бледный, с грустным лицом...

На столе перед каждым — по стакану с красным вином».

Тот вечер открыл Паоло Яшвили, и он же первый читал стихи, своих знаменитых «Павлинов в городе»:

Был воздух синим — как поток стеклянной мысли, —
и плыли всплески в нем, и вместе с ними плыли
гудки и люди — в ярких бликах непривычных,
и копоть черная из труб фабричных...

Паоло читал темпераментно, звонко, упруго отчеканивая ритм. В стихах он тоже был художник — приехал из Парижа!.. Стихи, насыщенные сине-красным цветом, густо пламенели, рождая в слушателях тревогу и зрительные галлюцинации. (Красные павлины дрожали в городе, раскаленном до синевы — как мираж, становилось жутко!)

Всё злей дракон кровавый. Воздух обретает
черты идущего к пределу воспаления.
И вот — свершилось: солнца пьяное веленье
павлинов красных в синем воздухе рождает!
Их появление — красный вихрь. И были дики
их раскаленные, разломанные крики...

И в душном городе безумье воцарилось,
и ветвь срывалась и, упав, бессильно билась.
Дома пылали; миг, другой — не устоять им.
Метались люди с плачем и проклятьем.
Трамваи путались, сходя с трамвайных линий,
и крик стоял — немолчный крик павлиний...
Сверкала кровь на мостовых и на панели.
И красный ветер был — колокола звенели...
И пар горячий, цвета слез, всходил упруго.
И красным сном забылся город. И — ни звука.
Лишь купола с крестами светят. И на сучьях,
как окровавленные мокрые тряпицы,

измучив город, до смерти намучась,
сидят устало

солнечные

птицы...

Перевод Ю. Ряшенцева

Сам Паоло — уверенный, дерзкий, красивый — вздорно встречал возмущенные крики зала и одобрительные возгласы — тоже. Обращаясь к свистящим, орущим, он убеждал их спокойно: мол, все равно вам придется, поздно или рано, понять, полюбить наше яростное искусство — вам от него никуда не уйти!..

Валериан Гаприндашвили, бледный от волнения, запинаясь, пугаясь собственной тени и своего отражения в зеркалах, читал тихим голосом стихи про Офелию, свою любовь...

Растерянный и смущенный, Лели Джапаридзе, который станет потом директором оперного театра, читал нараспев «Диндаридан-дарезидан...» — в голубой рубашке, с оранжевым бантом, ужасно смелый!

Колау Надирадзе произносил свои стихи проникновенно и мягко, в его голосе не было звона — только певучесть; он забывал стихи, умолкал надолго, потом вспоминал и пожимал плечами — читал дальше...

Паоло царил над всеми.

Тициана Табидзе с ними не было.

Тициан все еще был в Москве.

Последняя московская зима казалась ему небывало жестокой, голодной и бесконечной. Друзья поразъехались. Почта работала плохо. Или они забывали ему писать. Его снедала тоска по дому и ревнивые мысли о том, что друзья забыли — обходятся без него.

«...Такой скуки и такого холода, как сейчас, я в Москве никогда не испытывал, — жалуется он в письме Валериану Гаприндашвили (2 января 1917 года). — Пока зима эта кончится — бесконечный кошмар для меня. Я бросаюсь на всех, как голодный волк. Друзей мало, но и они постепенно уходят. Может быть, их дорога — к вам?»

Я, как ошалелый, сижу в кафе Филиппова... Я не знаю, чем все это кончится для меня, но многого я боюсь. Боюсь, что если я покачусь, то ничто меня не остановит. А у вас, видно, есть еще грузинское солнце, и в кутежах вы благословляете поэзию.

Меня очень интересуют “Голубые роги”.

Паоло меня забросил в конец стола. Если я ему больше не интересен, то хоть бы по старой памяти не надо бы ему со мной так поступать. Конечно, это мелочи, но я сейчас так плохо себя чувствую, что и такая малость имеет для меня значение. Кроме того, здесь ходят слухи, буд-

то Паоло хочет жениться на какой-то скифской девушке, которую и мы знаем издалека. Не знаю, насколько это правда и откуда идет? Мне передавал человек, который не мог не знать. Почему же я узнаю об этом последним? Вы мне обещали писать, но даже когда пьянствуете, не вспоминаете обо мне. А моя голодная и жаждущая душа всегда с вами.

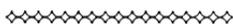
Как прошел вечер Галактиона? В “Мегобари” я прочитал отзыв, будто бы очень интересно было. Но эти романы под гитару имели довольно провинциальный запах. Я думаю, что журналы слишком уж разошлись. В “Лейле” Гришашвили, как видно, отомстил мне за мое выступление в “Голубых рогах”. Но видит бог, я был искренним. И к тому же я всегда говорю с большей любовью, чем оно того стоит. Во всяком случае, меня отделивают не впервые. Боюсь только, чтобы друзья этим не заразились.

Чичико, прости мне это небрежное письмо, но мне плохо. Подозрения гложут меня, как черви Роллина. Плохое настроение в Новый год — может быть, это моя судьба?..

Жду “Голубые роги” и стихи “Лейлы”. Интересует меня Ел. Дарьяни* “Я и кошка” и Паоло “Павлины в городе”. Что же касается привета туберкулезника, то я думаю, что Паоло это не идет, как скопчество магометанину. Но все же — кто знает! Если в Новом году будет что-либо о нас, я заранее знаю, что для меня ничего не будет хорошего. Посылаю тебе мой сонет “Фатьма-Хатун”. Пусть это будет началом традиции посылать стихи в письмах. Так как это мой первый сонет, я хочу знать твоё мнение. Если ты согласишься, я хочу внести в книгу несколько сонетов.

В Москве январские холода. Памятник Пушкину стоит, как Командор. Так сравнил один московский футурист Королевич, который написал интересную книгу “Студенты столицы”. Много выставок картин. Если ты интересуешься, я пришлю тебе репродукции. Макс Волошин выставил картинами “Венок сонетов”. Очень интересно. Каждая строчка — это картина... Интересен портрет Альтмана “Анна Ахматова”. Скоро выйдет альманах, в котором Валерий Брюсов продолжит пушкинские “Египетские ночи”. Если тебя это заинтересует, я пришлю.

Написал сонет “Близнецы”. Не знаю, как тебе понравится эта идея. Строю три шатра, как апостол: для тебя, и Паоло, и Григория. Хочу книгу подготовить к этому лету. Туда войдут и Галактион, и Али, и Елена



* Подписанные этим псевдонимом (Елена Дариани. — Прим. ред.) стихи писал Паоло Яшвили — восполняя в литературе пробел: «модернизм» немыслим без лирических откровений женской души. Стихи имели вызывающий и скандальный характер.



Дарьяни. Стены моих “Халдейских городов” растут. Стою я среди пурги: идут жонглеры, фокусники, царицы, старые мастера и конквистадоры. Когда города построятся...

Чичико, Чичико, как нищий, тебя прошу. Пришли хотя бы письмо, обмокнутое в вине. Умираю, замерзаю, хороню себя под снегом без друзей. Впрягите меня в экипаж поэзии.

Нико Лордкипанидзе скоро пришлю книгу А. Белого “Серебряный голубь”, Ашукин выпускает ее на днях, старого издания нет.

Насчет “Голубых рогов” меня убивают — пришлите несколько экземпляров. Очень много говорят и, нервничая, ждут...» (письмо от 2 января 1917 года).



КОРОЛЬ БАЛАГАНА



Ванкский собор

*В древней Наири, в Ванкском соборе
Воспоминания душу томят.
Древней Халдеи вижу предгорья,
Звездный жонглер я, верный ваш брат.*

*Если земле моих праотцев ныне,
Бедный Пьеро, ничего не даю, —
Пусть будет счастье для них в Коломбине,
В Ване свершим литургию свою.*

*Если погаснут парные свечи —
Свечи стихов никому не задуть.
Потусторонние, будем далеге,
Души оттогит нам дальний путь.*

*Только пустите канатоходцев!
Там будь что будет — жизни видней:
Многими ей панихида поется,
Некто поет и танцует над ней!*

6 января 1918

Перевод Л. Мартынова

В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет...

О. Мандельштам

Была весна 1917 года.

Тициан Табидзе вернулся в Тифлис.

Из холодной, заснеженной, зимней Москвы он попал в солнечный рай, где цвели розы, густо зеленели на бульварах деревья, шумела уличная толпа и открытые вагончики трамвая, с единственной во всю длину трамвая ступенькой, знакомо взвизгивали тормозами на спусках. Кондуктор на остановках меланхолически трубил в рожок, и ветки деревьев, пробегающих мимо, хлестали по крыше вагона...

В России произошла революция. 27 февраля 1917 года было свергнуто самодержавие...

«Возвращаясь в Грузию, я в поезде прочел петроградскую газету “Новая жизнь”, где была напечатана “Революция (Поэто-хроника)” Маяковского», — вспоминает в статье «Встречи с Маяковским» Тициан...

Вести о революции обгоняли его в пути. Вести были ошеломляющие.

Грузия отделилась от России.

Грузия — независимая республика!

Тициан Табидзе вернулся в Грузию...

Следом за Тицианом в Тифлис приехал К. Бальмонт. Он привез с собой программу лекций и выступлений, где на первом месте значилось: «Мысли мировых Гениев о Любви» — Шота Руставели возвышался Казбеком в цепи средневековых испанских лириков, французских ме-

нестрелей и поэтов итальянского Возрождения. Предполагались чтения поэмы Руставели «Носящий барсову шкуру» в русском переводе и вечера поэзии самого Бальмонта: «Слово о творчестве. — Природа как вечная мастерская лириков. Поэма огня. — Песни свободной России».

В саду Грузинского клуба Сандро Канчели и князь Гуго Диасамидзе, старые друзья Бальмонта, дали в честь его великолепный и многолюдный ужин.

В свободное от вечеров и банкетов время Бальмонт бродил по кривым и горбатым живописным тифлисским улочкам, слушал, смотрел, заводил случайные разговоры.

Тициан сопровождал Бальмонта, показывал город и сам знакомился с городом, в него влюблялся, и возникали стихи:

Опять весна запенилась в саду,
И розы прошлогодних не бледнее,
А даже ярче в нынешнем году,
Да и любовь во много раз хмельнее.
Здесь был Саят-Нова и Теймураз
Со слугами, одетыми пестро,
А сердце тут в чашобе слов и фраз
Плутает заблудившимся Пьеро
И озирается: все ново и старо...
Не сон ли это длинный, длинный,
Расплывшийся в слезах над Коломбиной?..

Перевод Л. Мальцева

(В оригинале стихотворение звучит менее замысловато и кончается фразой: «Плачет Пьеро: Коломбина, ах, Коломбина!..»)

Это — знакомый блоковский Пьеро из пародийной, иронической пьесы «Балаганчик». Он как будто еще раз воскрес, «задумчиво вынул из кармана дудочку и заиграл песню о своем бледном лице, о тяжелой жизни и о невесте своей Коломбине» (заключительная ремарка блоковской драмы — как бы отправной момент для нового цикла стихов Тициана Табидзе).

«Цикл» — говоря условно: поэтический внутренне замкнутый круг, в центре которого образ поэта в одеждах Пьеро.

«Лирическая» тема его: Пьеро и Коломбина.

Фоном — «эпическая» тема: халдейский балаган — неожиданный поворот «романтической» из «Городов Халдеи» (в сущности — патриотической) темы.

Впрочем, говорить о цикле рано: его лирическая тема еще не возникла как жизненная реальность. «Балаганчик» — литература еще, не

свое. В стихотворении «Пьеро» его герой — поэт и он же бледнолицый лирик балагана — лишь только силуэтом возникает на фоне цветущих тифлисских садов, помнящих певца любви Саят-Нова и Теймураза (царя-поэта). Коломбина — «картонная невеста» из иронической драмы Блока. С девушкой, которую друзья Тициана вскоре станут называть Коломбиной, Тициан еще не знаком.

С нею первым познакомился на улице Бальмонт. Выйдя из дома и направляясь вниз — к Головинскому проспекту, который тогда не был еще проспектом Руставели, Бальмонт увидел ее, идущую навстречу, темноволосяю и бледнолицую, с тонким, нежным лицом — какие грезятся в декадентских стихах. Она шла по Московской улице легкой походкой. Бальмонт с нею заговорил, а Тициан, чтоб не быть помехой, прошел вперед и стал терпеливо ждать, чем закончится очередное знакомство...

«Я возвращалась домой, — вспоминает она. — Вдруг кто-то схватил меня за руку. Я испугалась, обернулась и обомлела: возле меня стоял сам Бальмонт. Он что-то мне говорил, но я от волнения ни слова не понимала. Наконец до меня дошло.

— Девочка, хочешь — я почитаю тебе стихи?

Я обрадовалась и закивала головой:

— Хочу, конечно, пойдёмте к нам!

Мы стояли возле самого дома, где я жила. Я привела его к нам. Мои подруги Тамара и Катюша были еще больше поражены при виде Бальмонта — они совсем обалдели, но скоро пришли в себя, и мы стали слушать. Он читал нам: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Шиповник алый, шиповник белый...», «Красные кони» и много других стихов...»

Бальмонт читал — почти пел, ослепленный своим вдохновеньем:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,

Из сочных гроздий венки свивать...

Девочки слушали Бальмонта, затаив дыхание, с широко раскрытыми глазами, и когда Бальмонт устал и умолк, перед тем как распрощаться, Тамара, самая догадливая из них, вынула из вазы букет роз и поднесла поэту.

Провожая Бальмонта, девочки обратили внимание, что внизу, где Московская улица вливается в Головинский проспект, поэта ждет молодой человек — худой, высокий, с большими синими глазами, с русыми волосами, спущенными на лоб. У него в петлице была гвоздика. Решили, что это, наверное, Городецкий: в газете писали, что он приехал в Тифлис.

Но это был Тициан.



«...Радостное было время — время революции, исполнения первых обетов», — вспоминал Тициан Табидзе. Лето прошло в ожидании новых событий.

В угаре патриотических словопрений.

В разъездах и кутежах...

В конце октября 1917 года, находясь в Кутаисе, Тициан Табидзе пишет стихотворение «Петербург». Оно широко известно в переводе Б. Пастернака. Есть перевод более точный, хотя менее поэтический — Бенедикта Лившица:

Здесь ветер с островов несется ураганом,
Изрыт гранатами ручными тротуар.
Кому тут холодно, так это девкам пьяным.
Средь сумрачных теней, как тень, скользит Эдгар.
Два стана напряглись в боренье неустанном,
К шинелям потным льнет, вьясь, белесый пар.
Матросские тела полощет Мойка рьяно,
Над Медным Всадником навис судьбы удар.
Кто силы разнуздал? Кто сдержит буйство танца?
В туман болотный сник руки поднятой взмах.
Лишь имя Ленина одно на всех устах.
Вниз остов падает Летучего Голландца,
Андрея Белого промокший лает Бес,
И в кашле хаоса весь Петербург исчез.

В переводе Пастернака стихотворение приближено к позднему творчеству Тициана Табидзе, к его стихам начала тридцатых годов, оно обрело историческую прозорливость и твердость звучания, которых не было в оригинале:

...Жаркий бой. Жестокой схватки звуки.
Мокрый пар шинелей потных. Мгла.
Медный Всадник опускает руки.
Мойка лижет мертвые тела.
Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предreshен.
Ночь запомнит только имя «Ленин»
И забудет прочее, как сон...

Исчезла растерянность перед разнузданной силой стихии.

У самого Тициана — ощущение холода, мрака, неуютности рушащегося старого бытия, крушение старой романтики: тонет Летучий Голландец, тенью среди теней — Эдгар По, пропадает в кашле хаоса Петербург... И над всем этим — имя Ленина как надежда — сила, способная хаос организовать.

В статье «Котэ Марджанишвили» (1933) — то же романтическое видение петроградских событий: «...Фронт развалился. Предназначенные на “пушечное мясо” люди в серых шинелях вместе с петроградскими рабочими совершили Октябрьскую революцию... На Марсовом поле и площадях столицы не театральные макеты раскладывались, а как бы происходила по указанию Ленина правильная расстановка классовых сил и сама история завершала величайшее потрясение мира...». Впрочем, речь и о зрелище тоже: Котэ Марджанишвили в те дни оформлял народную манифестацию на Марсовом поле: «С растрепанными волосами стояли на берегах Невы прорицатели интеллигенции и, посыпав головы пеплом, как некогда иудейские пророки на берегах вавилонских рек, причитали о разрушении и гибели родины. Только избранники знали, что ломается скорлупа, когда вылупляется цыпленок из яйца; а цыпленку кажется, что рушится небо, и он не ведает о том, что сам рождается для новой жизни».

«Стоять на стороне поколения, созидającego Октябрь, считалось тогда подвигом в искусстве, — пишет в той же статье Тициан. — Разумом пришли тогда к Октябрьской революции Всеволод Мейерхольд и Валерий Брюсов. Сердцем пришел к ней Котэ Марджанишвили, так же как и Александр Блок...»

Он сам был на стороне принявших Октябрьскую революцию сердцем.

Надо себе представить политическую атмосферу в Грузии в канун Октября: захватившие власть в Закавказье эсеры и меньшевики, националистически настроенные и враждебные ленинской партии, ждали поражения петроградского пролетариата, разгона большевистских советов; грузинские большевики были вынуждены временно уйти в подполье.

Сочувствие ленинской партии не было безопасно.

Тициану казалось, что Грузия к революции не готова, что грузинская революция не выстрадана народом, что она «прибыла по почте из Петрограда».

И все же его сочувствие было на стороне партии Ленина, на стороне грузинских большевиков, среди которых немало его старых друзей, — с ними все эти годы Тициан поддерживал близкие отношения и, случалось, помогал им в их опасной работе.

...еще шла война.

В Тифлисе открылась благотворительная Грузинская чайная. В пользу воинов-грузин, находящихся на фронте. Здесь бывала вся тифлисская интеллигенция. Здесь Тициан познакомился с Красной девушкой — Коломбиной. Красной девушкой ее называли, потому что она

ходила во всем красном: в красном платье, в красном (помидорного цвета) пальто. В Грузинскую чайную ее сопровождал только что вернувшийся из Германии после множества приключений Котэ Гамсахурдиа, человек отчаянно смелый, дерзкий, облаченный в грузинскую чоху, с кинжалом у пояса. Она сама рассказывает, как познакомилась с Тицианом:

«Котэ Гамсахурдиа, который тогда за мной ухаживал, преподнес мне букет красных гвоздик. Я отнесла цветы домой, а одну гвоздику воткнула в галстук. Мы пошли в Грузинскую чайную... Когда я проходила к столу, Марта Беришвили, сестра моей подруги Нины, выхватила у меня гвоздику. Марта сидела с Тицианом. Гамсахурдиа по своей всегдашней привычке стал шуметь, и я подошла к ним, чтобы взять обратно цветок, но Марта не отдавала. Тогда Тициан достал из петлицы свою гвоздику и протянул мне. Мы не были с ним знакомы, и я хотела уже рассердиться; но он догадался — сказал:

— Я думал, у вас нет этих мещанских предрассудков, я вас знаю, вы — княжна Нина Макашвили...

Я его поблагодарила и взяла цветок. Но после этого Гамсахурдиа расшумелся еще сильнее, и я ушла из чайной. Пошла домой. По дороге я от Котэ узнала, что утром, когда он покупал для меня цветы, к нему подошел Тициан. Он вынул из букета одну гвоздику, сунул ее в петлицу себе и сказал: “Я подарю Красной девушке только один цветок, но для нее он будет иметь больше значения, чем твой букет!” — После этого мы с Тицианом стали встречаться. Он писал товарищам в Кутаиси, что познакомился с девушкой, которая удивительно любит и понимает поэзию. (Не так уж я ее тогда и любила!)»

С Тицианом и Паоло, втроем, они часто бродили по городу. Тициан знакомил ее со старым Тифлисом, с поэзией — тоже. От Эриванской площади, в которую упирается Головинский проспект, они кривыми улочками Армянского базара спускались в Старый город.

В переулках, проходах и тупиках кипела жизнь: сплошными рядами тянулись лавки и мастерские ремесленников, доносились песни из прохладных винных погребков. В узких ущельях Армянского базара и на тесной площади — Майдане — гудели потревоженным ульем горожане: ремесленники-карачохелы в традиционных черных костюмах, пестро одетые курды, армяне, персы, русские солдаты-дезертиры, бегущие с турецкого фронта (в районе вокзала их было еще больше, там они продавали оружие и одежду, и тот шумный базар стали называть Дезертиркой). Майданский базар называли Шайтан-Базаром. Сюда приходили не только затем, чтобы купить провизию или нужные вещи, но и просто повидать знакомых, толкаться в толпе, узнать последние новости, посидеть в духане. Тут же рядом была армянская церковь,

и православный собор, и синагога, и серные бани, а на другом берегу Куры — стоило перейти висячий Ишачий мост — против замка Метехи красовалась мечеть, и с высоты ее башни слышались вопли муллы, зовущего сынов Аллаха к молитве.

Минуя Майдан и не дойдя до Куры, горбатыми закоулками, где бродили голодные собачонки и где босоногие дети, чумазые и оборванные, играли в пыли, не обращая внимания на прохожих, они поднимались круто вверх, обходя живописные жилища бедняков, похожие на разноцветные пчелиные соты, прилепившиеся к горе; они взбирались к серым каменным зубцам полуразрушенной крепости.

Нарикала — старинная крепость — царила над всей округой.

Внизу пронесла сквозь город Кура лохматые рыжие воды; вздымались круглые главы соборы; зеленели зеленые острова садов; толпились дома; разбегались трещины улиц.

Там, наверху, Тициан любил вспоминать эпизоды из истории Грузии, чаще — трагические, а Паоло всего охотней читал там стихи, свои и Бальмонта, и еще — Артюра Рембо. Паоло и Тициан влюблены были в «Пьяный корабль» Рембо и клялись, что его написать не легче, чем «Илиаду». Паоло переводил «Пьяный корабль» на грузинский язык и читал его звучно, велеречиво и вдохновенно.

...Слишком долго я плакал! Как юность горька мне,
Как луна беспощадна, как солнце черно!
Пусть мой киль разобьет о подводные камни,
Захлебнуться бы, лечь на песчаное дно.

Ну, а если Европа, то пусть она будет,
Как озябшая лужа, грязна и мелка,
Пусть на корточках грустный мальчишка закрутит
Свой бумажный кораблик с крылом мотылька.

Надоела мне зыбь этой медленной влаги,
Паруса каравана, бездомные дни,
Надоели торговые чванные флаги
И на каторжных страшных понтонах огни!

Перевод П. Антокольского

В те дни стиралась грань между взорванной революциями Европой и восточным Тифлисом, который день ото дня наводняли беженцы и дезертиры, который сам становился почти европейской столицей. «Бездомность» Рембо, его слепое бунтарство, его отрешенность от старого, благоразумного бытия — это все представлялось воображению

Паоло и Тициана как лично пережитое. Паоло Яшвили «бездомность» вдохновляла, он был создан для этой безбрежной, стихийной, продутой всеми ветрами жизни. Он легко принимал каждое новое дуновение и тотчас бросался навстречу волне, как тот «безумный корабль».

С. Д. Клдиашвили рассказывает, что в то время Паоло и жил «бездомно»; у него была в Тифлисе комната, куда каждый мог прийти, кто захочет, когда захочет, и приходили, и что-то ели, на чем-то спали, встречались — с кем надо было, потом уходили; сам Паоло приходил в эту комнату ночевать, точнее, просто поспать, — приходил под утро или уже на рассвете и словно бы наспех: спал на незастланной постели, не раздеваясь, а на другой день вставал, умывался, надевал свежую рубашку и уходил — веселый, щеголеватый.

Никто не помнит, где жил тогда Тициан.

Стихи читали повсюду.

Какие-то встречи, споры, литературные вечера...

Нина Макашвили — Красная девушка, днем работавшая в Земском союзе регистраторшей в бухгалтерии, а ночи проводившая с новыми друзьями поэтами, вспоминает, как после одного из поэтических вечеров в зале Консерватории они все вместе вышли на улицу:

«Денег ни у кого не было и пойти было некуда. Купил Паоло горячий грузинский хлеб, соленые огурцы, мы постелили посередине Головинского проспекта газету и сели ужинать. Так и просидели всю ночь, вслух читая стихи, свои и чужие. Прохожие останавливались и слушали нас».

Тициан Табидзе писал стихи, соревнуясь за титул «Король поэтов». В Москве состязались за это звание Игорь Северянин и Маяковский, — победил Северянин. В Тифлисе победа осталась за Тицианом. Стихотворение, которое Табидзе писал как «диссертацию» на звание Короля Грузинской Поэзии, называется «Конь с ангелом» (по-русски правильнее будет «Ангел на коне»). Это стихотворение, замечает он сам в автобиографии, восторженно принятое некоторой частью грузинского общества, «не вошло в книгу моих избранных произведений, настолько оно оторвано от действительности и насыщено идеями грузинского мессианизма». Это большое стихотворение, в котором судьба Грузии рассматривается сквозь призму ее исторических испытаний и библейский туман — в цепи поэтических ассоциаций. Здесь рядом: «цари с отрубленными головами», «сломанный меч Саакадзе», «Цицамури» (название местности, где был убит Илья Чавчавадзе), «гордый Метехи» (древний дворцовый замок, позднее — тюрьма, высоко над Курой, в Тбилиси), «тайна, Сибирь, революция и падение», «Песни Мальдобра» — безумного поэта Лотреамона, «чачотка Лафорга», «нежней-

шие женщины Иверии» (Грузии): Тамар, Русудан, среди Нин — одна Нина, Мадонна, Мери, Мелита, Марта...

Тамар и Русудан — царицы (из истории Грузии). И Мадонна: Грузия — удел Богородицы. Нин в истории Грузии несколько, но «среди Нин одна Нина» — Красная девушка (Коломбина). А Мелита была у античных греков — нимфа, жрица Деметры и Артемиды; Милитта, хранительница пчеловодства и пчел; Тициан имеет в виду не ее — просто одну красивую даму Мелиту Чолокашвили, в которую несколько лет был влюблен. Марта — его старая знакомая Марта Беришвили (она же потом — Мачабели). И еще одна знакомая — Мери, возможно — Мери Шервашидзе, бывшая фрейлина императорского двора в Петербурге.

Тициану свойственно было повторять любимые фразы, как бы вживаясь в них, переносить их, варьируя, из стихотворения в стихотворение как символы душевных состояний. Кочуют в его стихах и женские имена — также «символически». Мы их всех еще встретим: цариц и мадонну, Нину — одну среди многих Нин (Коломбину), Мелиту, Марту и Мери; потом к ним прибавятся еще другие — названные по имени и безымянные женщины, как одно многоликое божество.

Над пьяными кораблями из Сидонии, матросами с кораблей, над золотым руном Колхиды и непонятной Халдеей, над Македонским, Олоферном и Магометом, над жестоким ханом-скопцом Ага-Мамедханом и желтой узкоглазой ордой, над бесконечной оргией злодейств и насилий, терзавших Грузию, в очистительной грозе — среди молний: «белая надежда Апокалипсиса, бессмертный отрок на коне — ангел с копьем!».

«Три года меньшевистского господства в Грузии и отрыв от Октябрьской России... усложнили и запутали наше творчество», — признавался в автобиографии Тициан, имея в виду, в частности, это стихотворение. «Ангел на коне» — мир отвлеченной фантазии, поэтических мечтаний и исторических ассоциаций, сомкнувшийся с реальностью надежды на национальное возрождение Грузии (вероятно, отсюда успех и звание «Короля Поэтов»).

...Паоло первый заметил, что между Ниной и Тицианом возникли особые отношения. Она дружила со всеми, но с Тицианом еще и отдельно, и для него она значила больше, чем для других. По натуре Тициан вовсе не был «бездомным», в душе он мечтал о «доме», и девушка, понимающая и любящая стихи, судя по всему, показалась ему той единственной, с которой можно связать судьбу.

Но время такое — о доме только мечтать...

Как-то раз он предложил ей пойти с ним на майданский Шайтан-Базар. Она хотела увидеть верблюдов.



Ванкский собор — армянский... В районе озера Ван, в Армении, Н. Я. Марр производил археологические раскопки. Армяне свою древнюю родину называют: страна Наири.

Стихотворение «Ванкский собор» — о любви, об искусстве, о родине:

В древней Наири, в Ванкском соборе
Воспоминания душу томят.
Древней Халдеи вижу предгорья,
Звездный жонглер я, верный ваш брат.

Возвышенность чувств и неуверенность в собственном будущем.

В ту зиму они часто встречались у стен армянского собора. Здесь Тициан прочитал ей эти стихи; сюда же потом приносил и тоже читал ей другие. Под стенами Ванкского собора он решил — просил ее стать женой.

Ванкский собор для него — как символ...

Ощущение зыбкости бытия, смутная неудовлетворенность жизнью, видимая ее бесперспективность — это все заставляло Тициана искать опору в сфере духовной, пожалуй, даже мистической. Сама любовь казалась ему эфемерной, почти нереальной. Только поэзия внушала уверенность в себе. Лишь она была истинна и непреложна. Мифическая, опаленная солнцем Халдея, мир поэтических образов европейской литературы и одухотворяющая сила любви — в поэзии все воедино сплавлялось и становилось реально, неизбежно, как протянутый над пропастью канат («поэты-канатоходцы»).

...Ночами друзья-поэты шумной компанией подходили к тропинке, которая спускалась с Грибоедовской улицы на Головинский проспект (где теперь лестница), и там громко читали стихи — эхо гулко им вторило; это было эффектно, весело, только жильцы близлежащих домов сердились (богатая Нинина родня — Чавчавадзе — жила на Грибоедовской, 18). Поэты «производили эксперименты» — их в конце концов прогоняли; тогда они шли на Вознесенскую улицу, где жил Ованес Туманян, и там читали стихи, а потом кричали:

— Святейший Ованес! Дай тебя лицезреть!..

И он, патриарх поэтов, сам Ованес Туманян, выходил на балкон в халате, заспанный, седовласый, с ликом святого и с добрейшей улыбкой (в 1918 году Туманяну исполнилось 49 лет, но поэтической молодежи казался он старцем). Ованес Туманян приветствовал молодежь, называл их «юными своими друзьями», звал зайти к нему в дом, но ему отвечали нестройно, что счастье его лицезреть и так велико!.. С ним достойно прощались и шли по домам.

Впрочем, если было не слишком поздно, то, случалось, — и в дом к нему заходили: собирались вокруг жаровни с горячими углями — стояла небывалая, морозная зима. Сам хозяин дома садился как патриарх во главе, и они читали стихи. Временами хозяин бросал на угли свернутые бумажки — бумажки сгорали, и в комнате распространялся удивительный аромат. Тициан позднее писал об Ованесе Туманяне как о чуде: «Кто не знал этого человека лично, тому все сказанное о нем покажется гиперболой. Он обладал каким-то сверхчеловеческим обаянием, посредством которого сразу привлекал к себе собеседника и превращал его в своего вечного друга».

...Бывали довольно острые шутки.

«Однажды я шла по Сололакам, — вспоминает Нина Макашвили, — там был тогда большой ресторан тифлиских купцов первой гильдии. Вдруг вижу: выбегают из ресторана толстые купцы, а за ними Паоло, Тициан, Лели и не помню кто-то еще, и кричат: “Бей спекулянтов!”. Их крики подхватывают мальчишки, продающие папиросы с лотков, продавцы ирисок, тянучек и просто прохожие, и вся эта толпа несется по Сололакам с воплями, обрастая, как снежный ком, все новыми людьми. А испуганные купцы, бледные и дрожащие, бежали впереди всех, трясая животами; изредка они оборачивались и грозили толпе своими палками. Это зрелище увидел из окна своей квартиры какой-то генерал и велел милиции задержать Паоло и Тициана вместе с их приятелями. Я, испуганная, бежала за ними, пока милиционеры, проведя их по Сергиевской улице (нынешней улице Мачабели), не выпустили со смехом».

Озорство.

Но и спустя десять лет Тициану отлично помнилась эта ненависть к захватившим власть в городе спекулянтам:

Откуда взялись
Эти жирные туши,
Торгаши?
На крови и на голоде
Ожиревшая банда...
Как за глотки ухватишь их?
И, само собою,
Как взрыв,
Возникает:
«Души!
Бей спекулянтов!..»

*Поэма «Восемнадцатый год»,
перевод В. Державина*

Зимой у дверей городских пекарен затемно выстраивались огромные очереди. Угрюмые, молчаливые: дрожащие от холода женщины в черном, скрюченные в углах и подъездах старухи и старики, ребята с мешками в руках — на ступеньках.

Ждут хлеба...

Две девочки-беженки примелькались: всё бегали за Паоло и Тицианом, Атласка и Ашхен, — им отдавали, выворотив карманы, последнюю мелочь.

Еще у Паоло был любимый нищий, Леонтий Кочерга, и Паоло страдал, если встречал Леонтия, не имея копейки в кармане. Как-то вечером проходила вся компания по бульвару мимо бывшего дворца наместника, а навстречу — Леонтий Кочерга, и ни у кого нет денег; Паоло заволновался, потом снял свою широкополую шляпу и протянул прохожим: «Подайте бедному поэту!». По бульвару гуляла нарядная, сытая публика; люди, проходя мимо, улыбались и бросали в шляпу монеты, да не мелочь, а все больше рубли, — все хорошо знали Паоло, и шутка показалась забавной; шапка скоро наполнилась, и все деньги Паоло отдал нищему. Он даже пошел однажды домой к Леонтию Кочерге, в его подвал, — вернулся взволнованный, — а потом описал все виденное в рассказе «Цветные шары».

В этом рассказе Паоло Яшвили вспоминает парижских нищих. В ту пору Грузию называли «кавказской Францией».

«Патриотический» угар новообретенной государственной «независимости» охватил негустую прослойку грузинской интеллигенции, вызывая к жизни энтузиазм, выражавшийся, впрочем, по преимуществу в форме словесно-банкетной: в виде организации патриотических клубов, чайных, кафе и кафе-салонов. Тогда еще мало кто понимал, куда направлена и к чему приведет эта националистическая шумиха, чем грозит разрыв с революционной Россией. Демагогические лозунги меньшевистского правительства вызывали неподдельное воодушевление, зарождалась «национальная гвардия» — грузинская добровольческая армия. С большим шумом прошли выборы в Учредительное собрание. Даже поэтическая группа «Голубые роги» выступила в рядах поспешно сфабрикованной «партии» сотрудников газеты «Сакартвело» под названием «Эстетическая лига патриотов», которая представила за номером четырнадцатым свой список кандидатов, куда вошли и Паоло Яшвили, и Тициан Табидзе, и Али Арсенишвили, и Павле Ингороква, и художники Якоб Николадзе и Ладо Гудиашвили, но получили они на выборах, как говорят, всего один голос, чем, впрочем, нимало не были обескуражены, так как едва ли относились к этому всерьез.

В эти и в последующие годы Тициан Табидзе был не только поэтом, но и много пишущим журналистом. В то время Тифлис наводняло



бесчисленное множество газет, грузинских и русских, крикливых и недолговечных...

Далеким, но захватывающим примером был для Табидзе революционный запал Владимира Маяковского. Тициан вспоминает, что его особенно удивила близость Маяковского к первому советскому нарккому просвещения А. В. Луначарскому: «Тесные взаимоотношения власти и поэзии так поразили меня, — пишет он, — что я посвятил этой теме специальную статью, в которой довольно смело бичевал тогдашних правителей Грузии».

«Когда связь между Грузией и Советской Россией была оборвана, вести из Советской России стали доходить к нам редко. Тем более редки были поэтические новости. Стихи Маяковского попадали в наши руки лишь от случая к случаю. Но имя Маяковского гремело. Мы знали, что он работает в РОСТА... Пишет агитационные стихи, рисует плакаты. Советы способствовали расцвету искусства, поощряли революционных художников...» Литературные новости из Советской России встречались воодушевленно: «Мы с увлечением читали тогда новые стихи Маяковского. Заинтересовал нас и “Товарищ” С. Есенина», — вспоминал Тициан.

Меньшевицкому правительству было не чуждо заигрывание с науками и искусством. Государственные стипендиаты из числа подающих надежды молодых неимущих художников были отправлены на учебу во Францию. Тициану Табидзе тоже предложили поехать в Париж — он отказался. («Побоялся, что я без него замуж выйду!» — шутила потом Коломбина.) Голуборожцы относились к правительству сдержанно, и все же в стороне от общего энтузиазма они не остались. Когда был брошен лозунг: все на защиту родины (от турецкой угрозы), — в армии, подхваченные волной, ненадолго оказались и Паоло, и Тициан. Паоло военная форма шла, он в мундире был очень хорош собой. Лишь крайность могла заставить надеть военный мундир Тициана. Взять в руки оружие! Он и деревенского серпа никогда не держал... Как-то в деревне (брата не было дома) Тициан захотел помочь матери, задумал нарезать кукурузы корове и, не прошло минуты, вернулся в дом весь в крови — хватил по руке серпом; его повели к тетке, матери Галактиона, — она умела останавливать кровь, лечила травами. Та спросила: хочешь, чтобы шрам остался, или не надо? — и он сказал: пусть останется; после жалел — у него были красивые руки; шрам был особенно виден, когда руки зябли...

Солдаты, голодные, набитые в грязные, завшивленные казармы, роптали. Интенданты их обворовывали нещадно. Армия до начала сражений теряла и воинский дух, и облик.

Офицеры жили на квартирах, не вылезали из кутежей.

Меньшевицкое правительство заигрывало с немцами, с союзниками — тоже. Без боя сдали туркам Батум.

Тициан фальши не выносил. Еще генерал на смотре не досказал своей длинной патриотической речи, а Табидзе вышел из строя, пошел через плац, неловко сутулясь, волоча за собой по земле размотавшиеся обмотки. Не оглядываясь — от позора подалее! Генерал было вспыл: что такое? Ему объяснили: это — известный поэт!

Стихотворение называется «Второе апреля». 2 апреля — день рождения Тициана Табидзе. В этот день ему всегда вспоминался отцовский дом и Орпири. В 1918 году был горький апрель:

«Батуми сдали, и по Орпири идут татары. Кровавый апрель рыдает цветением персиков... Душе поэта скоро четверть столетья, а мне кажется, будто бы я родился раньше, чем Грузия. Вот она, роковая минута, — Пьеро надевает красную шапку и на мгновение превращается в Гарибальди...» (из подстрочного перевода).

Подвигу не дано было осуществиться.

Ярко сверкают страны моей звездные выси...
Ванкский собор! Одинок стою пред тобою.
В это мгновенье не думает больше Тбилиси
Об эшафоте, куда возведет он бывшее...

Новый позор обречен в эти дни испытать я —
Горе Халдее! Без сил я стою на дороге...
Копоть родных очагов — вот душа моя, братья,
Нет, не вино, — только слезы одни в моем роге!

Перевод С. Ботвинника

Унизительное хозяйничанье в Грузии немцев, турок, потом англичан, явившихся для «поддержки» государственной «независимости» отделившегося от России Закавказья. Гвардейцы зато одерживали «победы» над крестьянами: было подавлено несколько народных восстаний на окраинах Грузии; в Цхинвальском ущелье расстреляны были тысячи восставших против меньшевицкого правительства осетин, — гниющие трупы запрудили исток Лиахвы; 11 февраля 1918 года был расстрелян рабоче-солдатский митинг в Александровском саду в Тифлисе. Большевицкое правительство само себя разоблачало, обнажая антинародную, антидемократическую сущность свою.

Многие годы спустя, уже будет 1936 год, покажется Тициану: похоже! — но он не решится и вычеркнет это из набросков автобиографии —



побоится сравнить: «признаться — и они тоже были в плену, как потом оказалось, у мелкобуржуазных демагогов, величавших себя социал-демократами, но после Октября резко обнаживших свою социал-фашистскую природу».

Патриотический порыв сменили другие страсти: бессмысленная вражда между народами многонационального Кавказа. «Местное население уничтожало друг друга, — писал позднее в одном из своих очерков Тициан Табидзе. — Армяне выволакивали из поездов татар, татары — армян. Грохотали маузеры, сверкали кинжалы... Сколько людей сорвалось в бездну. Навеки потеряны их могилы».

«Война» грузин и армян...

Табидзе не был безучастным свидетелем всего этого позора. В разгар «войны» он в газете «Сакартвело» печатает открытое письмо известному армянскому поэту, председателю армянских землячеств в Тифлисе Ованесу Туманяну; он решительно осуждает подобный «метод» решения национальных вопросов грузинскими меньшевиками и армянскими дашнаками, он призывает грузин и армян к интернациональной дружбе. Обращаясь к мужеству и авторитету замечательного поэта, Тициан Табидзе предлагает ему тоже выступить против позорной войны. Тициан рассчитывал на исключительное влияние, какое имел Ованес Туманян на своих соотечественников. «Это было поистине патриархальное влияние, свойственное людскому обществу лишь в древности, — вспоминал Тициан. — Поэта слушался не только народ, но и главари, которым почти всегда свойственна уверенность в собственной непогрешимости. Влияние Ованеса Туманяна на свой народ мне напоминало авторитет Ильи Чавчавадзе, о котором наше поколение знает по преданию». Ованес Туманян был истинным патриотом, и вместе с тем он отечески любил и грузинский народ. В войне с турками совсем недавно погиб его старший сын, — он тогда же отправил на фронт сестрами милосердия своих дочерей; но когда началась грузинско-армянская провокация, он же писал в Ереван своим детям, что проклянет их, если они примут участие в этой грязной затее. Ованес Туманян ответил пространным письмом на призыв Тициана Табидзе. Оба послания обошли всю закавказскую прессу, оказав определенное влияние на организацию общественного мнения.

«Три года от Октября до советизации Грузии, близость с друзьями из молодых большевиков, работников грузинского подполья, — внесли некоторую трезвость в сознание, но этого было недостаточно для нашей перестройки», — писал в автобиографии Тициан.

Один из друзей Тициана впоследствии сравнивал Тифлис того времени с «Фантастическим кабачком» (так называлось одно из самых экстравагантных литературных кафе).

Тициану Табидзе Тифлис виделся балаганом.

Идет запутанная, темная игра: обдeldываются тайные дела, плетутся интриги, ширится стихия спекуляции и разврата. В кружении злоеющей карусели мелькают представители Антанты и бежавшие из России профессора, политики, знаменитые художники и музыканты, поэты, балерины, исполнительницы цыганских романсов, дамы из общества и проститутки...

На забаву иностранцам воскрешалась экзотика — пили вино из рога!

Тюрьмы были переполнены. Расстреливали большевиков и дезертиров.

Пахло порохом и кокаином.

Все это напоминало пляску на просыпающемся вулкане.

...его пугала невидимая пропасть под ногами.

<Русская поэтесса Нина Лазарева, жившая в те годы в Тифлисе, в 1918 году посвятила Тициану Табидзе стихи, в которых называла его «царем», но сравнивала с загнанным зверем. «Царь и ребенок, заклеянный крестом Халдеи», — скажет о нем Паоло Яшвили в своем стихотворном послании.

Сам Тициан себя назовет «королем халдейского балагана».

Он тот же — Пьеро. Но впервые с такою пристальностью он вглядывается в себя, уже не придумывая себе поэтической «маски», как прежде бывало, не нагнетая скорбных переживаний; теперь его трагическое мироощущение стало совсем реально. «Пьеро» — не поза; он — то, что иногда называют «лирический герой»: объективированное авторское «я», наделенное цельностью характера, личности, судьбы...

Образ поэта.>

«Ну, старая кляга, пойдем ломать своего Шекспира!» (Кин)

В этих словах, которые Блок взял эпиграфом к стихотворению «Балаган», Тициан ощущал свое состояние — привычной усталости: театральщины, утомительно вросшей в жизнь, дешевой, банальной, вечной...

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.



Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...
Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!
В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Нельзя сказать, что эти старые блоковские стихи, давно известные Тициану, вдруг стали для него образцом, поэтическим руководством, — просто они отвечали его настроению в данный момент. Он умел жить стихами, он вживался в стихи и не мог уже сбросить с себя лохмотья «ходячих истин», уйти из этого «театра», как он ушел из армейского строя во время парада.

Пьеро — «двойник» поэта, в душе которого живет память о прежнем, ином существовании; его тревожит мистика необъяснимых предчувствий и мелкая проза будней, в которой он тонет.

Тема блоковская — заново и по-своему пережитая.

У Блока — в «Ночной фиалке»:

Был я нищий бродяга,
Посетитель ночных ресторанов,
А в избе собрались короли;
И запомнилось ясно,
Что когда-то я был в их кругу
И устами касался их чаши...

У Тициана Табидзе:

«И знаю я, откуда я пришел, какой страны горячее солнце жгло меня, у меня был великий предшественник, на Спасителя был похож». Так начинается стихотворение, написанное еще в конце 1917 года, «Король балагана»:

<...Когда не пою — на душе моей радость.
Не хочу судить современников строго,
Старинных заветов запомнил я святость
И люблю молиться забытому богу.
Жонглера звездами, мага-поэта,
Вспоминаю песни ночью я чутко.

Просыпаюсь в огнях ресторанный света.
Мне в петлицу приколет нарцисс проститутка.
Хрипло стонет вблизи оркестр иступленный,
Негр хмельной танцует, шатаясь.
Я, изорванный весь, я, пристыженный,
Позвонив, бегу, от лакеев скрываясь.
Так, быть может, умру я, король балагана.
Королем я был на земле неизменно.
Не забудьте поэтов, что умерли рано,
Что о боге томились смиренно.

Этот наивный и негладкий, в ту далекую пору созданный перевод Татьяна Вечорки передает настроение оригинала вернее, чем выразительно-чеканный и неточный перевод П. Антокольского:>

А в диком оркестре всё трубы хрипят,
 Всё пьяные негры кричат.
Оборван и нищ с головы и до пят,
 Кабацкий покину я чад...

Он из тех — блоковских «королей».

Пусть не обманет нас кажущаяся бытовая конкретность стихотворения, — это не о кабацкой «романтике»: Тициан — отнюдь не «грузинский Есенин» с его «забубенной славой», с его обнажающей душу лирической откровенностью и тоской. Здесь тоска — иная.

Жизнь — балаган. Он — король балагана: поэт! Помня древние, святые поэтические заветы, он «молится забытому богу», не боясь показаться несовременным, не желая уподобиться современникам. «Король балагана» не забыл солнечных песнопений, посвященных ослепительной, далекой Халдее. Но все вдруг изменилось. Еще недавно он видел свою Халдею в недостижимой дали, сейчас он видит ее — сквозь кабацкий чад и продажную ласку, оглушенный хриплой музыкой балагана. Прошлое навязывает свой знакомый сюжет:

О родина, смотрю я на тебя
 Из сумерек партера.
Мой старый балаган, с тобою снова я —
 Бродяга и актер.
От выцвета души твоей не защитили
 Ни пестрая фанера,
Ни холст цветной — всё солнцем беспощадно
 Расстреляно в упор.
Еще стекаются с актерами фургоны.
 Раскрашенные, в блестках,

Сидят фигляры, фокусники, маги;
Борцы шагают в рост.
О братья милые, сегодня с вами я
Сыграю на подмостках.
Поставим «Душу» мы. Старинный этот фарс
Возобновим для звезд...

«Актерами возобновления» называли себя поэты-голуборожцы в первых своих манифестах. Тициан несет это знамя. Но блекнут краски спектакля. Стихотворение «Халдейский балаган» — о том, что происходит вокруг.

Интересно, что эти стихи начинали складываться давно, в Москве еще, — вспомним письмо к Валериану Гаприндашвили от 2 января 1917 года: «Стены моих “Халдейских городов” растут. Стою я среди пурги: идут жонглеры, фокусники, царицы, старые мастера и конквистадоры. Когда города построятся...» — фраза на этом оборвана. Стихотворение «Халдейский балаган» датировано 22 апреля 1918 года. Манящие издали стены «Халдейских городов» при ближайшем рассмотрении оказались из цветного холста и фанеры.

«Фарс», разыгранный в «балагане», отнюдь не предполагает непременно «разоблачения», это всего лишь обозначение жанра, некогда популярного у бродячих актеров; на балаганных подмостках, среди убогих, истрепанных временем декораций, возобновляется представление вечное, священное — о душе человеческой!

Образ самого певца наполнился новым лирическим содержанием.

В поэзии Тициана Табидзе нет градаций между лирикой и эпосом; личное от исторического не может быть отделено — для поэта оно всё едино; лирика — тот же эпос, бесконечно приближенный, проникающий в душу:

...Пусть о Тамаре, троице святой,
О благи старинной
Расскажет летописца Грузии
Правдивое перо.
А я, склонясь над плачущей моей
Подругой Коломбиной,
Лишь звездам расскажу о ней слезами,
Как преданный Пьеро.
Всегда с тобой рыдать я буду, Коломбина!
И правдой наших слез
Не смьть румян твоих, что положил жестокий
Пример — туберкулез.

Перевод Л. Мальцева



Фарс о «душе», разыгранный на грубых дощатых подмостках, в жизни поэта был настоящей драмой.

Что может быть поэтичного в туберкулезе?

«Тициан был очень расстроен и водил ко мне всех врачей, каких только знал, — вспоминает Нина Макашвили. — А Паоло так нежно и рыцарски любил Тициана, что как умел старался ему помочь: Паоло наполнял мою комнату цветами, пил вместе со мной лекарства, которые я не хотела пить, он даже вместе со мной давал себе делать впрыскивания — лишь бы я согласилась лечиться. А Тициан в это время смущенно сидел на стуле...

Мама рассказывала потом, что когда она увидела их двоих в моей комнате — Паоло и Тициана: один держался молодцевато, высоко поднимая голову, и говорил много, а другой сидел молча и голову совсем опустил, — она сразу догадалась: этот влюблен и посватается.

Моим выбором мама не была довольна. «С ума ты сошла, — говорила она мне. — Кто за таких замуж выходит? Разве годится он для семейной жизни? Ты же сама в нем скоро разочаруешься». Я только просила ее: — Мама, не уговаривай, дай мне самой разочароваться!»

Тициан писал в Кутаис Валериану Гаприндашвили: «Дорогой Чичико! Каждый день, бесконечно думаю о тебе. Нас с Паоло пугает твое одиночество: видно, ты изойдешь стихами. О наших бессодержательных днях тебе расскажет Паоло. Часто читаю твое стихотворение обо мне и уверился, что ответить тебе достойно я не сумею. Но я как пиявка люблю поэзию. О моем «Ванкском соборе» тебе расскажет Паоло. Я очень хотел приехать, но Коломбина больна. Эта туберкулезная девушка, видно, будет моей судьбой. Она часто вспоминает тебя и Паоло со слезами. Проверять дружбу Паоло поздно...»

Нину вскоре увезли в санаторий в Абастуман. Тициан и Паоло ее сопровождали. В Боржоме сделали остановку. Долго все вместе бродили в пустом по-весеннему парке; ветер трепал обрывки прошлогодних афиш, возвещавших о выступлении поэтов-голуборожцев. А вечером состоялся импровизированный концерт для собравшихся в комнате, где остановился Тициан, боржомских обитателей и больных.

Паоло вдохновенно читал Бальмонта:

Как испанец, ослепленный верой в бога и любовью,
И своею опьяненный и чужою красной кровью,
Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде,
Я хочу цветов багряных, мною созданных везде...

И, стремясь от счастья к счастью, я пройду по океанам,
И в пустынях раскаленных я исчезну за туманом,

Чтобы с жадной быстротою аравийского коня
Всюду мчаться за врагами под багряной вспышкой дня.

И, быть может, через годы, сосчитав свои владенья,
Я их сам же разброساю, разгоню, как привиденья,
Но и в час переддремотный, между скал родимых вновь
Я увижу Солнце, Солнце, Солнце — красное, как кровь.

<Он был неотразим — Паоло Яшвили. Рядом с ним Тициан казался застенчивым и неловким. Тициан читал, конечно, свой «Ванкский собор». Валериан Гаприндашвили тоже приехал в Боржоми, он прочитал только что написанное стихотворение «Больной Коломбине» и еще «Кутаис в ветреную погоду». Мир кружился пыльным смерчем в его поэтической фантазмагории; мелькали образы-тени, как легкий рой привидений, как искры взметенных ветром пылинок...

Когда Коломбину отвезли в санаторий, друзья поехали в Кутаис и оттуда слали ей каждый день телеграммы: почтовые работники еще не видывали такого и однажды все вместе пришли посмотреть на нее, — ей стало не по себе от избытка внимания и заботы.>

Из Абастумана, почти не задержавшись в Тифлисе, она уехала надолго в Кахетию, в деревню, к родным...

«Этого, оказывается, не следовало скрывать» — называется написанное в 1919 году юбилейное стихотворение: оно знаменует конец первого десятилетия в творчестве Тициана Табидзе (он начал печататься в 1909 году).

Эти стихи трагичны:

Дезертиры палят из ружей.
Рыжей кровью течет Лиахва.
Проступив из души наружу,
Прожитое тленом запахло.
Десять лет — будто рябь сквозная,
Страшных снов обугленный свиток.
Как я выдержал, сам не знаю,
Столько горечи, столько пыток.
Для страдающего поэта
Все слова потеряли цену.
Пусть расширилась сцена эта,
Мертвецом я вышел на сцену.
Так в грузинской сказке: бедняга
Набредает на ключ бессмертья.

Он домой воротился с флягой —
Тут ему и крышка, поверьте!
Так с поэтами происходит,
Что, видать, от рожденья хилы.
Если слава их и находит,
То лежит на плитах могилы.
Их стихи — словно кубки яда.
Им отравы скрывать не надо.

Перевод П. Антокольского

<Сфера действия поэзии расширилась необычайно, увеличился диапазон поэтических переживаний. Тициан это чувствовал по себе. Его стихи переполнила реальность происходящего: «рыжей кровью течет Лиахва», «обугленный свиток» снов, горечь разочарования — это не просто «отклик» на политические события, на тот же расстрел осетин в Цхинвальском ущелье, которого Тициан никогда не видел, — это лично им пережитое. Окровавленная Лиахва снилась ему годами, жутким символом застревающая в стихах. Деревянные подмости «балагана», хотя бы и «халдейского», способные вместить душевную драму поэта, оказались тесны для народной трагедии; застывшая белая маска Пьеро уже не могла передать всей меры его отчаянья. В новых стихах исчезают «холсты» и «размалеванная фанера»; сама история вот-вот прорвется на сцену...

1919 год был критическим для поэта. В творчестве Тициана Табидзе начался важнейший для него перелом.>

В этом году друзья Тициана Табидзе шумно и весело отпраздновали его юбилей. В Кутаисе состоялся большой торжественный вечер, на котором Геронтий Кикодзе, серьезный критик, сделал обстоятельный доклад, сочел в нем обзор творчества Тициана Табидзе с экскурсами в историю мировой литературы; затем поэты разных городов читали посвященные Тициану стихи и переводы этих стихов (стихи звучали на нескольких языках); произносились приветственные тосты, — один из выступивших чествовал юбиляра на языке художественного свиста. Сам Тициан, которому к тому времени уже исполнилось двадцать четыре года, по мнению старых кутаисских знакомых, стал заметно солидней: куда исчез хрупкий юноша, похожий на застенчивую инфанту? Он обрел уверенность жестов, и голубые глаза его блеснули весело, улыбка не сходила с лица.

...Тициана мучила странная эфемерность, как бы нереальность происходящего.



Так называемая «независимость» Грузии в кратчайший срок породила экономические трудности в жизни страны, неразрешимость которых вскоре признали сами ее правители.

В ноябре 1919 года директор департамента торговли и промышленности уже с полной безнадежностью докладывал председателю меньшевистского правительства Ною Жордания: «Скоро полтора года как Грузия стала на путь самостоятельного государственного существования... Беспристрастное наблюдение явлений экономической жизни страны приводит к неизбежному заключению: экономический организм государства в корне расшатан, хозяйственное положение отечества близко к катастрофе... Выпускаемые бумажные денежные знаки давно уже потеряли свое назначение... Создалась банковская спекуляция. В то же время промышленность страдает от отсутствия главнейших элементов, обуславливающих нормальное производство: сырья, топлива, орудий производства, подсобных материалов и капитала... Это повлекло за собой паралич производственных процессов, катастрофическое уменьшение количества производимых ценностей. Торговля разрушена, здоровые ее элементы отброшены либо влачат жалкое существование; нездоровая же часть бросилась в широко раскрытые объятия спекуляции... Сельское хозяйство замкнулось в своем натуральном цикле, локализовало свои рынки и как бы оторвалось от общей народнохозяйственной жизни страны. Пока еще мы получаем из-за границы по баснословным ценам, за счет оставшихся у нас запасов, товары, но если так будет продолжаться... произойдет катастрофа — экономическая смерть страны со всеми ее ужасными последствиями».

Что прибавить к этому чиновничьему воплю? Разве что признание самого главы правительства Ноя Жордания: «Мы раньше часто говорили, что идем к экономической катастрофе. Многие этому не верили и считали, что мы их просто пугаем... Сегодня всякий видит, что мы изо дня в день приближаемся к экономической катастрофе» (октябрь 1920 года).

Поэзия в эти годы стремилась к отвлеченности. Все же и в ней отражалась некая зыбкость и нереальность.

Тициан Табидзе придавал принципиальное значение стихотворению «Бирнамский лес». Оно — об искусстве. О поэзии голуборожцев. Уже в самом заглавии — выражение тревоги. Так у Шекспира: «Макбет, не бойся, пока не двинулся Бирнамский лес на Дунсинан!» — здесь лес воплощает саму устойчивость, ибо его уж ничто не сдвинет: «Не бойся, Макбет, будь в себе уверен!» — так это звучит, но в финале трагедии — двинувшийся на замок Макбета Бирнамский лес: воплощение ужаса — немыслимое, ставшее возможным!

Вглядываясь в окружающую его жизнь, прислушиваясь к собственным ощущениям, присматриваясь к творчеству друзей, поэт повсюду замечает пугающие признаки мертвенности, распада. В неожиданных мизансценах возникает в стихотворении «Бирнамский лес» фантастически запутанный мир образов поэзии голуборожцев:

<Бирнамский лес. Призрак Халдеи.
Лорд Пьеро сутулится сильней.
Леди Макбет сидит, бледнея,
На коленях у пьяных гостей.
Черти Рембо взвалили на плечи.
Он тянется к скрипке мертвой ногой.
Самоубийц пирует вече,
Шлет Моурави вызов свой.
Преследует желтого малайца —
За ним павлинов цветной ураган —
Паоло. Офелия шатается:
Пощечину Гамлету дал Валериан.
А на виселице построен
Полоумный воздушный храм.
Разлюбив, я в душе спокоен...
Всех мучительней Мери улыбается нам.
Коломбина... Кашель чахоточной пери...
И свистящий ноябрь запечатал двери.

Перевод О. Мандельштама

В движении стиха — последовательность бреда. В оригинале: Пьеро — в белом, как в саване.

«Горбатый Пьеро»... (Тициан сутулился, его за это ругали друзья и женщины, называли «горбатым», он обижался и однажды подарил своей переводчице, поэтессе Татьяне Вечорке, карикатуру Зиги Валишевского, — а может быть, только хотел подарить, потому что она осталась в его архиве, — с подписью: «От горбатого поэта», — он здесь изображен вместе с Паоло, который воинственно-пьяно рвется вперед, а Тициан его удерживает.

Мир фантастический — обжитый и привычный. Голуборожцы все в нем, как дома.

Стоит вспомнить послание Паоло Яшвили (Тициану Табидзе), написанное почти одновременно с «Бирнамским лесом», или стихотворение Валериана Гаприндашвили, посвященное им обоим — Паоло и Тициану.

Встает духан средь мутных грез.
В нем Паганини тайномудрый



Торгует краской для волос,
Золу сбывает вместо пудры.
И к чародею в ранний срок
Пришла чета богемы праздной,
Чтоб голубой найти цветок
В кунсткамере многообразной...

«Голубой цветок» — со времен Новалиса символ романтического искусства — из Тицианова манифеста, в котором он объяснял происхождение странного названия их группы «Голубые роги». Их искусство мечется среди монстров и призраков. Кружится бредовая карусель:

В кольце опаловом поет
Гетеры призрак обнаженный.
Колдун за скрипку выдает
Газели окорок сожженный.
Дает сутулый Тициан
За пару рыжих крыс задаток.
Мышами желтыми карман
Набил Паоло в блеске радуг.
Факир, очерчивая круг,
Готовит яды без ошибок,
Поэтов пьяных ловит вдруг
И вешает их вместо скрипок.

Перевод Тристана Магабели

Тристан Мачабели — псевдоним того же Валериана Гаприндашвили. Он писал стихи и по-русски тоже и много переводил, в том числе себя самого.

При всей внешней похожести, это по существу очень разные стихи.

У Паоло Яшвили реальность мышления теснит поэтику ночного кошмара; в привычных для голуборожцев поэтических образах сохраняется четкость подлинных ощущений; он создает своего рода «творческий портрет» Тициана, отмечая истоки — влияние Лафорга, указывая основные «тенденции» творческого развития — бег от «халдейского балагана» в деревню; Паоло в ощущении точен: «шафранные стихи» — малярия (поэзия тоже — начало деревенского цикла «Безумный священник и малярия»).

Там, где Паоло Яшвили мыслит реально, Табидзе — реально чувствует: «Бирнамский лес» — самоубийство поэзии. Бытовая реальность образов разлагается, поэту мучительны фантазмагория и гротеск. Эфемерный храм, возводимый на эшафоте, — метафора, концентрирующая все безумие происходящего. Рядом с этим «высоким» (высота ви-

селицы) поэтическим образом — простодушная откровенность: «Никому не хочу довериться, а больше всех меня мучает своею нежностью Мери». И — чахоточный кашель Коломбины...

Валериан Гаприндашвили относится к миру гротескных кошмаров серьезно. Он дома — в испанских сумерках Эскуриала, среди чудовищ Гойи; Офелия — единственное светлое пятно в этом тревожащем мире, где простерты «трупы двойников» и «жаждет боя тень Лотреамона». Об этом пишет в стихотворении «Валериану Гаприндашвили» Табидзе:

Там я, твой друг, оружием владею.
Там за тобой пылает Запад мертвый.
За мной — Восток таинственной Халден.
Мы всех поэтов славим поименно...

Перевод П. Антокольского

Тициан и здесь подводит историко-литературную базу. Но у Гаприндашвили совсем другая задача:

«Голуборожцы не ждут будущих поэтов, которые окружат их имена сказочным ореолом, как богов и героев», — пишет он, обосновывая теоретически свои и своих друзей стихи, посвященные друг другу, — поэтому они «сами вводят друг друга в поэзию, как поэтические образы, сами создают взаимные мифы и символы. Их идеалом служат фантазмагория и миф». Последнее относится прежде всего к самому Валериану Гаприндашвили...»

Весною 1919 года Тициан побывал у родных в деревне: намекнул о предстоящей женитьбе. Это его последняя встреча с отцом...

Летом Тициан едет в Кахетию — знакомиться с будущей родней.

Его принимали с княжеской пышностью. Он был очарован Кахетией, которую увидел впервые. Прожил в гостях две недели и, уезжая, пообещал осенью привезти знакомых писателей на храмовый праздник Алавердоба.

Они в самом деле приехали, кутаисские друзья Тициана, и встречи были с большим почетом, взволнованы чудом ночного праздника под стенами древнего храма Алаверды.

«Это была волшебная ночь, — вспоминает Нина Макашвили. — Мы устроились в монастырской келье... Всею ночь ходили по большому двору монастыря, который сверкал огнями. В этом возникшем на мгновение чудо-городе пылали факелы, освещая тысячи людей, арбы, покрытые коврами. У каждой арбы горел огонь. Шипели шашлыки. Звучали бубны, рядом танцевали... А на рассвете мы пошли смотреть, как тушины и кисты встречают своих женщин. Рассветало. В долине

ресным» из всех довольно многочисленных деятелей русского искусства, которых Гражданская война заставила приехать в Грузию. Судейкин уехал из Петрограда еще до революции, он больше года провел в Крыму, тяжело больной, — потом перебрался с женою в Тифлис.

Происходящее в России из Тифлиса казалось ледяной, кровавой фантазмагорией: «Люди, приехавшие оттуда, плакали, когда видели электрический свет, — вспоминал Тициан. — Больше всех плакал в кафе Василий Каменский — богема и поэт с темпераментом Стеньки Разина — и с русской откровенностью без конца рассказывал о московском холоде».

В Судейкине с первого взгляда чувствовался артист: русский аристократ с голубыми светлыми глазами, с легкой, античной фигурой такой стройности, что в свои сорок лет казался он лицеистом. Живое воплощение Дориана Грея. «Светлые глаза — глаза творца и юноши — хранят какую-то большую печаль». Первым встретил его, конечно, Паоло Яшвили, и Судейкин был от него в восторге. Потом и Тициан побывал у художника — в полуподвальной комнате, полной картин. В связи с выставкой современной грузинской живописи Тициану хотелось написать для газеты «Сакартвело» статью «Диалог с художником». От этой мысли пришлось отказаться — монолог Судейкина об искусстве «был гениален».

«Я записал тогда его статью о грузинских художниках и напечатал в газете, — рассказывает Тициан. — Думаю, что это единственная в Грузии статья настоящего мастера».

Первым откровением для Судейкина был Пиросманишвили — «гений необъяснимый».

В ноябре Тициан уехал в деревню на похороны отца. Мыслями, всею душой он еще был в Тифлисе. Осталось надолго чувство горечи, непростимой, невольной вины, как неоплатный сыновний долг:

Не был я в трауре,
Был только в черном, —
И вот я страдаю
Только за это.
Но трауром стала
Старая песня:
Отец дорогой мой — безумный священник —
И малярия...

Это стихотворение «Священник и малярия в гробу» написано год спустя. Им завершается маленький цикл стихов, который сам Тициан иногда называл «Орпирский сезон», иногда — «Осень в Орпири» (стихотворение под этим названием было написано в апреле 1919 года).



Три стихотворения о священнике и малярии — реквием отцу, но ему ли только? Не всей ли той жизни, что ушла вместе с ним?

Мучительно повторяясь, как бы развивая музыкальную тему, звучит «старая песня»: «Отец мой — безумный священник — и малярия».

Не музыка слова, не мелодия аллитераций — музыкальное развитие темы...

В стихах об отце возникает своеобразный поэтический образ того прошлого, о котором Тициан писал впоследствии с горечью (в автобиографии): «У меня на глазах деревни вымирали от лихорадки, и жители с проклятием оставляли насиженные места».

Прошлое, ставшее частицей души поэта, ее трагической нотой:

Старый Орпири. Прах пристани разоренной,
Небо Халдеи воздвигнуто эшафотом.
Каждую щепку души пересчитать упоенно —
Вот каким мономан предан отныне заботам.
Грузии светлой звезда умерла в небосводе,
Реквием слышится в каждой из наших мелодий.
Старая песня: безумный священник и малярия.

Сплетаются мотивы исторические, бытописательные, лирические: лихорадка, вошедшая в плоть и кровь, так что кажется, будто «лихорадит луну из-под туч навеса», «плачут лягушки в болоте, спрятаны тиною, будто душит чахотка их кашлем усталым», и «луна влачится, тяжелым шурша одеялом»; и тут же — «забытые сатурналии» прошлых лет, «смердные язвы» далеких бедствий и «желтые очи монголов». Небо Халдеи над старой, разрушенной пристанью на берегу Риона, памятником былого благоденствия, тех летописных лет, когда Рион был судоходной рекой, и корабли приходили в Орпири. Мысли о родине и мысли о себе, о своей судьбе — неразделимы:

С юных лет только реквием слышу я, длящийся ныне.
Словно звезды по небу, расселись лягушки-халдеи,
Мухи дохлые всюду мерещатся мне в паутине,
Паутина же к телу рубашкою льнет все плотнее.

Судьбы родины... Счастье любви... Все живые
Чувства мной не забыты — поверьте мне в этом.
Но в глазах у других вижу очи отца я слепые —
Обо мне они плачут, навеки покинуты светом.

Мне ведь тоже мечталось о доме, пускай небогатом,
И не так уже много прошу у судьбы я лукавой.

И, как всегда, со Смертью
Вступаю я в поединок,
А тень твоя рядом со мною
Уходит в это сражение,
Незримая миру.
Весь мир закружит
Мною спетая песня,
Отец дорогой мой — безумный священник —
И малярия.

Свадьбу не отложили. Из его родственников никто не приехал: все были в трауре. На свадьбу пришли друзья — художники и поэты с красными гвоздиками в петлицах. «Паоло носился по городу — доставал что нужно было. Он помчался в Батум за цветами и, вместо флердоранжа, привез мне для фаты живые белые пармские фиалки, — вспоминает жена Тициана. — Он сам составлял меню, он привел поваров из “Химериона”, официантов. Он на собственный вкус заставлял убирать комнаты в доме моего дяди на Грибоедовской, 18. Паоло встречал мою маму и вообще взял на себя все хлопоты. Тициан был нездоров, и Паоло оберегал его... Собралось народу человек двести. Гостей тоже приглашал Паоло. Он тратил деньги, а у самого штаны были рваные — на это он не обращал внимания». Торжественное венчание состоялось в Кашветском соборе, потом пышное празднество в богатой чужой квартире...

«Мне было стыдно признаться, — вспоминает Н. А. Табидзе, — что у Тициана нет квартиры. Наутро после свадебного пира мы с друзьями стояли на углу Грибоедовской и улицы Чавчавадзе, размышляя, куда пойти. У Тициана была высокая температура, он еле стоял на ногах. Комната была только у Лели Джапаридзе, на улице Броссэ, а он уехал проводить барышню; по дороге он вспомнил наше бедственное положение и с полпути вернулся — повел нас к себе. Друзья привезли нас с Тицианом в квартиру Лели, пропустили вперед, а сами куда-то исчезли. Едва мы вошли в комнату — Тициан свалился на постель. Я была в ужасе, я страшно перепугалась: Тициан бредил — я не знала, что делать. Я, вся дрожа, сидела в другом конце комнаты на диване и плакала. Вдруг открылась дверь, и вошел оживленный, довольный Паоло, а за ним — остальные. Я в слезах бросилась к нему с упреками: одну меня с больным оставили... Тогда Паоло мне рассказал, что в коридоре, когда мы входили, выла собака — это плохая примета; они испугались за Тициана и решили собаку убрать. Они все погнались за собакой, поймали ее на берегу Куры и бросили в воду, а потом следили, чтобы собака не выплыла, но собака вылезла из воды у Мухранского моста, отряхнулась и побежала. Паоло вскочил на первого попавшегося извозчика и бросился ее догонять, поймал, затащил в аптеку и дал ей

стрихнин, а потом ее снова бросил в воду и только тогда успокоился, что с Тицианом ничего не случится.

Паоло так любил Тициана, так за него боялся! Он ведь к животным всегда относился с нежностью, как к детям, сам держал собак и бывал к ним очень привязан. Он мне потом говорил, что у него долго болело сердце за эту убитую им собаку...

Спустя полчаса мы отвезли Тициана в больницу, где он пролежал целый месяц с воспалением обоих легких. Там, в больнице, мы и провели наш "медовый месяц"...

Когда Тициан поправился, Паоло приехал за ним вместе с друзьями. Из больницы мы ехали на двух извозчиках. Навстречу нам на своей машине ехал городской голова, с которым Тициан был знаком еще по Москве. Он остановил машину и сказал: "Слышал я, что ты женился, да еще на княжне, и не знаешь, куда ее повести. Вот, я закрыл купеческий клуб на Эриванской площади, получай ключи и живи там", — и он дал Тициану ключи от клуба».

Но в клуб они переселились не сразу, сначала устроились в гостинице, там же, на Эриванской площади; через несколько дней поехали к матери Тициана — в деревню, прожили там две недели. А уже вернувшись в Тифлис, поселились в подаренной им квартире.

Квартира была огромная, как пустыня: в необъятных комнатах — круглый стол, кровать да четыре стула. Но зато был старинный большой камин, его растапливали вечерами каким-нибудь хламом, и все рассаживались у огня (если народу случалось не слишком много). В доме друзья толпились с утра до вечера, а Паоло и спать оставался тут же. Паоло Яшвили первый придумал — расписать пустые стены портретами: нарисовал Тициана, потом самого себя, Валериана Гаприндашвили, — за ним уже каждый рисовал что хотел. Ладо Гудиашвили устраивал в квартире выставку своих картин. Тициану он подарил портрет его — символический, выполненный в условной манере: сине-зелено-черный и весь вытянутый в длину (Тициан тогда был очень худой, однако же не настолько!); в руке, на вытянутой ладони, он держал на блюде халдейские города — с башнями и куполами, подмышкой зажал ощипанную и полузадушенную птицу-жизнь Гамаюн, а другой рукой придерживал спадающий с острых колен свиток стихов; позади — холмы пустыни, словно обугленные, фантастические деревья...

Однажды они в газете увидели объявление: «В квартире Тициана Табидзе Сергей Городецкий прочтет доклад о поэзии» — и ужаснулись: какой доклад? — стульев четыре только! И что будет потом: если даже часть публики разоидется, то много и останется, чем их кормить? Денег не было вовсе, — Сергей Митрофанович объяснил, что у него денег тоже нет, а стулья можно собрать у соседей...

После доклада, который все-таки состоялся, все, кроме друзей, разошлись, но и друзей было так много, что хозяйка пришла в отчаянье. Выручил Ованес Туманян: он встал и пошел к дверям, приласкав на ходу молодую хозяйку (мол, скоро вернется!). Вернулся он не один, с ним вместе пришли мушй с громадными корзинами. «Девочка, можешь не волноваться, я все принес!» — и улыбается светлой, хочется сказать — святой улыбкой. А в корзинах — закуски, вино, посуда... Сидели за столом до утра.

Ованес Туманян говорил о братстве народов.

Летом 1920 года один из друзей, Николай Мицишвили, уговорил Тициана поехать в Батум (в те годы Батум был «открытым портом» на Черном море — фантастический город, потонувший в стихии торговли, спекуляции и политических махинаций); Мицишвили обещал Тициану провести его литературный вечер и устроить работу в газете.

В Батуме они познакомились с Мандельштамом.

Историю появления Мандельштама в Грузии живописал в своих мемуарах Илья Эренбург: находившийся в Крыму Осип Эмильевич Мандельштам был принят отступающими врангелевцами за большевистского шпиона и арестован; усилиями Максимилиана Волошина его удалось спасти от расстрела; Мандельштам пароходом пробрался в Батум и там снова был арестован (грузинскими меньшевиками) в качестве уже «двойного агента», — здесь его спасли от тюрьмы опять же поэты: Паоло Яшвили и Тициан Табидзе.

Согласно другой версии, Мандельштама задержали в карантине по случаю предполагавшейся в Батуме чумы, а Тициан Табидзе, узнав об этом, вместе с Нико Мицишвили пробрался в карантин, за колючую проволоку (туда никого не пускали, но он доказал убедительно, что ему это необходимо, и его пустили); увидев Мандельштама, он сперва не поверил, что знаменитый поэт сидит, обросший и грязный, на камне; и Тициан ему устроил экзамен, чтобы убедиться, что перед ним тот самый Осип Мандельштам; потом он, вместе с Нико Мицишвили (Паоло не было тогда в Батуме), ходил к местным властям просить, чтобы им разрешили забрать Мандельштама из карантина, и просьбу их уважили, и они повезли Мандельштама с собою в Тифлис.

Есть и третья версия, рассказанная самим Мандельштамом: он был арестован в Батуме меньшевиками, ему грозило быть выданным врангелевцам, и спас его конвойный (его звали Чигуа), с которым он был выпущен в город за хлебом. Конвойный сказал: «У нас два часа, ты можешь хлопотать, пойдем — куда хочешь...». И добавил: «Может быть, ты — большевик? Я люблю большевиков». Они два часа ходили по городу. «Я, оборванец каторжного вида, с разорванной штаниной, и ча-

совой с винтовкой — ходили по игрушечным улицам, мимо кофеен с оркестрами, мимо итальянских контор, — пишет О. Мандельштам. — Пахло крепким турецким кофе, тянуло вином из погребов. Мы заходили, наводя панику, в редакции, профсоюзы, стучались в мирные дома по фантастическим адресам. Нас неизменно гнали. Но Чигуа знал, куда меня ведет, — какой-то человек в типографии всплеснул руками и позвонил по телефону. Он звонил к гражданскому генерал-губернатору». Этим человеком вполне мог быть Тициан, однако Осип Эмильевич ничего не пишет об этом в очерке, из которого взят эпизод («Меньшевики в Грузии», «Огонек», 1923, № 20).

В Тифлисе Мандельштам встретился с Эренбургом, который тоже прибыл туда после долгих и достаточно грустных приключений. «Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, — вспоминает Илья Эренбург, — а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидев на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть».

Для Тициана Табидзе это была долгожданная встреча с русской поэзией после долгой разлуки. Эренбург в ту пору был тоже известен как поэт. Тициан не умел умерять свою радость и славился гостеприимством, — а тут перед ним оказались два сразу поэта — из России, из Советской России.

Изголодавшиеся россияне лучше всего запомнили, как и чем их кормили. «Каждый день мы обедали, более того — каждый вечер ужинали, — пишет Эренбург. — У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирая самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, цоцхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соуса ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели... Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и киндза...»

Тифлис показался Илье Эренбургу городом из «Тысячи и одной ночи». Новых друзей невозможно было не полюбить за короткие две недели. До чего непохожи были они один на другого: Паоло и Тициан! «Паоло был высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать — и декларацию “Голубых рогов”, и обед в духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, меч-

тательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику; стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера».

Паоло Яшвили и Тициан Табидзе проводили гостей по Военно-Грузинской дороге до первого перевала...

Осип Мандельштам написал о Тифлисе стихи:

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарий стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.
Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.
Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там, в прохладе, там, в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить...

Он уехал, и после его отъезда о нем долго еще говорили, без конца повторяя понравившиеся строчки стихотворения: «Человек бывает старым, а барашек молодым...». Со смехом рассказывали, как Паоло в доме Тициана, однако без его ведома, подарил Мандельштаму Тицианово пальто, объяснив, что в Тифлисе и без пальто жарко...

Через некоторое время стало известно, что Мандельштам написал очерк о Грузии. Этот очерк, напечатанный в «Огоньке», вызвал бурное негодование его новых друзей. Тициан, недавно еще восхищенный появлением Мандельштама на грузинской земле, разразился свирепой статьей в издаваемой его друзьями газете, — он обрушил на голову Мандельштама поток самых злых и обидных попреков и обвинений, какие сумел придумать! (Обиду не сгладили ни стихи о «ковровой столице», ни переводы из поэзии голуборожцев, сделанные О. Мандельштамом; в 1921 году они были напечатаны в сборнике, изданном Н. Мицшвили.)

Чем вызвана эта обида?

Говорят, что Мандельштам в разговоре с поэтами-голуборожцами упрекал их в недостатке патриотизма. Г. Маргвелашвили в статье «Об Осипе Мандельштаме» («Литературная Грузия», 1967, № 1), опираясь, по-видимому, на устные воспоминания Георгия Леонидзе о встречах с Мандельштамом, пишет об этом так: «Мандельштам, восхищенный

неповторимым колоритом Тифлиса и ярким своеобразием жизни грузинской столицы, искренне недоумевал, почему друзья его, щедро заселяя свои стихи образами, навеянными европейской литературой, и славослова Париж, недостаточно пристально вглядывались стихом в образы родной земли».

Вероятно, так было. И все же они расстались друзьями. В этом споре не было ни малейшего повода для оскорбительной брани, какую полна статья Тициана, человека темпераментного, злого в полемике, но и корректного, вежливого обычно, тем более в отношении к гостю.

Упреки в чрезмерной приверженности к европейской поэзии для него не были новы и не могли, конечно, послужить причиной гневного взрыва, тем более что в очерке Мандельштама, ответом на который явилась статья, ни слова нет о грузинской поэзии, ни о поэтах. Мандельштам пишет о меньшевиках в Грузии, об их недолгом и бесславном властвовании, которое и самому Тициану представлялось бессмысленным и жестоким балаганом. В Батуме — «открытом городе», о котором только и рассказывает Мандельштам, — стихия разнузданной торговой и политической спекуляции была, пожалуй, всего очевиднее; всего яснее виделась там иллюзорность той государственной «независимости» от России, которая поставила Грузию на грань политической и экономической катастрофы. Мандельштам описывает увиденный им «балаган» — батумский базар: «Густой, разноплеменный сброд смешался в дружную торговую нацию. Все — грузины, армяне, греки, персы, англичане, итальянцы — говорили по-русски. Дикий воляпук, черноморское русское эсперанто, носился в воздухе», — это звучало несколько свысока. Но за этим следовала характеристика, которой одной было довольно, чтобы заставить Тициана Табидзе потерять самообладание, настолько она несправедлива, презрительна — по отношению к тому, что представлялось Тициану трагедией: «Маленькое, “независимое” государство, — писал Мандельштам, — выросшее на чужой крови, хотело быть бескровным. Оно надеялось чистеньким и благополучным войти в историю, сжатое грозными силами, стать чем-то вроде новой Швейцарии, нейтральным и от рождения “невинным” клочком земли...».

Насколько проницательней был в своем понимании судеб этой страны Андрей Белый, писавший в книге «Ветер с Кавказа» о древней культуре, вынесшей множество испытаний: «История длиною лентой разворачивает свои смены картин; льется кровь; цитадели культуры штурмуются дикими ордами вновь проходящих народов; кровь Грузии — старое очень вино, настоявшееся на глубоких страданиях; мы еще в шкурах ходили, а Грузия — выстрадала; первая здесь принимала удары: монголов и персов... Местности эти — точнейшие ноты; глядишь на них — песни встают...».



БРАТСТВО



Паоло Яшвили

*Вот мой сонет, мой свадебный подарок.
Мы близнецы во всем, везде, до гроба.
Грузинский полдень так же будет ярок,
Когда от песен мы погибнем оба.*

*Алмазами друзья нас называют:
Нельзя нам гнуться, только в прах разбиться.
Поэзия и под тадрой бывает
Такой, что невозможно не влюбиться.*

*Ты выстоял бы пред быком упорно
На горном пастбище, на круге горной,
Голуборожец, полный сил и жара.*

*Когда зальем мы Грузию стихами,
Хотим, чтоб был ты только наш и с нами.
Будь с нами! Так велит твоя Тамара.*

Август 1921

Перевод П. Антокольского



Советская власть в Грузии была установлена 25 февраля 1921 года.

Начало нового этапа в творчестве Тициана Табидзе лишь приблизительно совпадает с началом советизации. Уже в его стихах 1919–1920 годов обнаружилось новые связи с жизнью, повлекшие за собой поэтические новшества. Вместе с тем, как он сам признает: «В начале советизации мы еще тяготели к символизму, французским сюрреалистам и дадаистам». Сказывался трехлетний отрыв от революционной России, от русской литературы, с которой творчество Табидзе связано было в истоках.

Поэзия не перестраивается тотчас вслед общественным переменам: поэтический перелом исподволь назревает; в поэзии сильна инерция взятого направления.

В 1920–1921 годах Тициан Табидзе, судя по всему, переживал творческий кризис. Кажется, впервые поколебалась в нем вера в поэзию. Он терял уверенность в себе. Всё стало так темно, непонятно — «хоть пиши иероглифами».

В стихотворении «Чемпион сезона» он передает это странное чувство: «Как будто я маленький мальчик, с грифелем и доской, а моя душа вручена другому...».

Холодность, пустота, утрата живых ощущений...

Несвойственная поэту рассудочность, с какой он рассматривает всякую новую тему, будь то хоть «Мадонна на Дезертирском базаре».

Его поражает собственное хладнокровие, невозмутимость: «Прежде я любил лирику и готов был плакать целый день без причины, а теперь тщетными мне кажутся все надежды, лирический поэт представляется мне гусярлом», — признается он.

И сам себя называет «проклятым поэтом», жаждущим благословения, видящим лишь попреки: «Я сам готов бежать за каждым уходящим днем и рыдать горше младенца. Двенадцать священников отпевали моего отца — надо мною и одного не будет! Не создан я для этого мира...».



Но последние строки стихотворения ироничны: «Так в поэте плакала малярня, так сумбурно писал Тициан Табидзе».

Душа поэта не отзывается миру.

Лирические откровения раздражают его.

В другом стихотворении Табидзе с издевкой называет себя «орпирским златоустом», уподобляет упоенной собственной песней лягушке. «Хоть бы я так любил поэзию и самый Орпири, как моя мать любит доящуюся корову!» — насмехается он над собой:

Всё, что имею, готов отдать я,
Чтобы хоть раз попасть в хрестоматию!..

Может, когда-нибудь и обо мне
Ученый труд сочинят:
Поэзия, верная левизна,
Сейчас идет нарасхват!

Эта издевка адресована не только себе; и не левизна в поэзии пугает его, но инфляция слова — внутренняя пустота того, что притворяется поэзией. Что с того, что «дадаисты» — в чохах? Кого обманет этот «патриотический» маскарад? А может быть, поэзия действительно измелчала?

У каждой веснушчатой девушки водится
В Грузии свой поэт...
Сегодня
Спустись с небес Богородица —
До нее поэтам и дела нет!

Давно ли его сжигал лирический пламень «Халдейского балагана»: «Пусть о Тамаре, троице святой, о благодати старинной — расскажет летописца Грузии правдивое перо, а я, склонясь над плачущей моей подругой Коломбиной, лишь звездам расскажу о ней слезами, как преданный Пьеро?» — и вот: свой поэт «у каждой веснушчатой девушки», а до Мадонны уже и дела нет никому! Его мучает мысль: может быть, наступило время НОТа и электрификации? И что за человек тот, кто позволяет себе сейчас увлекаться стихами? Сомнения сменяет надежда. Если первая часть «Орпирского златоуста» — иронична, то вторую диктует пафос. У него есть ответ на проклятые эти вопросы: «Я хочу сказать лишь то, что поручено мне грузинским народом, я хочу раскрыть его настоящее и грядущее» (точности ради обращаюсь к подстрочному переводу). Это — вера в конечную справедливость:

Эльбрус и Казбек, взоры вдаль устремляя,
Стоят, как столбы эшафота, как братья.

Неистовых деспотов злобная стая,
Терзая хитон, изрыгает проклятья.

Но меч Саакадзе настигнет злодея!
Он всех уравниет. Кто сможет укрыться?
И вновь в Цицамури взойдет орхидея,
И труп Мачабели Курой возвратится.

Коль Грузия — мост, что из волоса вьется,
То сколько тут гениев в бездну сорвется!..

Цицамури — называется местность, где был убит возвращавшийся из Тифлиса в свое имение Сагурамо Илья Чавчавадзе. Вано Мачабели, известный общественный деятель и переводчик Шекспира, исчез при неизвестных обстоятельствах, даже труп его не был найден. «Волосяной мост», согласно восточной версии, лежит по дороге в рай... Трагический пафос раннего Маяковского слышится в этих стихах, его голос, взывавший взволнованно с подмостков театра (в трагедии «Владимир Маяковский»), требовавший к себе внимания, ибо: «с небритой щеки площадей стекая ненужной слезою, я — может быть, последний поэт!». «Орпирский златоуст» кончает свою речь словами:

Последний поэт, оставшийся в мире,
Устав от стихов, говорит это, братья...
Когда вас коснется пыланье Орпири —
Вы вспомните сами об этом трактате!

Перевод С. Ботвинника

Одержимый смутным сознанием непреходящей трагедийности жизни, поэт ищет спасения в иронии, в скептицизме. Ироничность — выражение болезненно переживаемой душевной опустошенности. У Табидзе ирония, как и у Маяковского, соседствует с пафосом; ироничность изнутри проникает в пафос, защищая его от декларативной обнаженности.

Наша лирика сегодня
Зарыдать опять готова.
Ей о белых днях воскресных
Сердце помнить не велит.
Как паяц, на храм Лафорга
Влез паук, искавший крова,
И на тонкой паутине
Он под куполом висит!..

Это — «Знамя киммерийцев», — поэтическая декларация 1921 года. «Лафорговское воскресенье» — белое, траурное; оно — лирический символ, который должен выразить нечто смутное, трудно передаваемое (стихи Лафорга — о мучке воскресных дней). Декларация — вызывающая: она вновь заставляет вспомнить трагического «тринадцатого апостола» из ранних стихов Владимира Маяковского, его «Облако в штанах»; себя и своих друзей Тициан называет новыми «евангелистами»; Орпири — «мой Патмос» (на острове Патмос в Эгейском море жил, согласно преданию, один из апостолов — Иоанн):

Все уйдем мы. Будет сломан
Меч стиха у рукояти,
И поэзия пред смертью
Свой поднять не сможет взгляд.
И в агонии, чуть слышно,
Как последнее заклатье,
Наши имени четыре
Трубы скорбно протрубят!

Этот высокий, пожалуй, — выпренный пафос завершается сдержанной, чуть ироничной концовкой:

Но архангельского гласа
Я не слышу рокового,
Патмос гибелью не дышит,
Не влечет его она.
А меня сегодня демон
Наших дней тревожит снова.
Подливать не нужно в чашу —
До краев она полна!

Перевод С. Ботвинника

Может быть, это — начало возрождения.

«Нас, как и русских футуристов, спасла Октябрьская революция, совершенно перестроив всю нашу жизнь и в перестройке изменив сущность поэзии», — писал в автобиографии Тициан Табидзе.

В Грузию Октябрь пришел на три года позднее. И результаты перестройки, разумеется, не сразу сказались.

...И долго еще Тициану казалось, что гибель ходит за ним по пятам, подстерегает, грозит, и он защищался, как мог, от гнетущих мыслей — стихами.

Паоло Яшвили в стихотворении, посвященном дочери Тициана, «Танит Табидзе», написанном в 1921 году, рисует облик скорбного по-

эта, желтого от лихорадки, в слезах меряющего шагами грязь орпирских болот, где скучают цапли...

Дочь, названная именем финикийской богини Танит (они оба, и Нина, и Тициан, зачитывались тогда романом Флобера «Саламбо»), родилась в годовщину их свадьбы — 14 января 1921 года. В ту ночь голуборожцы давали банкет в новом клубе артистам Художественного театра, и Тициан был с ними.

«Ко мне на минутку забежал Сергей Городецкий, — вспоминает жена Тициана, — рассказал, что ему очень понравилось, как москвичи пели: “Когда буду большая — отдам тебя замуж, во деревню чужую...” — спел несколько фраз и убежал. Когда ушел Городецкий, мне стало плохо, и Симон, брат Тициана, побежал в клуб сказать, что меня надо везти в больницу, но Тициан ему не поверил — решил, что я не хочу, чтобы он напился; когда за ним прибежали второй раз, он взволновался и поспешил домой... Ему долго не решались сказать, что у меня родилась девочка, — мне пришлось успокоить врача — объяснить, что Тициана это не огорчит: он сам хотел дочку...

А в конце февраля меньшевистские власти сбежали из города. Распоясались подонки, в городе начались грабежи.

У меня совсем не было молока, и в городе его невозможно было достать, нечем было кормить ребенка. Друзья Тициана, в особенности Паоло, настаивали на том, чтобы он отправил меня с девочкой к своей матери в деревню, — Тициан долго не соглашался, но его уговорили. Он уложил вещи и повез меня и ребенка на вокзал. В ожидании поезда спохватились, что нечем кормить девочку в дороге, забеспокоились; Паоло вспомнил, что у его матери в шкафу, он видел, стояло сгущенное молоко, — не поленился, съездил на Бебутовскую улицу и привез...

Тут же на вокзале Паоло организовал боевую дружину и отправился с нею к тюрьме — освобождать политических заключенных, которые потом собрались в отряды и двинулись в разные концы города для охраны общественного порядка — чтобы прекратить разбой и грабежи. В ту же ночь, прихватив с собою несколько человек, Паоло поехал встречать на Коджорской дороге советские войска; перед тем он забежал к своей сестре Паше и взял у нее простыню — вместо белого флага.

Тициан отвез меня в деревню и тоже возвратился в Тбилиси».

Когда он вернулся, во всей Грузии уже была установлена Советская власть.

Жизнь понемногу начала изменяться; литературная жизнь — тоже. Голуборожцы еще были тогда в центре литературного движения. Они хлопотали, чтобы получить особняк на бывшей Сергиевской улице —

что днем его видели с одним человеком возле ЧК. Ночь не спали. Утром жена пошла в ЧК, а сестра осталась дома с ребенком. Вышла на балкон посмотреть вниз — не идет ли знакомый кто-нибудь; вдруг видит — поднимаются оба: Тициан веселый, в руках игрушки для дочки, у Нины какие-то свертки. Тициан рассказал, что когда узнал про газету, расстроился очень, зашел с горя выпить, потом его потащили в карты играть — в казино, он никогда не играл, но тут пьяный был — пошел, что-то выиграл, на выигранные деньги купил дочке игрушек, сластей. Ночь прошла — не заметил. Когда ему объяснили, что дома из-за него не спали всю ночь, Тициан стал серьезный, сказал: «Это всё может быть!» — но тогда он совсем не боялся.

В начала 20-х годов группа голуборожцев обрела могучее подкрепление: к ним присоединился молодой, чрезвычайно талантливый и самобытный поэт — Георгий Леонидзе. Родом из Кахетии, он в Телави печатал стихи, еще будучи семинаристом, любимым учеником известного грузинского писателя Василия Барнова. Георгий Леонидзе чувствовал в себе необъятные силы: в юные годы он мечтал стать художником, историком, археологом и... патриархом (он учился в духовной семинарии) и стихи писал свежие, оригинальные, поражающие богатством и разнообразием словаря, каким-то удивительным, острым и тонким, как запах весенней пахоты, чувством родного слова: его стихи были пленительно музыкальны и очень национальны. С голуборожцами его связали не столько поэтические принципы, сколько увлекшая его большая, истинная дружба. Приехав в Тифлис, Леонидзе, как и Тициан, стал работать в газете «Сакартвело», — там они познакомились и стали часто встречаться. Георгия Леонидзе голуборожцы полюбили как младшего брата в большой и дружной семье. Он был молод, ему недавно исполнилось двадцать лет, он был красив, «строен — как тополь на берегу Иори», голубоглаз. С приходом советской власти Леонидзе стал работать в Наркомпросе. В своих стихах он теперь старался быть на уровне новых друзей и так оформил свою родословную в «Автопортрете»:

Я — варвар, я — хазар, я — сарацин.
У римских стен таран — гул динамитной дрожи.
Горячей Русудан я уминаю ложе;
Пространств потерянных меня терзает сплин.
Я услышал в себе старинный шелест крови.
Мне гроздья тучных чресл — Кахетии сосцы.
Над головой моей воскресных лун венцы.
И солнце держит мне свой пурпур наготове.

Стигматы расы я считаю, как цветы.
Трибун парижских толп и вольный князь картвелов.
Знамена Грузии мне реют с высоты,
И солнце в родовых походах поседело.
Купель поэзии — мне — виноградный чан.
Я душу бросил в яд, как в сусло золотое.
Люблю — близнец Рембо — я сумасбродство злое.
Мне в предки Теймураз и Чавчавадзе дан.
Воскресная газель, косуля молодая —
Я — черный Nevermog последнего трамвая.

Перевод О. Мандельштама

Как младший брат, он единым вдохом вобрал в себя сразу все отличительные свойства поэзии голуборожцев: парижский шик и прирожденную дерзость трибуна Паоло Яшвили с его любовью к злому сумасбродству Рембо; историзм и душевную смуту («сплин») Тициана Табидзе, его воскресные страхи, порфириносный пурпур слепящих солнц, знамена Грузии; ядовитую купель «новейшей» европейской поэзии и «ночной» мистицизм Валериана Гаприндашвили, — добавив к этому всему свой неумный темперамент, «шелест крови», головокружительную уверенность в собственных силах и... Ничего не случилось — он остался самим собой, со своей органической живостью поэтического воображения, со своею любовью к ярко-красочной образности, с простодушной верой в себя, непробиваемой, недоступной ни для какой ломки сознания, ни для каких трагических душевных противоречий — в поэзии встретишь нечасто такую цельность, такую неизменяемость духа, лишь крепнущего с годами. Душевная цельность, помноженная на истовый, не стареющий темперамент...

Тициан Табидзе тогда не преодолел еще творческий кризис. Он почти не писал стихов. Работал в газетах, писал статьи, готовил (вместе с Леонидзе) антологию «Поэты революции», которая вышла в 1922 году.

Вместе с друзьями он разыскивал в старых, понемногу исчезающих духанах картины Нико Пиросманишвили. Тициана поразила трагическая судьба замечательного художника-самоучки, подобная судьбам авторов древних грузинских фресок, барельефов, художественных миниатюр, имена которых неизвестны. Нико Пиросманишвили умер в 1918 году, — его жизнь у всех на глазах прошла незамеченной и стала достоянием легенды. Для того, чтобы собрать биографию Пиросмани, небольшой группе энтузиастов пришлось основательно поработать. Георгий Леонидзе, Колау Надирадзе, Кирилл Зданевич, Тициан и еще несколько человек обошли почти все духаны Тифлиса и его окрестнос-

судьбе художника, о его работе, о немногочисленных встречах с товарищами по ремеслу, о его одинокой смерти.

Картины Пиросмани — живописная летопись тифлисского простонародного быта и нравов: в них выразительность жанровых сцен, острота характеристик сочетаются с добротой и лиризмом, особенно там, где появляются образы детей, трогательные «портреты» животных...

23 апреля 1923 года грузинские поэты праздновали очередной, ставший традиционным День Поэзии. Этот день Тициану опять напомнил: он — поэт! Вспомнились прошлые годы, прежние увлечения, прежние горести и раздумья, и — спустя несколько дней, 2 мая 1923 года, Тициан создал стихотворение «Двадцать третье апреля»:

Снова мне снится кафе «Монпарнас»,
Сонм проституток, дряхлеющих в нем...
Мысль о тебе кто похитит сейчас?
Сердце свое я сжигаю вином...

Скрестились старые поэтические мотивы (тех еще времен, когда он чувствовал себя «королем» халдейского балагана) с новыми мыслями и переживаниями. Тбилиси, древний город Тбилиси, переживший тысячелетие бедствий, огня и насилий («Чуден Тбилиси в преданьях седых...»), уже приготовился заслонить в сознании поэта вчерашний Тифлис: «фантастический кабачок», наводненный дезертирами, беженцами и проститутками, — бойкую столицу «Кавказской Франции», миниатюрную копию дряхлеющего Парижа с его «Монпарнасом». Приготовился — но не заслонил еще. Прежнее настроение ушло не совсем, оставалось чувство неудовлетворенности и невнятный протест:

...Как патриарх, не хочу умирать.
Грузии солнце не радует взгляд,
Жажду от отчих могил убежать —
Для плясунов тут натянут канат...
Весь я изломан, как рифма моя
(Не извинение это, не злость).
Скачка сломить не сумеет коня.
Я для судьбы — лишь игральная кость!..

Перевод С. Ботвинника

В оригинале последняя фраза не содержит сожаления, ни даже горечи. Скорее — вызов судьбе. Следы недавней изломанности остались, но за всем этим — чарующий, как стихи Бесики, — вставал уже «апрелем расцвеченный мир». День Поэзии видится днем удач: «В этот день меня пощадили разбойники...».

<Ныне избег я разбойничьих рук,
Счастлив стихам этот день я отдать,
Страсть прошлогодняя вспыхнула вдруг,
Вижу Мелиту-Астарту опять.

Песни Бесики в сердце моем!
Землетрясения горийского ждем...

Перевод С. Ботвинника

Жена Тициана Табидзе вспоминала, как после празднования в кругу друзей они возвращались домой, было поздно (с ними был Лели Джапаридзе), возле самого дома к ним подошли двое или трое незнакомых людей и предложили отдать им одежду и деньги; денег ни у кого, разумеется, не было (жена Тициана испуганно прикрыла рукой бирюзовое кольцо); Лели Джапаридзе вздохнул, снял пиджак и ботинки; Тициану показалось смешно (его не считали храбрым), и он сказал удивленно, что, мол, неужели его, поэта, ограбят в этот счастливый день? Видно, грабители не лишены были чувства юмора: ни жену его, ни самого Тициана не тронули, только Лели Джапаридзе пришлось добираться домой без пиджака и в носках...

<Что же касается «горийского землетрясения», то случилось оно весной 1920 года; Тициан с женой вскоре после свадьбы, по дороге в деревню к матери заехали в Кутаис; они почувствовали ослабленные расстоянием толчки, а Гори был разрушен до основания. Позднее «горийское землетрясение» вошло в стихи Тициана Табидзе как символ душевной встряски. Ощущение радостное и тревожное...>

...Он собрал в себе остатки «лафорговского» скептицизма — всю иронию, всю издевку: он вывернул в последний раз наизнанку всего себя, чтобы написать — судя по первым строчкам, задуманное давно, — «Скверное воскресенье». Запал был почти запоздалый, как последняя дань уже не тоске — невыносимой воскресной скуке:

Шесть лет собиралась,
А ныне исторгла
Душа моя стихотворенье...
Его назову «воскресеньем Лафорга», —
Скверней я не знал воскресенья!
Не слышится звона колоколов,
Стоят, как призраки, храмы, —
Ах, если бы я не сказал этих слов,
Желчь в сердце б мне хлынула прямо!..

Он еще не ушел из привычного круга образов: «воскресенье Лафорга» — оттуда, как и «призрачные храмы», — но вместе с тем его поэтический мир здесь обрел неожиданную бытовую конкретность: ощущения поэта приблизились к реальному, повседневному антуражу. Все как будто бы упростилось, стало совсем очевидно, издевательски просто:

Похвастать могу, что даже во сне
Являюсь я истинным богом лени;
А если прибавить, что вижу в вине
Родную стихию, исток вдохновенья, —
То в Грузии нашей могу при этом
Самым великим прослыть поэтом!..

Это с насмешкой сказано, но ведь он в самом деле мог бы этим похвастаться. А эта «экзотическая» буффонада, притворяющаяся «культурной жизнью» города, этот балаган — уже без всяких кавычек, не символический «балаган» — просто цирк?

Теперь сюда, пожалуйста, гляньте:
Котэ Марджанишвили,
Шалва Дадиани,
Ушанги Чхеидзе,
Сандро Ахметели —
Восседают в цирке братьев Танти
На юбилее Кула Гданели.
У карачохелов сих, в самом деле,
Откуда такой темперамент возник?
Стоит на арене бедняга Гданели,
Как прогоревший купец-оптовик;
А перед ним — его прежний портрет,
Но силы железной — в помине нет..

Насмешку вызвала обыкновенная картинка с натуры: цвет тбилисской интеллигенции на юбилее некогда знаменитого циркача. Тициан беспощаден (в размер перевода не влез произносящий приветственную речь юбиляру Паоло). Виднейших деятелей грузинского театра он называет «карачохелами» — это же самая экзотичная, самая красочная достопримечательность старого Тифлиса: «люди в черных чохах» — мелкие ремесленники и торговцы в разнос, знаменитые своим дешевым уличным острословием, веселыми шутками, наглой лезтью, озорными песенками и танцами. Дешевой лести и недорогого искусства Тициан не любил... А «Скверное воскресенье» тянулось к вечеру не спеша. Вот зажглись огни театрального подъезда:

...Как самоубийцы, бредут по проспекту
Гаприндашвили и Надирадзе, поэты.
Потом — от жары шумит в голове —
Задыхаемся мы на «Веселой вдове».

Это — проходит жизнь. Один обыкновенный воскресный день. Тициан смотрит на всё и на себя тоже — со стороны, с грустной иронией. Это — сведение счетов с самим собой, с своим недавним прошлым и с сегодняшним днем, который ничем не лучше. Тут есть даже мораль, как в «Орпирском златоусте», — тоже не без усмешки:

Потом — ведь время летит вперед —
Уж так не смогу развлекаться я...
Пора настает, начало берет
Стиха электрификация.

Перевод С. Ботвинника

Прощаясь с прошлым, Тициан усмехается и грустит.

В 1924 году, в связи с брюсовским юбилеем, Тициан напишет статью «Валерий Брюсов», в которой, отдавая должное юбиляру, признает, что «завершилась история русского символизма», — для него это много значащее признание.

В немногочисленных стихотворениях этой поры поэзия Тициана Табидзе обретает новое качество, несколько для него неожиданное — бытовую конкретность, на первый взгляд самоцельную. Если во времена «халдейского балагана» в стихах Табидзе быт — символичен, по своему даже «возвышен» в своей трагедийности, то теперь это «наивная» бытовая конкретность, интересная как бы сама собою: скучный воскресный день — внешняя оболочка жизни, из которой ушла душа. Бытовые частности проникают в стихи, сохраняя свой буквальный, единственный смысл.

Характерно в этом смысле стихотворение «Мелита» (1923), имеющее подзаголовок «Дадаистический мадригал» (написано в пору еще не изжитого тяготения к «французским сюрреалистам и дадаистам»). Подобно «Скверному воскресенью», оно строится на ассоциативных мотивах, но не рядом лежащих, как было там, а причудливо сдвинутых, обнажающих лирическую механику:

Имя мое — Тициан — как ни странно,
Больше всего опозорено
Сравнением с бархатом Тициана
На старинных полотнах разорванных...



...Заговорили о «пролетарских писателях». Образовался ЗАПП, за-кавказская вариация РАППа. Появились свои пролетарские поэты: ориентировались на московскую «Кузницу», может быть, несколько запоздало.

В ту пору А. В. Луначарский, первый нарком просвещения, позволял себе иронизировать, выступая с речами: «...Я не имел в виду говорить о Лефе, — пояснял он. — Я говорил о тех молодых писателях пролетарских, которые возьмут перо, возьмут чернильницу в руки и задумаются: как же быть? Перо буржуазное, чернильница буржуазная. И мучили себя: как писать — прозой писать или стихами писать? Буквально мучили себя на моих глазах...».

Прежняя грузинская поэзия была едва ли не вся целиком объявлена «буржуазной»; это обвинение распространялось и на творчество нынешних поэтов, начинавших в предреволюционные годы, в том числе, разумеется, на поэзию голуборожцев. Их даже в начале тридцатых годов еще лишь с трудом, в ходе бурных дискуссий, пытались пере-квалифицировать в «попутчики», не снимая, однако, упреков — в декадентстве, в аморализме, в проповеди самоубийств (шли в ход их дореволюционные стихи, декларации из альманаха «Голубые роги», сложившаяся репутация). В Москве Маяковский был тоже «попутчиком»! Правее голуборожцев считались члены группы «Академия» во главе с Константином Гамсахурдиа и группа «Арифони», куда одно время входил Галактион Табидзе (в той и в другой было много видных литературных имен). Этих называли «консерваторами» и даже «реакционерами». На право зваться «попутчиками», наряду с голуборожцами, претендовала группа «Левизна» — грузинский ЛЕФ, вторая волна футуризма. К ним пролеткритика была снисходительнее: у «левых» не было буржуазного прошлого, их слабостью был так называемый «формализм».

Новоявленные «футуристы» впервые заявили о себе 5 мая 1922 года на литературном вечере голуборожцев: Симон Чиковани прочитал дерзкий манифест под названием «Феникс», подписанный, кроме него самого, Акакием Белиашвили (впоследствии он стал писать прозу, известен его исторический роман «Бесики»), Бесо Жгенти (он стал критиком и литературоведом), Давидом Гачичеладзе, Николаем Шенгелая (будущим кинорежиссером) и еще некоторыми другими. Устроители вечера, голуборожцы, протестовали, в публике слышались вопли негодования, и, как говорят, на сцену кидали стулья...

У грузинских левовцев было все — как положено у футуристов: «разрушали старые формы», экспериментировали со стихом, выпускали тощие книжицы, напичканные сумбуром, а журнал окрестили «жгучим» и в то же время «научным» именем «H₂SO₄» (формула серной

кислоты). Подобно голуборожцам (в пору их юности), младофутуристы ценили в поэзии по преимуществу форму, признавали «заумь»; своими учителями считали, разумеется, Маяковского и Хлебникова, но также — Бесики. Подражая русским футуристам, грузинские лэфовцы считали своим долгом эпатировать публику. Тонкий лирик Симон Чиковани тогда писал в одном из стихотворений: «Хлопнем лирику по башке сапогом, изойдем голубою кровью». И все они, в той или иной мере, чувствовали себя циркачами-канатоходцами — работали «на публику».

Голуборожцы, переболевшие детской болезнью «левизны» лет десять тому назад, не одобряли в поэзии шутовства. Тициан Табидзе в автобиографии пишет осуждающе об этих «эпигонах русского футуризма», которые «еще в 1925 году, запутавшись в творениях Хлебникова, превозносили “заумную” поэзию, лишённую всякого национального колорита. Даже появление “Лефа” не подействовало на них отрезвляюще. Просуществовав три-четыре года, большинство из них навсегда вышло из литературы; часть же, пройдя влияние “Голубых рогов”, впоследствии влилась в мощный поток пролетарской комсомольской поэзии <...> стараясь постепенно освободиться от формализма».

Симон Чиковани позднее подружился с голуборожцами.

По этому высказыванию можно судить и об отношении Тициана к московскому «Лефу»...

Тициан становился достопримечательностью грузинской столицы. Без него уже трудно было представить вечерний проспект Руставели, тогдашний тифлисский Монмартр, на котором назначались деловые и неделовые свидания, происходили ежевечерние встречи артистов, поэтов, художников; здесь спорили об искусстве, обменивались мнениями и новостями; здесь возникал молодой, загадочный, быстрый, как будто сошедший со слегка подновленной фрески художник Ладо Гудиашвили, в античных сандалиях, в белых брюках, в шелковой рубашке с расстегнутым воротом, легкий и резкий в движениях — великолепный танцор... Здесь Тициан, окруженный друзьями, грузно стоял в тени деревьев, против оперного театра, или сидел на ступеньках картинной галереи: всем своим видом — поэт!

<«У него огромные светлые глаза, умные, добрые, и дышащие добротой губы. Ровно подстриженная челка на лбу и фигура, элегантная в своей тучности, которую свободно драпирует белая блуза, — придают ему сходство с римлянином. И в то же время он — грузин в высшем выражении его интеллигентности и артистизма, — это Иракий Андроников рисует портрет поэта. — Он пылок в разговоре и медлителен

в ритме больших шагов, и ходит вразвалку. Он полон внимания и в то же время задумчив. Даже мечтателен. Рука с папиросой между длинными нежными пальцами изогнута в той великолепной свободе, какая бывает только у спящего. Веки прикрывают глаза медленно, а речь быстра, даже тороплива, пожалуй... И заразительный смех — чистый, веселый, нечаянный, с придыханием заядлого курильщика...

Он всегда с людьми и на людях. Всегда одержимый пафосом дружбы, нежным вниманием к другим, потрясающей добротой, душевной щедростью — вниманием, не стоящим ему никаких усилий!

Какое интересное было время! Люди какие! И Тициан среди них, не похожий ни на кого в оригинальном своем облике, которое так же органически стало выражением его духа, как его имя, как стихи...»

Стихи он читал охотно, и свои, и чужие: Блока, Тютчева, Анненского.>

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где ВЫ и где МЫ,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета...

Иннокентий Анненский, Тютчев, Блок...

Тициан очень любил читать блоковских «Скифов».

Читая стихи по-русски, он странновато растягивал слоги, — терялся привычный ритм, стих звучал по-своему выразительно, бездонно и чуть глуховато, с придыханием — удивительно лично.

«Каждого вновь прибывшего к нам поэтического гостя первыми встречали, как правило, Паоло Яшвили и Тициан Табидзе, — вспоминает Георгий Леонидзе. — Паоло был гостеприимным хозяином, Тициан — подлинным Авраамом любого пиршества поэтов... Он в этом отношении продолжал традицию прославленного поэта, друга и тестя Грибоедова — Александра Чавчавадзе, и знаменательно, что он по воле случая жил именно там, где когда-то стоял дом Александра Чавчавадзе» (летом 1921 года они переселились в освободившуюся квартиру родственников Нины Александровны на Грибоедовской, 18).



Дом Тициана стал местом традиционных поэтических встреч, и никто из приезжавших в Тбилиси русских поэтов не миновал его. Здесь умели «отнестись» к человеку, приветить, увлечь искренним разговором, вовлечь в общий спор, накормить. Друзья Тициана едва ли не каждый день собирались в его просторной столовой, за большим овальным столом, и никто не чувствовал себя здесь лишним или забытым. А давно ли самого Тициана не заставить было обедать дома? — всё норовил уйти в облюбованный им и его кутаисскими друзьями духан, где кормили по-имеретински, — всякая другая еда Тициану всю жизнь казалась безвкусной; из духана он приносил домой мчади — кукурузные маленькие лепешки, завернутые в розовую бумагу. Дома не сразу приноровились к его западно-грузинскому вкусу. Все же приноровились. Тогда и друзья перекочевали к нему. За столом читали стихи, спорили о стихах.

«6 сентября 1924 года, после десятидневного пребывания, из Тбилиси уехал Владимир Маяковский, а 9 сентября на проспекте Руставели появился Сергей Есенин, — вспоминает Симон Чиковани. — Маяковский своей внушительной внешностью и громким басом сразу привлекал внимание прохожих, а внешне более обыкновенный Есенин почти не выделялся на улице из толпы. Но при близком общении он сразу раскрывался как обаятельный и чрезвычайно привлекательный человек. С его ясным и по-настоящему красивым лицом, с его светло-голубыми глазами и пшеничного цвета, разделенными пробором кудрями очень гармонировал серый костюм. По проспекту он шел легкой походкой, во всей его внешности сквозила благородная простота... В нем не было ничего вызывающего, и меньше всего он был похож на скандалиста. Спокойно шел он по тбилисским улицам и пристально вглядывался в незнакомый город. С первого же дня он крепко подружился с голуборожцами, с ними и проводил главным образом свое время».

В статье «С. Есенин в Грузии», напечатанной в газете «Заря Востока» вскоре после смерти Есенина, Тициан вспоминает:

«В первый же день по приезде в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхаидзе свое “Возвращение на родину”. И стихи, и интонации голоса сразу же показали нам, что поэт — в творческом угаре, что в нем течет чистая кровь поэта...»

Поэтические вечера Есенина в Тифлисе проходили с необычайным успехом.

Тициан Табидзе писал:

«В этот период С. Есенин сознательно стремился порвать со старым образом жизни. Видно было, что кабацкая богема ему до боли надоела, но он еще не находил сил вырваться из ее оков... Здесь нет возможнос-

ти описать все встречи с поэтом: много в них интимного, многое лишено широкого общественного интереса, многого просто не уместить, но есть и много важного для советской общественности: я имею в виду взаимоотношения русских и грузинских поэтов. У меня со стенографической точностью воспроизведены для подготовляемой о С. Есенине книги беседы на эту тему на банкете, устроенном в честь поэта...»

Скупые строки газетной заметки не вместили ни дружеского чувства, ни подробностей многочисленных встреч, ни разговоров; это — главное в их отношениях — казалось тогда неважным, лишенным «общественного интереса».

На Кавказ Есенин приехал наследником поэтических русских традиций, и предшественниками его были Пушкин, Лермонтов, Грибоедов; и Есенин об этом говорил, не смущаясь, — он себя ставил в этом ряду, обращаясь к «седому Кавказу»:

...А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины.

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелил гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон шагов
И видеть гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой...

Кавказ — последнее прибежище его смятенной, израненной души — предельное откровение...

Маяковский глушил в себе непрошенную тоску, для которой нет, не должно быть места в новом, социалистическом искусстве, которому дела нет до каких-то там чувств, личных и мелких, лишенных общественного, социального смысла, не содействующих прогрессу и не зовущих вперед — в будущее. Есенин видел в Маяковском внешнюю браваду, издевался над поспешной готовностью большого поэта служить само-малейшей злобе дня: пусть хоть рекламе, лозунгу, газетному призыву; не понимал искренности его душевного порыва. В том же стихотворении «На Кавказе» Есенин писал с незаслуженной, злой издевкой:



«Мне мил стихов российских жар — есть Маяковский, есть и кроме, но он, их главный штабс-маляр, поет о пробках в Моссельпроме...».

Маяковский был к Есенину снисходительнее, добрее: живого щадил.

В Тифлисе Есенин себя чувствовал легко и тепло — как дома. Оставливал прохожих на улице — порасспросить о жизни, спускался в шумные подвальчики, готовый к нежданной дружбе и к неожиданной потасовке. «Смотри, Сергей, Христофора Марло убили в кабацкой драке», — полушутя предупреждали его друзья.

«...Вечером я шла домой, — вспоминает жена Тициана. — Проходя мимо пивной, которая находилась тогда в подвальном этаже дома на теперешней площади Руставели, я вдруг услышала знакомый голос. Среди людского шума, исходящего из подвала, я узнала голос Есенина. Я догадалась, в чем дело, и быстро сбежала вниз по лестнице. Вижу: весь растрепанный, весь в поту, Есенин с кем-то ссорится и лезет в драку, уже, видно, ничего не понимая... И он, и все другие были пьяны. Схватив Есенина за руку, я быстро сказала: "Идем со мной, Сережа!", — Есенин растерялся и позволил мне увести себя...» Она привела его к себе домой и уложила спать в комнате Тициана.

Назавтра, солнечным утром, трехлетняя дочка Тициана, выйдя в столовую и увидев золотоволосого Есенина, радостно воскликнула: «Окрос пули!» (Золотая монета). В доме Тициана за Есениным осталось это прозвище.

«Есенин подружился не только с Нитой, но и с моей мамой, — вспоминает Нина Александровна. — Как-то я заметила, что он с мамой о чем-то шепчется. Это он говорил ей:

— Мама, вы очень вкусно угощаете, а вот русский красный борщ с кашей вы не умеете делать?

Мама засмеялась и сказала, что это не мудрено приготовить, — завтра к обеду будет его любимое кушанье. Узнав про этот разговор, Тициан сейчас же объявил, что приведет к обеду своих друзей-поэтов... Пришли Георгий Леонидзе, Сандро Шаншиашвили, Валериан Гаприндашвили, Шалва Апхаидзе, Николай Мицишвили, Серго Клдиашвили, Лели Джапаридзе, остальных не помню. Появился Паоло. Посмотрел на развеселившегося Есенина и хитро улыбнулся. Я поняла: сейчас Паоло что-то натворит. И правда, он повернулся к Есенину и сказал:

— Знаешь, Сережа, я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тбилиси Айседора Дункан, я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она сюда скоро придет!

Трудно описать, что произошло с Есениным, когда он услышал эти слова. Он побледнел. Он не мог произнести ни слова. Он стоял с минутой — как ошалелый, потом вбежал в свою комнату и стал торопливо складывать вещи в чемодан... Паоло и Тициан едва догнали его на ули-

це. Паоло клялся, что он пошутил, что никакой Айседоры Дункан и в глаза не видел...»

Паоло любил разыгрывать — устраивать представление.

Тициан читал Есенину по-грузински поэмы Важа Пшавела и тут же переводил. Есенин не мог не почувствовать душевного родства с этим замечательным поэтом, о котором слышал впервые и который так «посенински» понимал и любил природу, животных, всякую тварь земную. У Есенина тут же возникло желание перевести Важа Пшавела на русский язык — он клялся, что, вернувшись в Москву, тотчас же этим займется. Осуществить это намерение Есенину не удалось.

Для Тициана Есенин был прежде всего очень русским, очень национальным поэтом: в нем жило обостренное чувство родины.

Тициана с каждым годом острее и глубже занимала проблема национальных традиций, поэтических и общекультурных. В то же время он понимал, что никакое искусство не развивается изолированно, в пределах одной страны.

Тициан Табидзе, поэт самобытный, внутренне независимый, в каждой встрече с большим искусством умел находить «свое».

Встреча с Есениным тоже была плодотворна.

Тонко и точно чувствовал Тициан соответствия — внутреннее родство в искусстве разных народов: не случайно читал он Есенину стихи любимейшего Важа Пшавела, — в этом было желание пробудить в душе русского поэта ответный отклик на искусство Грузии, найдя в них точки соприкосновения.

Поэтичность Есенина, истинный демократизм его поэзии, ее психологическая раскованность, предельная откровенность и органическая свобода выражения самых естественных и простых человеческих чувств, — это все Тициана пленило и, конечно же, не прошло для него бесследно, хотя он сам был поэтом иного склада.

В стихах Тициана Табидзе преобладал интеллект, та творческая индивидуальность, которая есть выражение неповторимой, в своем роде единственной личности. Тициану был родственнее не похожий на него Маяковский.

Нина Александровна Табидзе вспоминает, что стихотворение «Поэтам Грузии» Есенин впервые прочитал у них дома, — прибежал поздно вечером, сильно волнуясь:

...Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.



Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я нынче вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и разговорах...

Есенина в Грузии тоже полюбили — за «искренний русский стих, силу и высоту его звонкого голоса и чистого таланта, цельность его личности, проявленную в гармоничности его уникального дара», — как писал сорок лет спустя Леонидзе.

С Есениным договаривались о новых встречах: он мечтал об охоте на кабанов в Саингило, хотел отдохнуть в Боржоме (Тициан в те годы снимал там дачу на лето).

Сохранилось единственное письмо Есенина Тициану Табидзе:

«Милый друг Тициан! Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей и вспоминаю и рассказываю им о Тифлисе. Похождения наши здесь уже известны, вплоть до того, как мы варили кепи Паоло в хаши. Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и в Питере, — тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собираются Качалов, Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше. Уложите его в доску. Парень он очень хороший и стоит гостеприимства. Спроси Паоло, какое мне нужно купить ружье по кабанам. Пусть напишет номер. Передай привет моим добрым друзьям — Паоло, Леонидзе и Гаприндашвили. Поцелуй руку твоей жене и дочке и, если не трудно, черкни пару слов...» (20 марта 1925 года).

...декабрь 1925 года.

Тициан проходил по проспекту Руставели, под окнами редакции газеты «Заря Востока». Ему крикнули из окна:

— Тициан! Тициан!.. Сергей Есенин в Ленинграде повесился.
Тициан вернулся домой убитый, ошеломленный.

Стихотворение Тициана Табидзе «Сергею Есенину» — отклик на смерть поэта:

Был необъезженным, как жеребенок,
Как Чагатар, в крови был весь.
Я очень жалею, что в мир погребенных
Сопровождает тебя моя песнь.

Шла за тобою тоска степная,
Шла — к ущелью Дарьяла пришла.
Душу встретит душа живая,
Слезы хлынут, — нет им числа.

Разве в спасение сердца не верил?
Разве о жизни не думал всегда?
Кто нас утешит в этой потере?!
Кто же нам смочит краску стыда?!

Стихи твои — рваная рана, горенье,
Боль, воспаленной души непокой.
Самоубийство — увы! — не спасенье,
Кровь приобщается крови другой...

Перевод Л. Озерова

На смерть Есенина было написано очень много стихов. В большей части их осуждалось самоубийство (и Маяковский в «Письме Сергею Есенину» искал слова, чтобы посылнее, покрепче сказать: легче уйти из жизни, чем переделать жизни!). Иные пытались понять, почему он — Есенин — так поступил с собой? Громили богему, требовали к поэтам внимания общественности, сожалели, что Есенину своевременно не были преподаны азы политграмоты (издеваясь над этими грамотеями, Маяковский писал: «А по-моему, осуществись такая бредь, на себя б вы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки!»).

Тициан Табидзе не осуждал Есенина и не искал виноватых. Его самого мучило чувство вины и жалости.

Есенин потерял себя в этом мире, — чувствовал Тициан: вырвался из всех своих человеческих связей — «необъезженный жеребенок»! Тоска степей гнала его и привела к Дарьялу — загнала в ущелье...

А всего-то заботы, чтобы живая душа встретила душу живую.

«Ты разве один оставался живым? Почему не поверил в спасение? Кто сосчитает капли наших слез и тот стыд, что коснулся сердца?.. Нет



спасения в самоубийстве (нет свободы). Только кровь приобщается крови...»

Где то смешное утро, которое так запомнилось всем?

Пьяный Паоло варил на рассвете
Кепку свою в прокопченном котле...
Мороза стегали нас хлесткие плети
И вестью о смерти клонило к земле.

Ночью мы были у Чопурашвили:
Вспомнив тебя, надрывался оргán.
Брату не скажешь о горестной были,
О горечи незарубцованных ран...

В Грузии «оргánом» называют и обыкновенную шарманку; здесь речь идет о шарманке, конечно («о тебе плача, сломалась шарманка»).

Тициан чувствует не вину даже — свою сопричастность есенинской жестокой судьбе, свое тайное с ним родство: «Монгольская кровь кипит в нас обоих» — что-то древнее, как монгольское иго, из веков перешедшее в души поэтов. «Убили душу, а потом тело... прикончили стервятники... Так Амирану было тяжело, когда ему, как нам, изломали ребра... Мы все причастимся яду — ты первый сказал “алаверды”» (традиционное на грузинском пиру приглашение — выпить). Стихи Тициана Табидзе на смерть Есенина звучали как клятва верности поэтическому братству, общей своей судьбе:

Если в преддверьи иного света
Головы наши от нас отлетят,
Пусть узнают: среди поэтов
Был нам Есенин и друг, и брат.

За эти стихи Тициану Табидзе потом доставалось от критики. Он же сам был уверен, что в стихотворении все сказалось, как надо.

Редкий случай: Тициан чуть ли не в тот же день отдал эти стихи напечатать. Обычно Тициан никогда не печатал свои произведения сразу. Иногда проходили годы, прежде чем они попадали в печать. Была у Тициана привычка — написанные стихи класть между листами какой-нибудь книги и забывать об этом надолго. Потом, когда-нибудь, эти стихи неожиданно обнаруживались: случалось, что, наткнувшись на старый свой стих, Тициан его поправлял и отдавал напечатать, а иногда снова прятал. Иное из написанного Тицианом было найдено лишь спустя многие годы, после смерти его, в каких-то забытых книгах.

Сколько его книг растащили!..

В августе 1924 года, чуть раньше Есенина, приехал в Тифлис Маяковский. Август был неспокойный. Только что был подавлен меньшевистский мятеж. Ночных прохожих останавливали на улице патрули.

«Тбилисцы были на даче, — вспоминает Тициан. — В тот год мы с Маяковским не встретились, но мне передавали, что он расспрашивал о состоянии поэтического фронта в Грузии. Я слышал также, что он читал переводы своих стихов на грузинский язык, сделанные Паоло Яшвили, и интересовался постановкой “Мистерии-буфф”, которую я перевел для Котэ Марджанишвили. Великий грузинский режиссер намеревался поставить ее на фуникулере, под открытым небом, наподобие античных зрелищ. Маяковскому очень понравился замысел Марджанишвили, который, к сожалению, остался неосуществленным».

Смелый замысел. Дерзкий. Поставить «Мистерию-буфф» на вернем плато горы святого Давида, на склоне которой, обращенном к Тифлису, прилепилась старинная церковь и маленькое кладбище (могила Грибоедова — здесь). И чтобы весь город был зрителем. Потом, осознав непреодолимость многих чисто технических трудностей, Марджанишвили решил перенести зрелище к подножью горы; но и это не получилось. В порыве творческого увлечения Марджанишвили был отчаянно нетерпелив. Спектакль должен был прозвучать по-грузински, и вот, перебрав знакомых поэтов, Константин Александрович остановился на Тициане Табидзе. Композитор Тамара Вахвашишвили, принимавшая участие в его постановках, вспоминает, как Марджанишвили стал тут же нетерпеливо звонить Тициану домой, а не застав его дома — во Дворец Искусств, в какой-то ресторан, отыскал его наконец у Паоло Яшвили и незамедлительно потребовал к себе. Тициан прибежал взволнованный:

«— Что случилось, Константин Александрович?

— Сколько времени нужно вам, чтобы перевести эту пьесу? Минимально!.. Говорите минимальный срок!

— Но ведь это же Маяковский, это же не так просто...

— Если бы это было просто, я бы к вам не обратился... Ну, говорите скорей, недели хватит?

— Что вы, Константин Александрович!

— Ну, две, и ни одного дня больше...

Торговались долго, Марджанишвили кричал, поэт чуть не плакал. Наконец договорились: Табидзе сейчас же возьмется за работу и по частям будет сдавать перевод...»

Маяковский приехал в Тифлис. В клетчатых брюках, в сером пиджаке, коротко стриженный, похожий на иностранца, он широко шагал по проспекту Руставели, размахивая чемоданом и заставляя расступаться уличную толпу. Обосновался в гостинице и стал осваивать го-

род: заходил в книжные магазины и в редакции, знакомился с молодыми пролетарскими поэтами и грузинскими лефовцами, приглашал их к себе, угощал вином, водил за собой повсюду, — не они его водили по городу, а он их водил за собой, хозяйским жестом указывая дорогу.

В одной из редакций Симон Чиковани показал ему переводы Паоло Яшвили: Маяковский, удивляя новых друзей, прочитал несколько строк по-грузински, одобрил.

В этот приезд Маяковским написаны были стихи «Владикавказ — Тифлис» и «Тамара и Демон». Терек шумел у него, «как Есенин в участке», царица Тамара казалась не почтеннее прачки, а Демон был приглашен в свидетели небрежным жестом:

Чего кипятитесь,
 как паровоз?
Мы —
 общей лирики лента.
Я знаю давно вас,
 мне
 много про вас
говаривал
 некий Лермонтов.

Тициан отзывался похвально о стихотворении «Владикавказ — Тифлис». Вероятно, не все ему нравилось, но такое не могло не понравиться:

Я знаю:
 глупость — эдемы и рай!
Но если
 пелось про это,
Должно быть,
 Грузию,
 радостный край,
подразумевали поэты.

Не думаю, чтоб Тициана могла всерьез беспокоить бравада Маяковского, его пренебрежительное отношение к «лирике» и поэтическим восторгам по поводу кавказской природы. Тициан сам не любил «экзотики». Он был очень проницательный человек, — он, надо думать, чувствовал душевную напряженность и даже неуверенность в бравате Маяковского, ощущал ее как манеру, защитный жест. Он понимал, конечно, что Маяковский не играет словами, но ищет — в самом себе тоже — новые эмоции, рожденные новой эпохой.

Сопоставляя две поэтические позиции — Маяковского и Есенина («Оду» и «Элегию»), Б. М. Эйхенбаум писал в начале 30-х годов: «вопрос шел уже не о жанре, а о самом понятии лирики и лирического “я” поэта: Маяковский ввел в поэзию нового героя, до него не существовавшего; его лирическое “я” — грандиозно, но не романтической грандиозностью, при которой высокое “я” противостоит низкому миру действительности, а иной грандиозностью, вмещающей в себя весь этот мир и ответственной за него».

«Ответственность за мир» — вот что главное в поэтической позиции Маяковского, который первым ввел в поэзию необычную тему «долга» перед «вселенной».

Табидзе напишет (уже в тридцатые годы) стихотворение, посвященное Маяковскому: «Багдадские небеса». «Долг у нас общий», — скажет он, вспомнив признание Маяковского. Тициан Табидзе безусловно осознавал грандиозность предпринятой Маяковским попытки: единым разом поставить искусство на новые рельсы — на службу социализму. Для Тициана это — еще одно воплощение «поэтического подвига» (в своей автобиографии он поставит имя Маяковского рядом с именем Блока). И все же отношение Тициана Табидзе к Маяковскому было, видимо, сложным, особенно в начале 20-х годов. Тициан резко отрицательно относился к Лефу. И хоть он не был поклонником романтической шелухи, едва ли мог он так просто, единым духом, покончить с «прошлым» и плевать в Терек с берега; не думаю, чтобы это нравилось Тициану у Маяковского. Иное дело — гимн социалистическому строительству, индустриальному будущему Грузии, о котором они когда-то мечтали с вернувшимся из Парижа Паоло:

Я чту
 поэтов грузинских дар,
но ближе
 всех песен в мире,
мне ближе
 всех
 и журн
 и гитар —
лебедок
 и кранов шаири.
Строй
 во всю трудовую прыть,
для стройки
 не жаль ломаний!



Если
даже
Казбек помешает, —
срыты!

Все равно
не видеть
в тумане.

Строчки насчет Казбека тогда еще не могли вызвать ничего, кроме улыбки: в них не чувствовалось реальной угрозы, но как перепугался Тициан, когда в тридцатые годы кому-то пришлось в голову срыть Метехи, — здесь он был готов стоять насмерть; слава богу, решение отменили.

Ненужной жестокостью должно было казаться Тициану желание Маяковского потеснить в поэзии лирику, заменить ее политическим лозунгом, литературно обработанным «фактом», бог знает чем еще. И все же он никогда не считал Маяковского литературным противником. Крутая манера поведения и вызывающая боевитость Маяковского впоследствии создавали атмосферу некоторой официальности в их отношениях, в них не было теплоты; и незримую эту преграду им едва только удалось преодолеть в последние годы жизни Маяковского: редкие, случайные встречи в Москве, как ни странно, больше способствовали сближению, чем первые встречи в Тифлисе.

В Тифлисе Маяковский как будто все время играл добровольно им принятую на себя роль; в его поведении не было той простоты, естественности, какая пленила в Есенине.

Маяковский приехал в Тифлис еще раз после своего американского вояжа в феврале 1926 года. Приехал с лекцией и стихами. Его первый вечер в театре имени Руставели собрал немного народу. «Сгрудьтесь!» — начал он привычное общение с залом. Читал стихи об Америке. На другой день появилась заметка в газете: дескать, такие стихи можно писать, и не выезжая из Москвы. Второй вечер Маяковский начал с ответа своему рецензенту: жестоко его высмеял — обещал высечь так, что сквозь брюки будет просвечивать! Это понравилось публике — ему весело аплодировали.

Перед началом второго выступления Маяковский зашел ненадолго домой к Тициану Табидзе. Разговор был общий: о литературе.

В тот вечер голуборожцы пришли в театр. В директорской ложе сидели торжественно Тициан Табидзе и Паоло Яшвили с женами, Валериан Гаприндашвили, Георгий Леонидзе. После того как Маяковский разделался с рецензентом, вышел на сцену Паоло Яшвили и от лица всех присутствующих в театре объявил, что мнение рецензента — все-

Тициан, волнуясь, восхищался стихотворением «Домой!» — он говорил, что это даже лучше американских шедевров: стихи несравнены! В этих стихах Маяковский тогда еще не вычеркнул строчки:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят, —
 что ж,
по родной стране
 пройду стороной,
как проходит
 косой дождь.

Тициану тогда эти строчки, по ряду причин, должны были казаться особенно значимыми. Потом Маяковский вырвал из стихотворения эти «подмоченные перышки».

Валериан Гаприндашвили произнес тост в честь гостя. Он сказал, что Маяковский — большой художник слова и что поистине удивления достоин его несравненный поэтический диапазон. Валериан вспомнил «Облако в штанах» и сказал, что грандиозные образы этой поэмы напоминают ему свою мощью Бодлера...

Маяковский прервал Валериана Гаприндашвили:

— Товарищи! Да что вы ухватились за этих французов?! Да неужели мы не сможем обойтись без декадентов? Да одно народное грузинское стихотворение доставило бы мне больше, в тысячу раз больше удовольствия!

Валериан обиделся и замолчал, но долго молчать за столом было невежливо по отношению к гостю, и он заставил себя присоединиться к общему разговору о грузинском фольклоре. Все были очень удивлены пристрастием Маяковского к народной грузинской поэзии, а Маяковский уже в который раз с упоением повторял веселые грузинские вирши: строчки из песни об Арсене Джорджиашвили — народном герое, который бросил бомбу в губернатора. Маяковский был весел, шутил, старался всех расшевелить, а когда обед подошел к концу и все уже хотели расходиться, предложил продолжить пир за городом, в Ортачала.

Некогда знаменитые сады Ортачала — остров на Куре; теперь он в черте города, то есть там никаких садов уже нет, а на острове возвышается белое здание электростанции (бездействующей; действующая — выше по Куре недалеко от Мцхети).

Было поздно, погода хмурилась, никому не хотелось ехать. Вышли на улицу. Переминались, не решаясь разойтись. Маяковский подозвал извозчика, взял под руку жену Тициана, которая, кажется, всех острее чувствовала неловкость, посадил ее рядом с собой и велел извозчику ехать в Ортачала. Тогда и все взяли фэтоны — поехали следом. В Ор-



тачала снова накрыли стол. Маяковский читал, как всегда, когда бывал в настроении, «Хорошее отношение к лошадям» и отрывки из поэмы «Про это».

Разговор о поэзии оживился, когда кто-то упомянул имя Есенина. Маяковского часто спрашивали об этом, и на вечере в театре тоже спрашивали: «Какого мнения вы о покойном Есенине?». Маяковский отшучивался: «Вообще к покойникам отношусь с предубеждением!». В разговоре за столом он про Есенина говорил спокойно, снисходительно: хвалил его лиризм и чувство природы.

Под окном надрывалась, хрипела шарманка...

Маяковский уже перевел разговор на другие рельсы: заговорил о детстве, стал вспоминать Кутаис, классическую гимназию, Багдади — деревню, в которой вырос. Уже было довольно поздно, и все устали. Чтобы согреться, Маяковский и Леонидзе попробовали бороться — оба рослые, крепкие, — но и это уже никого не развеселило.

Тициана расстроил разговор про Есенина: вспомнил его живым, встрепанным, возбужденным. Как Есенин взволнованно клялся, что начинает новую жизнь. И какую новую силу, какой душевный порыв он ощутил в себе, когда жил в Тифлисе. Как собирался написать о Грузии цикл стихов. Почти накануне самоубийства. Вспомнилось, как ночь напролет кутили с Есениным здесь, в Ортачала, в духане Чопурашвили. На рассвете, как положено, поехали есть хаши, — Есенин еще ни разу не пробовал хаши, — они зашли в лавчонку возле базара: было рано — хаши не был еще готов; Паоло сильно нервничал по этому поводу и бросил в кипящий котел новую кепку Валериана. Стало смешно до слез...

Умолкла под балконом шарманка. Близилось утро. Паоло перехватил на дороге заспанного извозчика, усадил в фэзтон женщин и Тициана — умчал. Остальные еще балагурили, но вдали засветились вершины гор. Неожиданно закапал дождик. Они пошли в город по намокшей дороге. Стало совсем светло. Добрели до трамвая. Влезли в пустой вагон. Задремали под адский грохот...

Утром, приехав из Ортачала, Тициан спать не лег, а вдруг сел писать стихи: закончил единым духом большое стихотворение, которое давно его мучило: «Сергею Есенину»...

А назавтра был торжественный обед у Паоло дома.

У Тициана вечером пили чай.

Маяковский пришел к Тициану с книжкой «Солнце в гостях у Маяковского», изданной Давидом Бурлюком в Нью-Йорке, и всем роздал по одному экземпляру. «Замечательнейшим друзьям Табидзе. Самому. Вл. Маяковский». И еще: «Самой Макаевой (Табидзихе). Вл. Маяковский».

...Ошеломляющим было известие о смерти Маяковского.

— Маяковский застрелился!

Тициан был тогда по каким-то делам в Сухуми. Узнав эту новость, он дал телеграмму жене: «Володи нет, не ручаюсь за себя». Испуганная, она прибежала к Паоло Яшвили, — он ей посоветовал немедленно ехать в Сухуми. При встрече Тициан сказал:

— Невозможно себе представить... Такой дуб свалился...

В тот же вечер он, вспомнив про Есенина, написал письмо его вдове — в Москву. Сохранился только ее ответ (от 25 апреля 1930 года): «Дорогой Тициан, очень рада вести от Вас. Приезжайте в Москву непременно, приходите ко мне, пожалуйста. Хочется повидать Вас и поговорить о многом. Спасибо, что Вы думали обо мне, когда узнали о смерти Маяковского. Мне было ужасно грустно, до сих пор не могу встряхнуться и хожу вся кислая и думаю мрачные вещи. Слишком многое соединилось в этом. Очень сердечно кланяюсь Вам и Нине Александровне. С. Есенина».

Приезжая в Москву, Тициан заходил обычно, вместе с женой, к матери и сестрам Владимира Маяковского. Они оживлялись, вспоминали разные случаи из жизни Володи. Вспоминали Грузию, Багдади. Сестра Маяковского Ольга рассказывала о том, что в их доме настолько укоренились народные грузинские обычаи, что и Володю она оплакивала так же, как плачут по умершим в западногрузинской деревне. Под впечатлением этих разговоров Тициан создал два стихотворения: «Багдадские небеса» и «Мать и сестры Владимира Маяковского».

Стихи — о поэтическом братстве:

Плачет женщина, тихо сгорбясь,
Матерью став для всех поэтов.
Братья, поддержим бедную в скорби, —
Нас и самих возвышает это...

Он не остался в долгу перед веком,
Каждым шагом и каждым жестом
Дрался за то, чтоб быть человеком,
Званье поэта пронес над веком.

Перевод П. Антокольского

Стихотворение было написано в поезде, по пути из Москвы домой, 2 апреля 1937 года, в день рождения Тициана Табидзе. Это был его последний апрель. Идею поэтического братства Тициан сохранял в душе до последней минуты.

Как это обычно бывало, первым с Андреем Белым познакомился Паоло Яшвили (далее, как правило, дружеские отношения поддерживались заботами Тициана).

Первую встречу подробно и выразительно описывает сам Андрей Белый в книге «Ветер с Кавказа»:

«— Поэт к Вам приехал!

Со страхом я высунул нос на веранду, чтоб видеть того бледнолицего юношу с вдавленной грудью, с покатым плечом, с лихорадочным блеском робеюще-дерзких зрачков и с толстейшею палкою свертка (им — бить меня); мне ж навстречу с улыбкой поднялся высокий, спокойного вида, с лицом загорелым брюнет, с умным острым лицом, в черной шляпе с полями, с усами подстриженными; без свертка толстейшего; с тихим достоинством, неторопливо и сдержанно он подошел; и, немного конфузясь, представился мне:

— Я — Яшвили, — простите Борис Николаевич, может быть, я помешал вам, но я — на минуту: просили меня устроители лекций вот это письмо передать вам. — И ласково он улыбнулся: конечно, узнал его сразу; сказало мне имя: один из крупнейших художников слова, краса поэтической Грузии, старейший среди братьев культурной семьи, о которой не раз слышал прежде: и от Городецкого, и от Есенина.

Я протянул ему руки:

— Сердечно рад вам: откровенно простите...

Тут, кажется, чистосердечно признался Паоло Яшвили о страхах, меня обуявших при слове “поэт”...

Большой человек, с кругозором широким, с отточенной мыслью, с культурою чувств, сквозь которую видится крепкая сталь отечаненной выдержки, — с первого слова Паоло Яшвили мне стал и понятен и близок; казалось, года мы общались; он знал ведь по книгам меня; я узнал его сразу.

— Я только проездом в местах этих: дачу ишу в Кобулетах себе; поэтому и решил к вам заехать...

Очень уютно с Паоло Яшвили покуривал, мы вспоминали знакомых; он с добродушною, тонкой улыбкою мне рисовал устремленья и быт поэтической Грузии; и мы говорили о том, что в Тифлисе мы ближе узнаем друг друга. Яшвили обедал у нас, день провел; атмосфера, которою он окружил нас, теплилась, когда он уехал...»

...Он появился в Тифлисе: необыкновенные — сияющие голубые глаза, какая-то странная накидка и летящая, танцующая походка, и даже манера говорить — все необычное; вспоминая Андрея Белого, с ним связывают эпизоды фантастического и даже мистического свойства.

Рассказывают, например, как однажды в доме у Тициана, за большим овальным столом, в кругу друзей, Андрей Белый произносил какую-то речь, все время повторяя в экстазе: «Со временем солнце может погаснуть, оно перестанет светить, но в нас самих сохранится солнце, и свет не исчезнет! Свет и тепло будем излучать мы сами...» — в это время дом вздрогнул и покачнулся, и никто бы этого не заметил, если бы не удары краем стола по ногам: все стояли давно, поднятые необычайной речью, и только сам оратор, ничего не видя и не чувствуя, продолжал: «Солнце исчезнет, но в нас самих будет свет и тепло!» — в это время толчок повторился, и снова все вздрогнуло, и Паоло воскликнул: «Хватит! Борис Николаевич, мы хотим жить, — перестаньте говорить о солнце, пока все это не рухнуло!..» — и никто не смеялся.

В тот день землетрясения не было: в городе где-то взрывались пороховые склады.

Андрей Белый в Грузии вел дневник, отрывки из него он потом включил в свою книгу.

«29 июня. Провел этот день с утра до ночи с близкими братьями по устремлению культуры искусств: с Тицианом Табидзе и с бронзовотвердым и все же сердечным Паоло Яшвили; он — бронзовый, вылитый из размышления, ставшего сердцем; Табидзе — сердечный вулкан, бьющий пламенем в мысль, отчего расширяется сердце, — и вещи, мудрые мысли выкрикивает, ретушированные Яшвили, которого острый рассудок утонченно преобразует вулканы Табидзе в породы изваянных скал, в барельефы культуры: пыл первого голову рвет, расширяется, приобретает космический смысл, отчего стало б холодно, если б Паоло Яшвили потоки, взметенные к небу, сознанием не осадил в атмосферу земную, в которой вулкан вещей слов из беседы застольной и тостов Табидзе становится очеловеченным и оконеченным.

День проведя с тем и этим, мы поняли, что — двуединство они; оба — лидеры кружка поэтов; Паоло Яшвили есть “лидер”, дающий чеканную форму стремлениям; он связывает их конкретно с советской действительностью; без него, может быть, тот кружок захлебнулся б в волне романтизма; и здесь вспоминаю невольню я Брюсова; тем, чем был Брюсов для нас, молодежи, в начале столетия, в первые годы его, — тем Яшвили мне видится для поэтической Грузии, — с тем, разумеется, ярким различием, что годы не те... Яшвили — Язон аргонавтов двадцатого века, поэтов Колхиды... Вся проблема культуры Яшвили, мудрейшая и революционно-ответственная, дышит жизнью от взрывов сердечности, влитой в него рядом с ним возникающим, мудро кипящим Табидзе...

Вот Табидзе: с глазами огромными, широкоотельй, сутулый, немного нелепый, как будто протянутый в край горизонта, — всё рвется вперед и не видит меня и товарища, нам подставляя плечо и оплескивая развеваемой в ветре своей широчайшей рубашкою; это — иллюзия: видит — т а к о е в тебе, что руками разводишь: “ведь вот: ты годами с писателями говоришь и работаешь; им — невдомек, что живет в тебе; этот грузин, проведя с тобой день — разглядел, угадал”. С удивлением разглядываешь ты сутулую спину Табидзе, влекомую полным лицом, убегающим за убегающей думой; бежит к горизонту — не видит, не чувствует; и на тебя — нуль внимания (всё — видит, всё — чувствует).

Это внимание выявленное — есть Паоло Яшвили. Его очень добрые, строгие очи, всегда чуть-чуть грустные, — видят: сворот, кто устал, сколько времени, можно ли здесь задержаться, куда надо двигаться; и отмечает Яшвили — всё это; всё — ставит на место; ему горизонт как бы чужд (а Табидзе всегда к горизонту несется), но чужд потому, что — идет с горизонта; и знает его; может быть, еще лучше, чем пылкий Табидзе: сама рассудительность, четкость, корректность, он в целом какой-то сквозной транспарант широчайших прогнозов, орлиных, свершаемых — там, в одиночестве; истый грузин — с головы до ног европеец он; оригинально Европа подковывает металлический звон его строчек, в которых прекрасны — с о г л а с н ы е; эти согласные напоминают породы грузинских холмов, по его выраженью — “чугунных”. Он видится — бронзовоогненным.

А у Табидзе в стихах поражают воздушно-звучащие, широко-вольные г л а с н ы е волны: кричит он — на гласных; не зёмли, а вóздухи рвутся, когда декламирует он — сибиллическим голосом: сущий “восток”, но прекрасный “восток”, у которого надо учиться. Воздушный Табидзе: громами гремит, изливается ливнями...»

В своей живописной и острой, преувеличенной, на грани гротеска, манере, подчеркнуто-динамично изображает А. Белый дни, прожитые в Тифлисе: поездки по городу, знакомство с достопримечательностями, с людьми, нескончаемые застолья.

Один из дней: тот самый — 29 июня 1927 года.

«Ровно в 12 часов появились в гостинице Яшвили с Табидзе — за ним; за окном фырч быстрой машины, громкий звонок: “такси”, предоставленное гостеприимным Союзом грузинских писателей.

Начинается фантазмагория — бег по музеям:

— Стой!

— Что это?

— Это музей нашей фауны... Оценки из жизни природы, макеты, чучела птиц и зверей: вот медведь, залегающий в зарослях барс, а вот — тигр, убитый у Мцхета (забрел из Персии); рысь, кабан, кавказский

олень, зубр, козы и туры, сайгак, джейран, гиены, шакалы, барсук, лесные коты...

— Что за диво? — Кавказские бабочки с горных пастбищ — стоять бы часами...

— Нет, Борис Николаевич, мы не поспеем: программа большая, — глядя на часы, отрезвляет Яшвили: пора!

— Очень жаль!

Фырч машины — поехали; зигзаг рикошетов в ущельях узеньких улиц и снова: стой — это музей! Живопись. Здесь бы стоять часами, думать о персидской живописи, о древней грузинской и о новейшей (новая — не интересна); новейшая — Гудиашвили...

— Нам, Борис Николаевич, пора.

— Миниатюры персидские как же? Говорят, они — чудо?

— Но мы не успеем. Миниатюры — после...

Поехали: перестрельнули стремительно.

— Университет!

— Национальный музей — этнографический!

— Надпись шестого столетия!

— Список Евангелия. Тринадцатый век!

— Еще список?

— Это — четырнадцатый.

А вот "Барсова шкура" — древнейшая рукопись!.. Ряды портретов: цари, Руставели...

— Кто эта красивая дама?

— Жена Грибоедова.

Месяцы это бы все разглядывать, изучать.

— Борис Николаевич, нам пора... — Всюду этот Паоло Яшвили.

С мягкой, грустной улыбкой доказывает: это — потом, хоть завтра; сегодня — иная программа...»

Мцхета.

Остатки облупленных фресок (их копии только что посмотрели в музее).

Обед — в Белом духане.

Наверху, на балкончике, сдвинули столики.

...Заливаемся пеной сердечных речей, — вспоминает А. Белый. — Говорят то Табидзе с Яшвили, то я, перекидывая наши мысли застольные, как подаваемый мячик; летают они, легколетны и тихи. Табидзе же — наш председатель — всему дает тон; слово за слово — главка за главкою: повесть проходит — история литературы грузинской, живые портреты уже современных поэтов, с которыми я познакомился только что... Не беседа, а лекция. Дружно сдвигаем бокалы: под звон их встаем.

— Ну, пора!

И летим на Тифлис, просекая его, забирая попутно еще двух поэтов, Колау Надирадзе и Гаприндашвили.

На другой день — поездка в Коджоры.

— Увидите дочку мою, она там, — объясняет Табидзе.

И снова знакомства: жена Паоло Яшвили, жена Тициана Табидзе; с нею «заговорили о бедном Есенине, бывшем в Тифлисе, дружившем с Табидзе; сквозь рой непростительных слабостей ей угадался Есенин-ребенок, себя самого заморозивший, и, вспоминая, его называла она “золотою головкою”...». Али Арсенишвили, «очень умный и тонко настроенный критик-поэт...».

«Достоинство, непроизвольный во всех проявлениях такт», «атмосфера народной культуры» — вот что отмечает А. Белый в застольных беседах: «не только утонченников поэтической школы, я видел грузин настоящих», — пишет он.

«Зачем нет обычая этого в нашей Москве? Почему, собираясь, писатели русские курят, пьют средь галданов беспочвенных? Организацию надо ввести за столом. У грузин она есть, и “пирушка” — не жратва, не пьянство, а дружеское заседание, которым естественно правит преловкий на эти дела председатель; вино — лишь глоток: при речах... А у нас соберутся, и слово становится пустой затычкой меж “водкою” и меж “селедкою”... Братья писатели русские, бросьте, учите сиденью у братьев грузин, где и “жратва” — для вида (какая-то овощь), вино — говоря символически — трезво размешано чистой водою беседы, присев за которую, встать — неудобно; вести разговор сепаратный — вдвойне неудобно (сейчас же прервет председатель); у нас соберутся, воссядут за стол, и — пошло писать: рюмка за рюмкою, спины друг к другу свои повернувши, сосед громогласно соседу кричит, отчего поднимается “ор”, от которого зеркало лопается, — “ор”, крушащий равно все беседы в осколки разбитых бутылок; сих сборищ писательских — пьянственных, жратвенных, урных, порой оз-орных, — не люблю...»

Древнейший обычай грузинской застольной беседы весьма заставляет подтягиваться: коллективное творчество; этот обычай я сделал бы общенародным».

«...дождик покрापывал; молнья зеленая выхватилась из-за черной горбины Давида. Прощаясь, мы говорили о завтрашнем дне; у Яшвили — обедает, а у Табидзе — пьем чай».

«Тифлис, 1 июля. Сегодня — программа: знакомство с грузинскими блюдами — тучный обед у Паоло Яшвили; хозяйева дружно варили грузинские блюда; уютно себя ощущали у добрых друзей; в этот вечер запомнился мне как-то особенно Леонидзе...»

Андрей Белый был в Грузии несколько раз. Поездка 1929 года — не очень удачная, со многими затруднениями, транспортными и другими, описана в письмах к Тициану Табидзе. В то лето ему на Кавказе фатальным образом не везло. Сорвалась интереснейшая поездка в Армению. Белый предполагал посетить Алаверди, Зангезур, Севан, Джульфу — ничего не вышло; не удалось побывать в Кахетии, сорвалась поездка по Военно-Грузинской дороге. Казалось: «Кавказ — заповеден нам», — писал А. Белый, вспоминая летние неудачи. Уже собравшись ехать домой, имея билеты в кармане, он заболел; вместе с женой К. Н. Бугаевой он почти три недели провел в доме у Тициана, обрушив на него бремя «мелких хлопотливостей», как тот выражался, деликатно прибавляя, что для него это — приятное «бремя». Жена Тициана была в это время на море. 20 августа 1929 года, перед отъездом в Москву, А. Белый написал ей письмо, в котором признался: «Нам было бы и стыдно и мучительно быть невольной помехой дому, если бы не Тициан, превративший это наше сидение в радость нового узнавания его как изумительного человека, с которым отныне чувствую себя совсем просто и братски связанным...».

Некоторое время спустя, из подмосковного Кучина, где он жил тогда постоянно, А. Белый писал Тициану, вспоминая летние свои злоключения: «Вы поймите, что не слова одни и не вежливость, не благодарность даже диктует это письмо... а что-то другое, что — прямо скажу — “в ы з в е з д и л о с ь” из души по отношению к Вам».

Это — мысль о характере личных человеческих отношений:

«Я верю человеку вообще (индивидууму), — пишет Тициану А. Белый в том же письме. — И я не верю “личности”, которая “личина” (маска); и знаю: мы — “личности”, — неумело столкнутые, разъединяемся... в итоге общения; а тут я — “огень скептик”, иль я знаю: преодоление *лигности-лигины* в социальном разрезе — труднейшая вещь, в сто раз более трудная, чем полагают. А вот, волею судьбы застряв у Вас два раза и находясь в жалко-беспомощном виде, я вынес в итоге из общения с Вами какое-то пробитие того корсета, который редко пробивают в общении: я увидел Вас без личности-личины: с откинутой личиною. И это значит: *Я Вас увидел*; и итог видения — та спокойная и доверчивая радость, с которой я Вам сообщаю об этом» (письмо от 13 сентября 1929 года).

«Прогулка с Вами на замок разбойника “Кор-Оглы” — единственное воспоминание этого лета, — признается в ответном письме (5 октября 1929 года) Тициан, — без Вас мы никогда бы не увидели, во всяком случае, не почувствовали это озарение, а то, что осталось в нас от этого дня, граничит с Фавором и Преображением. Нам кажется, что

наши горы — дали Вашего вдохновения; они одухотворились, и Вы, как двойник Врубеля, открыли для нас гений очага; когда-то у Сен-Виктора я читал об этом, — это где он говорит о греческих богах, покровительствующих данной местности, и о Кастильи...»

Тициан не очень преувеличивал, описывая впечатления от совместных летних прогулок к крепости Кёр-Оглы: на его возбудимую психику присутствие А. Белого действовало как мощный катализатор, усиливая его душевную реакцию на окружающее: природу, горы, развалины древних строений. Прогулка к крепости Кёр-Оглы была толчком для создания одного из лучших его поэтических творений этого лета — стихотворения «Окроканы»; в нем природа — критерий истинности, мера поэтических достоинств — неодолимый соперник поэтов:

...Если можешь, чтоб грудь не издрогла,
Стереги Марабды гольши.
Висни в небе, как крепость Кёр-Оглы.
Стой века и стихов не пиши.

Чуть толкнуть — ты не тверже тростинки,
А она — точно грома раскат, —
Оттатакала все поединки
И стоит — как столетья назад!

Перевод Б. Пастернака

«За это лето много было у нас неприятностей, особенно у Паоло, и через него и у меня, — пишет А. Белому Тициан, — но все забывается при воспоминании о встрече с Вами...»

В этом же письме он рассказывает «ужасный случай» гибели альпинистов Джапаридзе и Двали в Сванетии при восхождении на Тетнульд: «Первый, С. Джапаридзе, был большой энтузиаст и хотя молодой, но лучший альпинист Грузии; он погиб, спасая скатившегося в пропасть товарища; вопреки всем правилам альпинистов, когда он увидел свалившегося товарища, — начал его удерживать и сам очутился в пропасти; потом знаменитые сванские охотники две недели искали погибших и наконец нашли; подвиги этих охотников полны героическими подробностями».

«Осень в Тифлисе чудная, с Окрокана, где я сейчас живу, почти целый день виден Казбек; мне кажется, я и за Вас восхищаюсь им; по вечерам в Тифлисе стоят осенние туманы; думаю о Вас и вспоминаю Лермонтова (“Свидание”):

Тифлис объят молчанием.
В ущельях мгла и дым...

Для нас Вы открыли прелесть подступающих к Тифлису гор, холмов и ущелий, и ужасно, ужасно жалко, что болезнь помешала Вам летом побыть в Окрокана, хотя не теряю надежду, что в это лето я тут Вас увижу. Признаться, во время болезни я Вас тоже больше узнал, и к моей вере в “человека” прибавилось еще чувство интимного общения и близости; и если я себя в чем упрекаю, то в том, что моя неловкость помешала больше выразить свои чувства к Вам».

Андрей Белый по-своему оценил загородное убежище Тициана — дачу в Окроканах:

«Очень рад, — писал он 3 декабря 1929 года, — что Вы находите уют и сосредоточие в надтифлисских утесах: по опыту знаю, что только тогда человек освобождается, когда он имеет место, куда он может бежать, чтобы из тишины увидеть себя и окружающих. Иные думают, что периодические убеги от людей есть признак антисоциальности; наоборот, для меня в таких убегах — приход к людям, ибо я хочу идти к близким, как на пир: прибранным, чтобы не представлять собой унылого неврастеника, не имеющего что принести для других с своих высот.

Нище говорил о любви к дальнему; я люблю ближнего в его “дальнем”; каждый человек носит в себе это “дальнее”, как проблему бутона, который может стать и цветком, если его поливать тишиной, радушием и сосредоточенностью; тогда душа начинает цвести; и вот это-то цветение хочешь принести и отдать другим. А мы из ложной соцветности липнем друг к другу и в конце концов дарим друг другу лишь пепел да окурки.

И лес — лес только тогда, когда его прочищают, когда стволы отстоят друг от друга на известном расстоянии; тогда весь лес могуче поднимается вверх; а если деревья жмутся стволами слишком друг к другу, — они остаются безлиственными, худосочными. То, что азбучная истина для дерева, почему-то забывается для человека; и думают, что трение друг о друга сухими жердями есть социальность: нет, это — сама антисоциальность; я социален тогда, когда приношу с собой горный эдельвейс и отдаю его в дар; если я его не имею, то я не умею ничем быть полезным другу; тогда даже сухая, не цветущая веселием легкости и не поющая горными голосами помощь есть не помощь, а отнятие от души, ибо мы, опустошенные, всегда *отнимаем*. И я, когда чувствую, что отдал все, что вырастил в тишине и сосредоточенности, то начинаю конфузиться; мне кажется, что мое безрадостное отбытие долга есть утаскивание платка из кармана; и тогда — или бегу от людей, или — гоню их от себя: из социальности, а не из антисоциальности.

Что мы делаем из социального такта? Вся социальность построена на «такте», а такт — выражение ритма...» — Здесь Андрей Белый вступает в родную ему стихию, и далее следуют рассуждения — вплоть до формул — о «технике» человеческих взаимоотношений. Как ни странно звучат эти рассуждения, — в них есть свой заостренный почти до нелепости смысл: «проблема двух», а «там, где трое <...> уже сложнейший контрапункт взаимоотношений», и надо учиться понимать законы этой музыки человеческих отношений: «Если мы не будем развивать уха к законам оттенков отношений так же, как мы развиваем глаз, ухо, слово, — мы — банкроты, и вся наша социальность пойдет прахом!».

«Социальность — искусство более сложное, чем поэзия, музыка, и более важное, а мы в этом важнейшем месте, с этим сложнейшим инструментом производим лишь какофонии, подобные зулусу, бьющему кулаками по клавиатуре, а мы этот “каблучный бой” называем общением...»

Из письма Тициана Табидзе (10 марта 1930 года):

«Получил Ваши книги: “Пепел” и “На рубеже двух столетий”. Большое спасибо, что заставили пережить мою московскую юность. При чтении книг я был в Москве и мысленно переживал свои университетские годы и собственный “пепел” чувств. Очень интересует нас судьба Ваших новых книг. Читали, что будете писать в “Красной нови”... Пошлю книгу “Старый Тифлис”, она нехорошо составлена, но все же в Кучино напомнит о Тифлисе...»

Из письма Андрея Белого (15 апреля 1930 года):

«Дорогой Тициан, спасибо Вам за открытку. Письмо Ваше получил, и получил с благодарностью милую мне память о Тифлисе. Давно собираюсь писать, но попал в мертвую полосу с “Масками Москвы”, когда сидишь с утра до ночи, бьешься, и — ничего не получается; это напоминает воздушные ямы, о которых упоминают пилоты: летишь, толчок, и нужно все напряжение воли, чтобы аэроплан не разбился. Так, Ваше письмо пришло в проклятый рабочий момент, который грозил слову всего романа; я вообще этой зимой теряю голову и иногда так влезая в работу, что на недели, на месяц делаюсь невменяемый. Так вот я и ждал, когда поставлю точку над “Москвой”, чтобы ответить...»

Средь разных грустей искренняя радость: возможность Вас и Н. А. увидеть в начале мая; слушайте: приезжайте, если уж ехать в Москву, то либо в мае, либо серебряной зимой; и надеюсь, не раз увидимся в Кучине. Заранее переживаем с К. Н. уютность кучинского посиды за чаем у нас (забыл — Вы не “чайники”!).

Очень ждем, очень!..»

2 февраля 1931 года:

«Дорогой Борис Николаевич! Получил Ваше письмо и, не прошло дня, я с Паоло послал телеграмму. Хотели написать подробное письмо, но едет Паоло и, должно быть, все выяснит. Хотел я еще раньше написать письмо, но постеснялся; знал, что Вы углубились в работу. Ранней весной Вас обязательно ждем в Грузии — нам бесконечно приятно, что Вас тянет на Кавказ...

Я завидую Паоло, что он второй раз бывает у Вас в Кучино, а я не видел Вас два года: хотелось бы видеть Ваше Кучино, наш вечный меридиан. Ваш голос как будто иногда слышу ночью, два раза видел во сне — в снегу.

Ионов в Тифлисе говорит, что в “Академии” или “ЗИФе” выходит Ваша книга “Начало века” — каждый раз справляюсь в объявлениях газет; и “Москвы” так и не дождался; если у Вас будет лишний корректурный оттиск, пришлите через Паоло.

Я весь в ожидании весны, зима у нас тоже суровая, ждем непременно в Тифлисе, постараемся устроить так, чтобы работалось, хотя Вас, должно быть, работа переутомила...»

Последняя глава этого романа в письмах — драматическое прощание Андрея Белого с кучинским домом, с привычным, но уже непосильным укладом его московского бытия, мечты о переселении на Кавказ (с просьбами подыскать квартиру). Эти несколько писем проливают свет на нелегкую жизнь писателя: его последние годы, насыщенные до предела работой и невзгодами быта.

Переезд А. Белого в Грузию не осуществился из-за многих причин, хоть в Авчалах ему были уже сняты комнаты и предложенная издательством «ЗиФ» командировка для работы над новой книгой о Грузии получена. Произошла задержка с выходом очередного мемуарного тома «Начало века», вспомнились «транспортные затруднения» и «ужасные трудности дороги», донеслись издалека странные слухи об эпидемиях (мол, свирепствует тиф и чуть ли не — по соседству! — чума), не дай бог, попасть в карантин...

Весною 1931 года Андрей Белый поселился в Детском Селе, под Ленинградом, у знакомых. 16 апреля 1931 года написано последнее из сохранившихся писем его к Тициану Табидзе.

«...В первую голову обращаюсь к Вам с большой просьбой, — пишет он, — мой друг Козьма Сергеевич Петров-Водкин (считаю, что он в настоящее время первый среди русских художников, единственный, который продолжает традиции русской живописи, идущей от Александра Иванова, Врубеля и т. д.), человек, у которого я многому учился и с которым мы некогда работали в “Вольно-Философской Ассоциации”, друг Сарьяна и т. д. — ну, так вот: Козьма Сергеевич, будучи не-

здоров, едет в Абастуман с женой и дочкой, но хотел бы, если позволят обстоятельства, проведя месяца три на санаторном положении, повидать что-либо хорошее в Грузии; не ориентируете ли Вы его, — можно ли ему весной устроиться с семьей в Абастумане? Не дадите ли ему возможность провести несколько дней в Тифлисе, чтобы посмотреть город, миниатюры персидские и т. д.? Я ему очень много говорил о Коджорах и о гостинице, где мы жили, и он хотел бы, если позволит ему здоровье, деньги и время, зацепиться за Коджоры; не сосватаете ли в случае нужды его с Коджорами на июль или август? Козьма Сергеевич не только огромный художник, но и тот, кто имеет свою систему мысли о живописи, перспективах; он развивает свою “науку видеть” блестяще; К. С. — один из оригинальнейших и живейших русских людей нашей эпохи. Мне так хотелось бы, чтобы он унес с Кавказа те мысли, которые бы развивали ему его удивительную науку. Зная его, зная его недомогание, зная сложность всех отношений на Кавказе, я его направляю к Вам как своего друга к моему другу, с твердой уверенностью, что Вы ему поможете в указаниях, советах, в пределах, Вам доступных, тем более что он как больной и человек вполне несостоятельный не без опаски отдается судьбе, направляющей его на Кавказ...»

Направляя Петрова-Водкина к Тициану, Андрей Белый видел в нем своего рода полпреда всечеловеческой культуры; он писал Тициану: «Оказав ему посильную помощь, Вы окажете содействие культуре, — той культуре, которая над всеми народами, как купол, составляет один народ, в котором я, Вы, Сарьян, Водкин, как Рембо, Верлен, Ницше и т. д. — братья», — общность, постигаемая в личном человеческом общении. «Итак, направляю К. С. к Вам, — писал Тициану А. Белый, — он не знает, ехать ли ему мимо Тифлиса в Абастуман или зацепиться на один-два дня в Тифлисе; и я ему говорю смело: “Зацепитесь, посмотрите Тифлис, зайдите к моим друзьям...”. Может быть, Вы дадите ему возможность как-нибудь день-два, или сколь можете, переночевать с семьей (женой, дочкой), если гостиницы переполнены; “глаз” Водкина должен видеть культуру Грузии и Коджоры. А я не знаю, даст ли ему этот “глаз” Абастуман, куда он мимо всей Грузии попадет в те недели, когда там, вероятно, и туман, и холод...»



У СТЕН МОДИ-НАХЕ



*Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Чту стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит.
И заживо схоронит. Вот что стих.*

*Под ливнем лепестков родился я в апреле.
Дождями в дождь, белея, яблони цвели.
Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.
Как слезы глаз моих — они мне издали.*

*В них знак, что я умру. Но если взоры тщи-то
Слугайно нападут на строгек этих след,
Замолвят без меня они в мою защиту,
А будет то поэт, — так подтвердит поэт:*

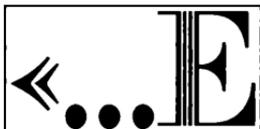
*Да, скажет, был у нас такой несчастный малый
С орпирских берегов, — большой оригинал.
Он припасал стихи, как сухари и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу брал.*

*И до того он был до самой смерти мугим
Красой грузинской реги и грузинским днем,
Что верностью обоим, самым лугшим,
Заграждена дорога к счастью в нем.*

*Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Чту стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит.
И заживо схоронит. Вот что стих.*

Апрель 1927

Перевод Б. Пастернака



Если случалось, что вечером никто к нам не заходил, — вспоминает его жена, — то Тициан садился работать — почти до утра. Уже когда он только приходил домой, я сразу, посмотрев на него, видела, что он что-то обдумывает. У него становились смутные, как будто отсутствующие глаза.

Когда Тициан своей качающейся походкой начинал мерить комнату, никого не замечая, не видя даже маленькую дочку, которая, сложив, как и он, за спину руки, обыкновенно ходила за ним, так же качаясь, — я знала, что он всю ночь будет работать, и никогда не ошибалась. Тициан ходил по нашей большой столовой и напевал или присвистывал. Ни петь, ни свистеть он не умел, у него получался звук — будто он тушит свечку. Я ставила на стол что-нибудь сладкое (больше всего он любил сушеные восточные фрукты), ставила чайник с крепко заваренным чаем и даже вино иногда, и мы все тихонько выходили из комнаты. Он любил работать на большом столовом столе. Через некоторое время я заглядывала к нему: он уже сидел и работал, и лицо его было освещено внутренним светом. Если он замечал меня, то обыкновенно моргал мне глазом и улыбался. Он не любил, чтобы я засыпала, когда он работал, и я обычно сидела в той же комнате в кресле: читала или делала подстрочники. Когда Тициан уставал, он любил поиграть в нарды; и если Серго Клдиашвили не спасал меня в два часа ночи, то я играла с ним.

Под утро Тициан вставал и просил меня выйти с ним в город. Мы шли по пробуждающемуся Тифлису, напевая — оба были безголосые: “Мы — два веселых подмастерья — идем, обнявшись, поутру...”. Сначала мы шли к базару смотреть удивительный тифлисский натюрморт: весь в зелени базар, среди зелени рдеющие помидоры, красная редиска, фиолетовые баклажаны, желто-зеленый перец; эти горы были окроплены водой, на них капли сверкали и переливались, как бриллианты. Шел, нарастая, шум и гомон просыпающегося базара. Тут же мы захо-

дили в какую-нибудь лавочку, садились на бочонки; к нам часто присоединялись и другие забредшие сюда поэты, артисты. Кормили в этих лавчонках изумительно, и лучше всего было хаши. Чаше других мы заставляли там Гогла Леонидзе, который с аппетитом ел хаши. Он знал все места, где хорошо готовят хаши, и мы шли по его стопам...»

В мае 1925 года Тициан Табидзе написал «Мухамбази, которое не поется». «Мухамбази» — традиционная песенная форма, широко употребляемая в грузинской поэзии; мухамбази писали многие поэты прошлого, в числе их — Григол Орбелиани, поэт-романтик середины прошлого века.

Тициан стилизации не любил; просто он историчен:

Из Ортачалы плыл Орбелиани
С уловом рыбы в легком челноке,
Зурна звенела в утреннем тумане,
Как будто бы подъем в татарском стане
Пронзительно трубили вдалеке...
И зурначами встрепанное утро
Уже грузилось в сливах на ослов,
В корзинах, отливая перламутром
Росы коджорских утренних лесов...

«Мухамбази, которое не поется» пронизано ощущением духовной гармонии. Поэт — участник мирного состязания: в смелости, вольности, выразительности метафор, в поэтической заразительности... Тициан Табидзе вступает в спор с певцом, воплотившим в своих песнях кавказский Восток, с Арутином Саят-Нова. Поэт истинно народный, Саят-Нова писал о сердцах, одержимых любовью, дерзкие, пестротканые песни, бьющие эмоцией через край:

Кто я, знать хочешь, мне докучая?
На наши песни взял все права я.
Я — Арутин, Саят-Нова я!
Пою — и песни гремят громами...

Правда, в переводе К. Липскерова эти строки Саят-Нова звучат несколько напряженно. В натуре песни Саят-Нова — как рыжие вольные воды Куры, бегущие по каменистому ложу. Такими видятся песни его Тициану:

Саят-Нова словами поутру
Трясет за косы сонную Куру...

Там песнь его вовсю Каро горланит:
«Где прогремят стихи Саят-Нова,
Там гром гремит и клонится трава!»

Поет рыбак на заре... Или — вставший на рассвете мастеровой. Это все происходит в историческом, старом Тбилиси. Ортачала — зеленая окраина города, рай фруктовых садов, а Коджоры — село над городом. В стихотворении, как на речном обрыве, видны в разрезе исторические пласты: от старинных — времен персидских нашествий, турецких и татарских набегов, через восемнадцатый, осевший последним большим пожаром и песнями век, через девятнадцатый (Григол Орбелиани) в сегодня. Поэтическая пластика городского пейзажа; его живописные, почти бытовые детали, подчеркивающие необычайность и свежесть лирических описаний — будь то «зурначами встрепанное утро» или горы над городом, ущельями зевающие спросонок. Они рядом: Грузия Григола Орбелиани, которая так выразительно и волнующе отливает перламутром росы и горланит песни, как будто трясет за рыжие косы Куру, и сегодняшний дивный город:

И вот опять проснулся мой Тбилиси,
Спросонья потянулись цепи гор.
Ущельями зевнув, поднялись выси
И вызывают сердце на простор...
С зарей еще прекрасней храм Кашвети.
В такое точно время, на рассвете,
Орбелиани плыл в родные дали,
Туда, где тамаду уже давно
Рога, вином наполненные, ждали
И подносили с криками вино:
«А ну-ка, парень, пей до дна смелее!»
Я — Тициан. Пусть знают, как я пью...
Но я в стихах во много раз сильнее:
Не только гром гремит под песнь мою —
Она под шум кладбищенской травы
Рассыплет в щепы гроб Саят-Новы.

Перевод Л. Мальцева

Это — литературный эксперимент. Тициан вообще-то далек от мысли уподобиться народному певцу.

Лет десять спустя, когда проблема народности будет повсеместно в литературе выдвинута на первый план и слава народных певцов («ашугов», «акынов», «сказителей») будет вознесена буквально на недосягаемую высоту, Тициан сочтет необходимым уточнить свое отно-



сущность поэтического «подвижничества», как оно теперь представляется Тициану Табидзе: мужество поэта — в том, чтобы взглянуть в глаза тысячелетней трагедии своего народа. Это трагедия отдаленного, невозвратимого прошлого:

Навек с душой царя Ираклия ушла
Печаль, окутанная сумеречной правдой,
Когда над Картли дымно розовела мгла
От моря крови и от зарев над Марабдой.

О том поэты нам не смеют рассказать,
Листая летопись измученной столицы,
И даже Руставели отводил глаза
От крови, склеившей шафранные страницы...

Печальная правда минувших столетий страшнее того, что писалось о ней! Это сказано о грузинской литературе. Грузинская литература минувших веков пронзительно и буднично трагична; она не знает ни счастливых литературных финалов, ни благополучных поэтических судеб. Поэты прошлого — участники народной трагедии, их судьбы выразительны, будь то безвестно умерший гениальный Шота Руставели или Давид Гурамишвили. Тициан в статье «Давид Гурамишвили и Важа Пшавела» вспоминает драматическую биографию Давида Гурамишвили: в юности его похитили в поле лезгины — в середине восемнадцатого просвещенного века; его стенания в плену Табидзе уподобляет великим причитаниями псалмопевца Давида, в голосе Гурамишвили он слышит «отчаянные стоны тысяч грузинских невольников, которых продавали в рабство на анатолийских и стамбульских рынках». Был, по преданию, отравлен в Бессарабии в 1791 году посланный туда из Грузии дипломатом блистательный царедворец, непревзойденный мастер стиха Бесарион Габашвили (Бесики). Годом позже, во время нашествия персов, в Тбилиси погиб его современник — легендарный Саят-Нова, народный певец многонационального Тбилиси, чьи песни звучали на трех языках: на армянском, грузинском и тюркском.

И если чья-то песнь, как стих Саят-Нова,
Как лебедь, крылья над тобою распростерла,
То знай, что эти полумертвые слова
Текут из насмерть перерезанного горла...

Вершина поэтического взлета в оде «Тбилиси»: поэтическая метафора — лебедь с перерезанным (порванным) горлом, распростершая крылья над городом. Поэзия — лебединая песня... Красивый символ? Да, по преданью, Саят-Нова был зарезан в армянской церкви старого Тбилиси во время последнего разбойничьего налета на город полчищ Ага-

Мамед-хана; певец похоронен у церковной стены. Песни Саят-Нова до сих пор поются...

Эта метафора становится постоянным, устойчивым поэтическим элементом лирики Тициана Табидзе:

Что же мне делать? Песней ли это
Сердце мое взмывает, друзья?
Нет, лебединой песни поэта
С порванным горлом запеть нельзя...

*«Скифская элегия», 1926;
перевод П. Антокольского*

Эту метафору осенью того же 1926 года Тициан Табидзе развернет в стихотворении с полемическим заглавием «Поэма Чагатар» (Чагатар — прославившийся своею жестокостью сын Чингиз-хана; символический смысл этого звучного имени просквозил уже несколько раньше в стихотворении «Сергею Есенину»: «необъезженный жеребенок и кровавый, как Чагатар» — сказано о погибшем поэте).

«Поэма Чагатар» — о судьбе и долге поэта:

Нет, я не смирен, не знаю страха.
Дайте мне слово, выскажусь прямо.
Я не похож душой на монаха,
Не утаю старинного срама.

Друг мой Тбилиси, едва я вспомню,
Как на гумнах молотили малюток,
Пытку твою разделить легко мне,
Изнемогаю от бедствий лютых.

До полусмерти кнутом избитый,
Здесь до конца скажу свое слово.
То, что прошло, — не позабыто,
В час полнолуния грезится снова...

Откровенная образная переключка с написанною тремя годами раньше одой «Тбилиси» подчеркивает преемственность главной мысли стихотворения: все трагедии прошлого остаются в сознании поэта; ничто не исчезает бесследно, не забывается, не вычеркивается из памяти народа, — поэт несет в себе это бремя («за всех расплачусь, за всех — расплачусь», — говорил Маяковский). Теряющиеся очертания безмерной ответственности поэта за происходящее, его причастность к жизни народа в целом, его сопричастность времени на всем его историческом протяжении — все это настраивает поэта на героический и, естественно, драматический лад; это — готовность к самопожертвованию, ибо

но вспомнить все эти переходящие из стихотворения в стихотворение эфемерные «призраки-храмы», похожие на эшафот, безликие «лафоровские воскресенья» или «жабу Лотреамона» — воплощение жуткой, не контролируемой сознанием душевной обнаженности, — поэт вводил «чужие» образы в свои стихи как «символы» собственных ощущений, впечатлений от окружающей его самого, вполне реальной действительности. Его обвиняли в литературщине, в подражательстве французским символистам, его называли «декадентом» люди, никогда не читавшие и даже не слышавшие прежде имен Лафорга и Лотреамона, ни даже Рембо, Малларме; для них эти образы-лейтмотивы никак не звучали, их внутренний смысл был неведом и, естественно, не мог служить даже намеком на те реальные жизненные явления, которые подразумевал Тициан Табидзе. Для того чтобы эти образы «зазвучали», необходимо знать более широкий контекст той поэтической системы, приспособленной для выражения похожих, близких, но вовсе не тождественных ощущений и переживаний.

В статье об Александре Блоке Ю. Тынянов писал: «Он предпочитает традиционные, даже стертые образы (ходячие истины), так как в них хранится старая эмоциональность; слегка подновленная, она сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности». В «старых» образах французских поэтов Тициан Табидзе находил неисчерпаемый запас поэтичности, «эмоциональность», доступную, правда, неширокому кругу читателей, а точнее сказать — слушателей его стихов. В более поздних его стихах «цитаты» из Лафорга и Лотреамона постепенно вытесняются лейтмотивами, возникшими на почве отечественной истории. Это «ключевые» слова, «ключевые» образы-символы, звучащие в контексте его собственной поэтической системы.

«Халдея», «Химерион» — с этими словами ассоциировалось так много, что достаточно было их упоминания, чтобы тотчас же возникла единственная в своем роде лирическая атмосфера... для тех, кто вместе с автором все это пережил.

Образ «лебедя с порванным горлом» — это уже целая поэтическая концепция, не нуждающаяся в том, чтобы ее всякий раз заново обоживать.

На правах таких образов-символов, пробуждающих массу ассоциаций, в поэзию Тициана Табидзе все шире входит цепь трагических эпизодов из истории Грузии — эпизодов, которые, подобно битве на поле Куликовом у Блока, довольно будет назвать, чтобы у читателя возникло определенное эмоциональное ощущение: это последняя трагедия Тбилиси, нашествие полчищ Ага-Мохаммед-хана, разгром на Крцанисских холмах, кровавое зарево над Марабдой.

Замысловатой метафорой возникает живой родник лейтмотива — в стихотворении «Двадцать третье апреля» (1923):

Чуден Тбилиси в преданьях седых:
Входит в гарем свой Ага-Мамед-хан,
Бесики слышу чарующий стих, —
Мир мне, апрелем расцветенный, дан...

В оде «Тбилиси», в «Поэме Чагатар» этот поэтический мотив расцветает, наполняется более широким смыслом, углубляется: рождаются образы-лейтмотивы, обретающие в дальнейшем самостоятельное существование, прорастающее в лирике, даже в любовных стихах...

История в лирике Тициана Табидзе — фабула, тогда как сюжет — духовная трагедия личности; в сражении с превосходящими силами евнуха в черной бурке — живая душа поэта.

Историзм поэтического сознания...

В сознании Тициана Табидзе история никогда не была мертвой, книжной. Он историческую реальность чуть ли не с детства ощущал, как и ту, в которой был в данный момент; одновременно и вместе — ту и другую. Для Тициана Табидзе историзм — это прежде всего стихия народности; это — сложившийся веками облик его народа, родины; это и форма всечеловеческого существования.

Казалось, он кожей чувствовал атмосферу истории.

Необыкновенное это свойство поэта понял и оценил в свое время Ю. Н. Тынянов, который познакомился с Тицианом в 1933 году.

«Я видел Тициана в Тифлисе, — говорил Юрий Тынянов на вечере поэзии Тициана Табидзе в Ленинграде 21 марта 1937 года, — и я никогда этого не забуду. Я понял, как рождается его поэзия... Я понял Тифлис. Это один из нескольких замечательных городов, и он весь полон истории. Над Тифлисом все еще стоит черная бурка Ага-Мамед-хана — евнуха, который был ничуть не меньшим завоевателем, чем мечтающие о завоевании евнухи Запада; а на горе — могила Грибоедова...

А надо сказать, — продолжал Тынянов, — что Тициан ходит по Тифлису, как ходит человек по своей комнате. Он в своих предстиховых ощущениях (а у него, по-видимому, такие ощущения всегда наличествуют) историчен. У него история не есть книга, поставленная на полку; нет, история в нем и с ним, он ее чувствует, и поэтому он так открыт для нас, для русского искусства, для русской поэзии, которую он любит и понимает. И вот, когда я был с ним, все обретало свой исторический смысл...»

Не один Тынянов испытал это на себе.



Тициан был щедр и охотно делился с другими своим духовным богатством. Павел Антокольский вспоминает в одной из своих статей, что при встречах с Тицианом в Тбилиси он видел поэта в роли своего рода «мэра города Тбилиси»: «так содержательны и выпуклы были его комментарии и к башне Метехи, и к горе святого Давида с гробницей Грибоедова, и к картинам гениального самоучки Нико Пиросманишвили, и ко многому еще, им же самим найденному, облюбованному, распропагандированному. Рассказанное им могло бы стать стихами, поэмой, но он был щедр и пачками швырял эти нераспечатанные в творчестве воспоминания и образы, радуясь тому, что может поделиться с новыми людьми своим патриотическим богатством».

Трагедийность поэтического мироощущения...

О природе трагического в поэзии Тициана Табидзе пишет Симон Чиковани:

«В грузинской поэзии тех лет я не знаю поэта такого драматического накала. Он точно кровью исходил, когда писал стихи, — и все раны его были открыты...

Тициану Табидзе с ранних лет была присуща какая-то особенная, тревожная интонация, которую сам поэт называл «гадавардна», что означает: «бросаться очертя голову», «окунуться». Это он считал главным, основным свойством поэзии, и свой поэтический мир он развивал в этом направлении. Эта особенность его творчества не была непосредственно связана с его личной биографией, не имела, так сказать, биографической основы. Он был человеком жизнелюбивым, приветливым. И личная жизнь его была полна счастья и удач. Иной раз он бывал придирчив в своих отношениях с друзьями, но и эти наивные капризы были привлекательны и красили его. Очень было развито в нем чувство юмора, он смеялся заразительно и долго и в ответ на остроумную шутку иной раз хохотал до слез. За увлекательной беседой он мог просиживать ночи напролет. Несмотря на все это, в поэзии он сохранял сильно драматизированную интонацию: «бросание очертя голову» он считал движущей осью лирической поэзии в целом и одной из основных черт своей собственной поэтики. Поэзия представлялась ему свойством драматизированной души, и стихи для него были необходимой пищей на жизненном пути...

Внутреннюю самоотдачу поэта и песню навзрыд называл он самой природой поэзии. Вот почему он писал: «Стихи я зову лавиной, что увлечет с собой и заживо схоронит». Трагедия была возбудителем его творческого процесса. Творческий процесс тем и отличается от обычного хода жизни, что поэтический «прострел» пронизывает художника, и стихи сами закипают в груди: «И казалось мне, что нить от стихов

держала в своих руках сама бессонная ночь. Ударил ливень с плеском и пеной, и стих промчался прострелом и прохватил меня” (подстрочный перевод)...

Таким образом, каждая его строчка является плодом мучительных раздумий и внутреннего горения. “Кого так обжигают горячие уголья?” — обращается к читателю поэт, чье творчество пронизано трагическим предчувствием, каким-то тревожным настроением».

«Необычайное лирическое напряжение, порыв, доходящий до самоотречения, — пишет С. Чиковани, вспоминая Тициана. — “Я родился, чтобы быть рабом и носить ярмо Грузии”, — говорил он и сжигал свое сердце на жертвенном алтаре отчизны».

Поют родные горы хором, —
На смерть меня сейчас пошли —
Я даже и тогда укором
Не упрекну родной земли...

«Ликование», 1927;
перевод Б. Пастернака

Шалва Деметрадзе вспоминает: «Правил он порою беспощадно. Так зачеркнул он целых восемь строк в своем “Ликовании”. Вот эти зачеркнутые строки (в подстрочном переводе): “...И эта жизнь ведь только сон, нагрянет, подомнет под себя ликование. Даже если все наше поколение ляжет костями, нам одним не поднять обломанного грузинского крыла. Какой же груз понести одному поэту, да еще с умершим сердцем в груди? Я целую волосок, на котором держится моя жизнь, и лезвие топора, который отсечет мне голову”».

Нет предела этой самоотреченности, и, видимо, иногда самому Тициану казалось, что она захлестывает поэзию, становясь чрезмерной.

Симон Чиковани отмечает важнейшее свойство поэтического дарования Тициана Табидзе, утверждая, что «трагедия была возбудителем его творческого процесса»; свойство, присущее неизбежно всякому большому таланту, — повышенная, многократно усиленная по сравнению с обычной человеческой чувствительностью способность художника ощущать как собственную боль других. Рассеянный в мировой атмосфере трагизм — общечеловеческий, общенародный — имеет свойство накапливаться в сердце художника.

Стихийность поэтического порыва...

«Тициан Табидзе однажды говорил мне, — вспоминает С. Чиковани, — что не раз он упускал вдохновение, т. е. будучи в настроении писать стихи, сдерживал себя и не писал их. На мой недоуменный вопрос он отвечал, что рождение стиха для него равносильно потопу».



Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их...

«Строки его обладают поразительной емкостью чувства», — пишет С. Чиковани.

Об этом же говорит, вспоминая Табидзе, Борис Пастернак:

«Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру, способной к ясновидению и самопожертвованию».

В статье «Котэ Марджанишвили» сам Тициан пишет о мастерах того типа, «которые живут и дышат собственным творчеством, горят непрерывным творческим огнем, их нельзя отделить от собственных творений. Они обладают вдохновением, равным по силе ринувшемуся лавиной обвалу, которого нельзя удержать, ибо он унесет за собой в бездну и тебя...».

Тициан пишет о бешеном, неукротимом творческом темпераменте Марджанишвили, которого называли «Дуруджи». Дуруджи — река в Кварели, на родине Марджанишвили, — маленькая река со скалистыми берегами; трудно себе представить, как она может ворочать огромными валунами, а между тем были тщетны попытки умерить ее пыл дамбами и плотинами: «В пору половодья Дуруджи сносит с пути все преграды и разрушает все дамбы, неся за собой дым коромыслом», — писал Тициан. Яростная самоотверженность отличала Марджанишвили, который, кажется, способен был убить человека в минуту творческой «разъяренности».

Тициан тоже был художником этого типа, но не ярость, а сила самоотдачи отличает его.

Вера его в таинство поэтического постижения мира была поистине беспредельна.

...Загадочная поэтичность тифлисского быта приехавших с Севера потрясала до глубины души. Она пронзала самые скептические души, застревая в подсознании «в форме давнего, время от времени повторяющегося сновидения», как писал об этом Валентин Катаев в «Святом колодце», вспоминая воспетую Мандельштамом «легендарную ковровую столицу».

«Что же все это значит, господи боже? — восклицал он трагическим голосом. — Можно было сойти с ума от невозможности постичь душу этого города».

И «знаменитый поэт» с прекрасным, скульптурным лицом пожилого римского легионера, с хрипло гортанным, с могучим придыханием голосом, — в нем легко узнать прошедшего еще несколько десятилетий Георгия Леонидзе, — отвечал взволнованному гостю: «Не удивляйтесь... И, пожалуйста, умоляю вас, не ищите здесь какой-нибудь мистики...».

Он лукавил, старый легионер. Все же что-то было загадочное в самой обыденности того городского быта. И это чувствовал, заглянув сюда, Борис Пастернак. И понимал Андрей Белый. И даже Катаев, с его ироничной, одесской душою, писал:

«Мне опять долго и сладко снился горбатый город, и мы сидели в духане над горной речкой, которая бежала где-то внизу, как стадо овец, по камешкам, по-зимнему мутная и головокружительно скучная, свинцовая, дымная. Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может, последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, увешанную цветным стеклярусом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого ящика пронзительные и вместе с тем небесно музыкальные звуки мещанских вальсов, маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах, о догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой бутылки красного, как кровь, “телиани”. И я становился на колени, целуя смуглые, волосатые, безмерно старые руки шарманщика, а тем временем великий поэт, утешая меня, гладил мою пыльную и уже несколько лысоватую голову блудного сына и, отвлекая от слишком грустных мыслей, говорил мне:

— Друг мой, не надо плакать. Не стоит. Все мы у Господа Бога корабли, ушедшие в море...»

Это любимое стихотворение Блока, которое он всегда читал последним на своих поэтических вечерах:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою...

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,



Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Теперь ушел навсегда и этот большой корабль. «Великий поэт», вкусивший сполна все, о чем в юности мечталось: невиданный поэтический успех, славословие, любовь народа, признание односельчан, все — вплоть до таких похорон, какими удостаивают покинувшего землю патриарха.

Когда-то Леонидзе подарил дочери Тициана стихотворение — об этих похоронах:

От горьких слез,
и вздетых рук,
и скорбных фраз,
и толп, за гробом шествующих
тенью, —
гроб Руставели распадался девять раз
на медленной дороге к погребенью...

Я не дождусь подобных похорон.
Судьба певца — что знаю я об этом?

Что знаю?
Всё...
Любовь, восторг и стон,
и власть, и одиночество поэта...

Поэт ли я?
Поэт ли твой отец?
О нас ли наша Грузия мечтала?
Не знаю.
Знаю только: из сердец
лишь вместе с корнем песня вылетала...

И если стих —
наш звонкий стих —
в конце концов
не жжет и не горит, —
ну, что же, дети,
тогда и вы за нас как за отцов,
и Грузия — как за сынов — в ответе!

Гроб Руставели распадался девять раз,
а наши будут целы и сохранны.
Но рифмы твоего отца — как раны
в груди моих певучих сложных фраз.

Перевод Ю. Ряшенцева

Есть другая версия: Руставели был похоронен неизвестно — в чужом краю.

Похороны Георгия Леонидзе в 1966 году всколыхнули весь город. А горечь, которую он вкусил в годы успеха и торжества, он таил в себе так глубоко, что немногие, вероятно, догадывались об этом.

...когда шарманщик еще не был так стар.

Белый духан за городом, на Коджорской дороге. Невзрачный домик. Вокруг чахлый садик за каменным низким забором. Под фонарем, прислонившись к столбу, шарманщик в синей фуражке, заломленной на затылок. Фуражка блином и грязный белый платок на шее, пыльная чоха до пят и под нею красный когда-то архалук, на ногах пестрые шерстяные носки, крючконосые чусты. При виде подъезжающего фазтона с гостями шарманщик начинал быстро-быстро крутить ручку своей шарманки, извлекая из деревянного ящика хриплые звуки. Все же он и тогда был поэтичен до слез — шарманщик, деталь городского, полузабытого быта.

У Тициана есть стихотворение об этом — «Шарманщик».

В Белом духане
Шарманка рыдает,
Кура в отдаленье
Клубится.
Душа у меня
От любви замирает,
Хочу я в Куре
Утопиться...

Сюжет стихотворения строится на реминисценциях уличных песенок и мещанских романсов. Эмоциональная щедрость поэта снимает с шарманочных песенок пошлость, банальность, — обнажает живое, трогательное душу; ничье в затрепанной песенке — для каждого слушающего свое — наполняется лирическим ароматом.

Что было — то было,
Пирушка — забвенье.
Принесите из Арагвы
Форели!



Оставлю о милой
Одно стихотворенье:
Торговать мы стихом
Не умели.

В каждой строфе, как в частушке: две части, — каждая независима от другой; в одной части — шарманочный сюжет, в другой — сюжет слушающего шарманку, похоже, загрузившего — поэта, которому приходят в голову не одни банальные мысли, волнуют не житейские только дела; но и банальных, и житейских он тоже не избегает.

«Нина, моя Нина,
Замуж не пора ли?» —
«У тебя не спрошусь,
Если надо...»
Играй, мой шарманщик,
Забудь о печали!
Для меня мухамбази —
Отрада.

Танцор на веранде
Плывет, приседает.
Любовь за Курой
Устремилась...
«Сначала стемнеет,
Потом рассветает.
Тамрико от любви
Отравилась!»

В ритме стиха слышится хриплое придыханье шарманки. И лирика песенок — ах! — простовата... В каждой строчке — новая сюжетная подробность, отделенная от предыдущей ритмическим вздохом; надрывный захлеб шарманки — наивная драма уличного романса; и рядом, хоть приглушенно, вливаясь в дворовую мелодраму, но не сливаясь с нею, как струи Черной и Белой Арагвы — соединившись, текут еще как бы врозь, — возникает мелодическая тема поэта. Чувства шарманочных любовников одномерны, а поэт — скептичен, сентиментален, в нем сумятица чувств...

Играй же, шарманщик,
Играй пред рассветом!
Один я ей дорог,
Не скрою.
Как быть ей со мною,
Гулякой-поэтом?

Розы в Грузии
Сеют с крупкою...

(Последняя фраза, несколько загадочная в переводе Н. Заболоцкого, означает всего лишь, что в Грузии и хлеб и розы выращивают, сочетая полезное и приятное.) Шарманщика и поэта связывает загадочное родство: их доля — тешить людей; но сердце певца — не забава. Тамрико лишь в песне отравится от любви, — судьба поэта не по-романсному драматична:

Есть для женщин закон:
Их девичество кратко.
Скоро съест девица
Супруга.
Мы же гибнем, шарманщик,
Жизнь отдав без остатка.
Нам и пуля сквозь сердце —
Подруга!

...Посвященный Марте Мачабели «Растянутый мадригал» (1925).
Дадаистическая непосредственность еще не покинула поэтического сознания Тициана Табидзе:

Ты вся отточена, как сабля Мачабели.
Ты — выше виселицы! Взор твой — это взор
Мадонны в час, когда от белой колыбели
Падет на Картли он, и светел, и нескор.
То мне река Лиаква снится... То не спится...
А лишь засну: и бой! и мчится атабек!
Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза
В Куру засмотрится отныне и навек...

Перевод Ю. Ряшенцева

Вызывающая образность этого стихотворения воспроизводит, пожалуй, не столько облик женщины, сколько смутное, тревожное настроение поэта. Ее он рисует тоже: «отточена ты — как меч Мачабели, стройна — как осина Ташискарари, высока — как виселица; у тебя взгляд Мадонны, каким она удостоила Грузию», — это по-своему выразительно.

Все почему-то снятся поэту кровавые битвы далеких времен. Те битвы, в которых звенели отточенные мечи рыцарей из рода Мачабели. Ташискарари — местность вблизи Боржома (в то лето Тициан в Боржоме дачу снимал для семьи); в Ташискарари Великий Моурави Георгий

Саакадзе разгромил войско крымских татар, пришедших на помощь персам.

К чему бы такая декоративность?

«Не запрудят больше Куру тела убитых татар. Грузия снова полна винными погребками, и рыцари подходят друг к другу с рогом, и никто еще не умирал, не восславив бессмертное солнце Грузии... Но я не хочу быть похож на застенчивого монаха, который в Вардзиа рисует на скале портрет царицы. Хотел бы я отобрать у поэтов прошлого их гусиные перья: стыдно держать в руке перо, когда звенят мечи...»

Это — мадригал.

Это — еще одна поэтическая декларация.

И чтобы не уйти от своего предмета совсем, поэт объявляет ту, которой посвящены стихи, «последней царицей» и просит ее: «Если твоя корона сломалась — из моего сердца вырежь другую корону», — заметив в скобках: «Эта гипербола многих поэтов ошеломит!». Ирония смягчает напряженность, уводит от полузабытых, тревожащих воспоминаний, то ли ставших историей, то ли осевших в душе: «Мне снится ночью мутная Лиахва...» («Рыжей кровью течет Лиахва», — писал он о том же в 1919 году). Но, может быть, и не о том. Лиахва кровью текла не однажды. Георгий Саакадзе там уничтожил восставших, неверных ему осетин. Запах глена (ущелье было забито трупами, как и после карательной экспедиции меньшевиков) мучил Тициана в Боржоме, в Тифлисе. Лиахва в его стихах превращается в символ:

То мне река Лиахва снится... То не спится...
А лишь засну: и бой! и мчится атабек!..

Но разве не двусмысленно, не тревожно само сравнение женщины — с виселицей?

Летом 1925 года семья Тициана жила на даче в Боржоме; сам он изредка ненадолго туда наезжал: бродил в окрестностях, вспоминая подробности отгремевших в Боржомском ущелье сражений, внезапно срывался и уезжал в город. В то лето его душа рвалась на простор, и стихи рождались — окрыленные, дышащие восторгом.

Никогда не бывало так радостно мне,
Как сегодня. Не знаю, в чем дело.
Не хочу я, чтоб сердце горело в огне,
А искусство мое охладело.

Из ворот Ташикари летит ураган,
Блещет пламенем шлем Моурави.



Серп луны изогнулся, прорезав туман, —
Скорбный месяц в холодной оправе.

Замирая, не в силах я глаз отвести
От развалин старинного стана.
Опоясан мечом, я стою на пути,
Но не видно нигде басурмана.

И стихи Гуриели похожи на стон:
«Кто прославит Тамарины чары?»
Жизнь моя — только миг, но разрублен и он
Соименницей дивной Тамары.

Кто прославит Тамару? И этой другой
Кто споет, распростершись во прахе?
Светозарная Картли горит надо мной,
И в плену я у стен Моды-Нахе...

Перевод Н. Заболоцкого

Волнуясь, прочел он стихотворение «Тамуне Церетели» друзьям. Стихи понравились, но к похвалам, которые были сдержаннее обычных, примешивалась неловкость. Может быть, эти стихи не стоит публиковать? В них отсутствовала легкая, ироническая нарочитость, которая в мадригалах. Всё — на одном дыхании! Страсть — вдохновенная «соименницей дивной Тамары» — «этой другой», которой посвящены стихи.

«Моды-Нахе» — название крепости, когда-то принадлежавшей князьям Церетели. «Моды-Нахе» — значит: «Приди — посмотри!». Это была такая дерзкая, неприступная крепость! Древняя крепость над рекою Квирила.

Стихотворение дышит рыцарской готовностью к подвигу во имя прекрасной дамы...

Этим летом Тамуна Церетели продавала минеральную воду в магазине Лагидзе на Руставели, против оперного театра. Тициан с нею не был знаком. Настороженная гордость и грация лани сквозила в каждом ее движении. Он и не посмел бы с нею заговорить. Он приходил пить боржом каждый день; стоял, прислонившись к прилавку, пил воду не спеша и смотрел на нее. Он ходил к Лагидзе десять раз в день...

Н. А. Табидзе рассказывала: «Мы отдыхали летом в Боржоми на даче. Я получила от Тициана письмо о том, что в Тбилиси появилась очаровательная женщина и что он хочет, чтобы я на нее посмотрела. А потом в тот же день прислал телеграмму с просьбой срочно приехать и позвонил по телефону мне в Боржоми, и очень просил приехать.



Я приехала вечером, пришла домой — Тициана нет. Я жду, волнуясь, а он не идет. Уже в двенадцать часов, ночью, вижу с балкона — идет веселый, здоровый, только еще больше растолстел. Я на него накинулась с упреками: зачем звал? что случилось? хоть бы последил за собой — чего тебя так разнесло? Он только смущенно улыбался».

Повел ее утром к Лагидзе, купил ей мороженое, показал девушку за прилавком...

Стихотворение «Тамуне Церетели» написано в Боржоме летом. Второе, посвященное ей же, — «В Ананури» — написано год спустя; толчком была поездка в Ананури, старинную крепость при Военно-Грузинской дороге (вероятно, с кем-нибудь из гостей).

Раньше любовь навредила его на мысль об исторических битвах, — теперь же память о прошлом, о былых сраженьях, о рыцарских подвигах предков ему напомнила девушку, что в прошлом году продавала боржом у Лагидзе:

Тебе здесь не бывать, но я упорно
Под Ананури помню образ твой.
Тут Белая слилась Арагва с Черной, —
Меня ж хотят разъединить с тобой.
Тебя, не зная, звал я. Так Тамарой
Томился Врубель. Ты осенена,
Как крепость Моды-Нахе, древней чарой,
Как сломанное облако, нежна.
Касается тебя мое томленьё
Нежней, чем крылья демона. И пусть
Подаришь ноги ты свои оленьи
Подругам, чтобы их развеять грусть.
Пусть их певцы обрадуются тоже,
Вся жизнь еще пред ними впереди.
А наши грезы время уничтожит,
Прах занесет. И лишь забвенья жди...
Я бьюсь на камне брошенной форелью.
И жабры вырваны. Вздвигая курок.
Я пули жду. И сердце стало целью.
И смерти не избежать. Близок срок...

Логика поэтического мышления капризна и разуму неподвластна: гибельность неразделенной страсти, метафорическое «сраженный насмерть любовью» ассоциируется у Тициана Табидзе с битвами, с историческими сражениями; недостижимость счастья — с неприступностью не взятых противником крепостей:

...Здесь тысячи погибли. Ананури
Тому свидетель. Потому пою
Здесь песню я о страсти и о буре,
И гибель я баюкаю свою.

Перевод С. Спасского

Здесь пропадает «обычность», банальность подобных «поэтических» сравнений, потому что здесь — это вообще не сравнение: битвы со страстью, — это ощущение себя в этом мире. Сопричастность истории не в уподоблении чувства — битве, но в присутствии «истории», ставшей частицей души поэта. И Тамуна Церетели — княжна из рода Церетели — для него частица истории тоже; и «Моди-Нахе» («Приди — посмотри») — крепость и в то же время поэтический символ не всякой вообще неприступной, а именно этой, единственной в своем роде любви.

Годами не сглаженное чувство к Тамуне Церетели как-то по-своему ассоциировалось для него с гибельностью собственной его судьбы, с тяжелыми предчувствиями, а позднее — с почти трезвым ожиданием неизбежного; в 1937 году Тициан пишет еще одно стихотворение «Тамуне Церетели»:

Несчастному — что может счастье дать?
При жизни мне над собственной могилой,
Над музою разодранной рыдать.
Нет, этой не забыть весны постылой!

Зачем вопрос, когда пришла беда?
К чему ответ в безмолвии жестоком?
Судьба не слыла щедрой никогда,
А нынче гонит горести потоком.

О «Моди-Нахе» пусть молчит язык.
Мне видится, мне верится в печали:
Не приживется к тростнику тростник
И сердцем сердце заменить едва ли!

Придут другие в этот адов зной,
Увидят взрыв, огонь поры суровой.
Я радости и не хочу иной,
Чем вырезной свирели тростниковой.

Обидно только, что я не успел
Тебе в те годы рассказать в печали,
Как мы среди поэтов в сонме дел
Безногого Рембо не забывали.

Перевод Л. Озерова



Это трудно перевести, в переводе — звучит неуклюже, иногда непонятно: прощаясь с миром, Тициан в единый стих пытается вобрать сложную сумму образов-символов, которыми жил. Начиная с чувства присутствия на собственных похоронах (теперь это не был символ, — уже опустился занавес, отделивший его от живых, и он видел со стороны свою смерть), этот образ возник в его юношеских прозаических миниатюрах, — он хоронил сначала свою первую, бесплотную «голубую» любовь; потом в «Белом сновидении» ему виделся скорбный путь народа — бесконечный, как дорога на кладбище, и «плач над гробом собственным»; и снова он испытал это, когда хоронил отца: «все исчезает в скитаньях и мчится куда-то, я же собственный гроб проношу, словно памятник славы»; и снова ему хотелось рыдать над своею могилой, оплакивать «разодранную музу» (тот же лебедь — с разорванным горлом) — петь свою «лебединую песню»; и «Моди-Нахе», и недоступная больше радость чувствовать себя тростниковой свирелью, прижатой к губам Грузии (и об этом было в прежних его стихах), и Рембо — примета юности, пронизанной ураганом, — всё, о чем не успел рассказать ей...

...Жена Тициана Табидзе была смелая, с твердым характером женщины. В отличие от Тициана, она легко вступала в общение с незнакомыми людьми, не робела в многолюдном собрании.

Ей — Нине Макашвили — посвящается «Понт Эвксинский»:

Читал сегодня я Эврипида,
Медя напомнила мне тебя.
Любая мне не страшна обида
С тобою: сердце верит, любя...

Стихотворение написано 5 июля 1926 года в Тбилиси под впечатлением перечитанной античной трагедии, навевшей мысли об аргонавтах, похитителях колхидской царевны, об Орфее, который был их певцом, о собственных житейских невзгодах...

В начале этого года Тициан Табидзе напечатал свое стихотворение о Сталине; тогда о Сталине еще не писали стихов; это стихотворение не было прославляющей одой, в нем было размышление о перспективах новой жизни; стихотворение кому-то показалось политически бестактным, и поэта предали остракизму, — он лишен был работы и, соответственно, средств к существованию. Через полгода с помощью старых, со времени большевистского подполья, друзей все как-то уладилось, — Тициана снова стали печатать.

...В стихотворении «Понт Эвксинский» звучит не обида — преодоление горечи, вера в жизнь и в любовь, в неизменность человеческой доброты:

Печь известковая — челюсть дракона;
Колышется золотое руно...
Я схвачен мечтою неугомной,
Со счастьем таким совладать не дано.

Выскажу слово, но с ног меня валят
Обвалы невысказанности моей.
Старой грозы подхваченный валом,
Я песню пою о тебе — Орфей.

Понт Эвксинский — да есть ли милее!
Звук тот исторгла какая струна?
Тебя напомнила жизнь Медеи,
И сердце мне обожгла она.

Крепкая, точно Саркис Джакели,
И, словно Понт Эвксинский, нежна...
Невысказанность томит доселе,
И глотка сохнет, поражена...

Навеянное мифом о Мее и аргонавтах стихотворение — о себе, о собственных своих переживаниях; образный строй держится на поэтических ассоциациях с греческими мифами: известковая печь, в которой (как и в те легендарные времена) сжигают известь в сегодняшней Колхиде, — «челюсть дракона». Того дракона, который охранял золотое руно и которого с помощью Медеи убили аргонавты. Этот образ станет лейтмотивом ряда последующих стихотворений — символизирующим жизненные невзгоды, препятствия, неожиданную опасность (в дальнейшем его развитии). Здесь — его рождение; здесь это — почти случайная ассоциация, возникшая из описания Черноморского побережья, где быт народа сохранил древнейшие, времен греческих мифов черты.

Певец, поэт — конечно, Орфей...

В переводе Л. Озерова приглушен знакомый образ-лейтмотив оригинала: «Что-то невысказанное томит меня, и высыхает перерезанная глотка».

Стихотворение посвящено жене поэта; это она — «крепка, точно Саркис Джакели», такой у нее характер! (Саркис Джакели, владелец Месхети — смелый грузинский полководец.)

О чем стихи? О любви?..



Пароход «Ильич» причалил к Сочи,
Словно «Арго», воскрешенный заново...

Это — вариация умиротворяющей картины спящего, ночного Черноморья. В «Понте Эвксинском» — взрыв неожиданных чувств:

Родина! К твоей ли колыбели
Прикасаюсь, за былым ли следую, —
Человек я или Кахабери *,
Сросшийся корнями с почвой этою?
Кем бы ни был, но, мечте покорный,
Напишу поэму бедствий родины.
Что мне жизнь? Пускай лавиной горной
Сметены пути, что раньше пройдены!

Экспрессивный и по-своему выразительный перевод П. Антокольского, естественно, утрачивает буквальную точность, и потому «знакомые образы» в переводе не так легко узнаются: «И решил я внезапно написать твою кровавую поэму. Себя не пожалею: будь лавиной (поэзия), — снеси все, что у сердца найдется». «Плакал на этом море Овидий Назон, более о Риме, чем о себе. Как бы мне язык ни связали, я расскажу о путанных наших дорогах...»

Часто их меняли. Так меняют
Лед на лбу страдальца госпитального.
Правнуки и ныне поминают
Пропасти у перевала дальнего.

«Не было непройденных пропастей, ни высот, нами не взятых... Долго длилась агония, пылала огненная печь...» (Известковая печь — та самая «челюсть дракона».) Конец запутанным этим дорогам: «бросил якорь у берега пароход “Ильич”, остановился в Сочи»; это — свет надежды. В переводе Антокольского усилено символическое звучание образа:

В пламени небесные ворота.
Брошен якорь у высокой пристани.
Мне приснился белый сон народа —
Снег Эльбруса, еле видный издали.

Это — рассвет.

◆◆◆
* Сказочный средневековый рыцарь-богатырь.

...Скучные дни на даче в Анапе, куда несколько лет подряд выезжала его семья.

Образы исторические были той лирической плотью стиха, тем поэтическим воздухом, без которых никакие грустные или радостные раздумья — еще не поэзия; без этого жизнь теряет объемность, лишается глубины и, может быть, даже смысла.

Я в Скифии. Опаленный киммерийскими сумерками...
Друг дорогой, я твоим голосом читаю Пушкина.
Бахчисарайского фонтана обливает меня струя, —
Старым фонтанам никто рыдать не мешает...

Так выглядит в сделанном самим Тицианом подстрочном переводе его стихотворение «Илаяли», посвященное Али Арсенишвили.

Многозначным словом проходит в стихах Тициана Табидзе древнейшая, таинственная Киммерия (отсюда и киммерийцы, и «Химерион»). Она и во времена Геродота уже была легендарной — эта страна: киммерийцы населяли северное Причерноморье и Крым в библейские времена, а потом исчезли. Геродот собрал преданья о том, как скифы прогнали киммерийцев. Скифы были кочевники, воины, — киммерийцы не могли им противостоять. Цари киммерийцев собрали совет, решая: оставить ли землю скифам и переселиться в другие места или вступить с ними в бой? Цари хотели сражаться, но их не послушал народ; и они стали спорить между собой, потому что одни все еще рвались в бой, а другие хотели уйти с народом; и цари перебили друг друга, — народ киммерийский похоронил их возле реки Туры и ушел, преследуемый скифами, на восток, через Кавказские горы — в Малую Азию; туда, где маячила Тициану таинственная Халдея.

Блуждая под киммерийским небом здесь, вблизи пыльной и скучной Анапы, Тициан вспоминал годы юности:

...И вопрошаю мгlistую скифскую ночь:
Куда делась наша юность и наш восторг (очарование, упоение)?
Кто обветрил нашу запекшуюся («сухую» — зачеркнуто) рану
И не дал возмужать нашему вдохновению?..
Скоро в Тифлис, как прежде (некогда) Важа Пшавела,
Я привезу переметными сумами стихи.
Но больше стихов несусь я горечи с собою,
Которой усердно меня заправили на родине.
Клянусь я скорбной тенью Овидия,
Что я ближе к тебе, чем в старину (раньше).
Мечтаю с тобой по Руставели (перспекту) пройтись, рыдая в стихах,
и вспомнить позабытые строки.

...скифские орды и рати ислама.

Сегодня: все то же небо и те же тучи. Тучи седой Киммерии...

Придут и уйдут племена, и высохнут реки. Но что однажды в себе ощутил поэт — навсегда останется в жилах его стиха:

Разве я кем-то из дому изгнан?
Сам добровольно кинул отчизну, —
Вот и брожу по скифской стране,
Да не поможет чужбина мне.
Но Киммерия нынче близка мне —
Дикие степи, голые камни...
Иль это пушкинский горький стих —
Первопричина скорбей моих?
Или слепец настроил бандуру
И обошел Христа ради базар,
Или собака завывала слезам?
Или я сам дал волю слезам?
Детство ли вспомнил? Юность ли прожил?..
Сердце мое бандурист растревожил:
Что же он плачет, бедный слепец, —
Миру всему пророчит конец?
Словно я ждал еще с колыбели
Ночи такой, непогоды такой, —
Скифы на море песню запели...
На сердце — смута и непокой.

Перевод П. Антокольского

Дочери посвящено стихотворение «Танит Табидзе» — 1926 год:

Саламбо, босоногая, хрупкая,
Ты привязанною за лапку
Карфагенской ручною голубкою
Ходишь, жмешься и хохлишься зябко...

Обращение к истории здесь — не прием, но — логика чувства, почти житейская ассоциация: имя дочери — Танит, данное ей когда-то в честь карфагенской богини, повлекло за собою цепь исторических и литературных ассоциаций; в них обнаруживало себя душевное состояние поэта, круг его не названных, но поэтически опосредствованных переживаний. В своем переводе Борис Пастернак, отступая от оригинала в деталях, выделяет центральный драматический момент в цепи поэтических образов-ассоциаций:

Мысль моя от тебя переносится
К Карфагену, к Танит, к Ганнибалу.
Он на меч свой подставленный бросится
И покончит с собой, как бывало.

Сколько жить мне, про то я не ведаю,
Но меня со второго апреля
Всю неделю тревожат, преследуя,
Карфагенские параллели.

Переводчик нагнетает напряженность в атмосферу стиха и завершает стихотворение строками, в которых выражено очень характерное для Тициана Табидзе настроение, не высказанное, однако, с тою же определенностью в оригинале:

Спи, не подозревая ни малости,
Как мне страшно под нашу крышею,
Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу.

Перевод Б. Пастернака отличается высокая поэтичность и напряженный лиризм; и вместе с тем, в нем опущена большая часть образных мотивов-ассоциаций, почти весь литературно-исторический реквизит стихотворения. Все это сохраняется в другом переводе — Бенедикта Лившица:

Саламбо на алых ножках голубя,
Ты — что крови карфагенской след.
В мыслях нежно полыхает полымя,
Затонувшей Атлантиды свет...

Это значительно более точный и все же менее выразительный перевод. В нем передан свойственный Тициану Табидзе ход поэтической мысли, его ощущение жизненных связей:

Красноногий голубь мой на привязи,
Той же ты посвящена Танит.
Тщетно Ганнибал судьбе противится:
Меч его его же поразит.

Так апреля в день второй, дитя мое,
Я пишу и, глядя в глубь веков,
Вижу Карфаген без стен, без знамени
И с богини сорванный покров...

Стихотворение, написанное в день рождения Тициана — 2 апреля, обращено в глубь веков, и образы его тревожны: свет погрузившейся в океан

Атлантиды, пораженный собственным мечом Ганнибал, беззащитный Карфаген и — начисто опущенный Пастернаком — «таинственный покров», сорванный с карфагенской богини Танит (чудодейственное покрывало богини, священный «заимф», упавший с неба, частица самого божества — в нем сила, слава и величие Карфагена, — смотри об этом роман Г. Флобера «Саламбо» — одно прикосновение к этому драгоценному покрывалу грозило смертью); покров, сорванный с богини влюбленным в Саламбо (жрицу богини Танит) варваром, воином, полководцем... Неопределенность символов — неясность тревоги, угнездившейся в сердце поэта. Его взгляд, устремленный в века, в самом деле углубляется в душу: он видит не разрушенный Карфаген, лишенный защиты богини, он видит себя самого в своем доме:

Я в Тбилиси, но в душе, как яблоня,
Плачет мой Орпири и сейчас,
Мальдороровой кричащей жабою
Кличет златоуст обоих нас.

Но беспечно спишь ты и не ведаешь,
Как я этими измучен бредами.

Орпири — поэтическая крепость Тициана Табидзе; «жаба Мальдорора», «орпирский златоуст» — голос его встревоженной совести. Бенедикт Лившиц в своем переводе воспроизводит поэтические детали. Пастернак в деталях небрежен:

Я в Тбилиси, но дерево всякое,
Травка, лужица — гонят отсюда,
И лягушки весенние, квакая,
Шлют мне весть с деревенского пруда...

Изящно и психологически убедительно переводит Пастернак тревожно-символические образы оригинала в почти бытовой аспект: Тициан действительно помнил всю жизнь деревенские лягушачьи хоры (милая лирическая деталь!); только в этом стихотворении нет никаких лягушек, — есть измучившая душу таинственная «жаба Мальдорора», зовущая вернуться к душевным истокам, сближающая трагический Карфаген и цветущие яблони детства («Как слезы глаз моих — они мне издали»), — об этих яблонях идет речь, а не о «всяком дереве». Тот же Пастернак увидел и понял этот образ в стихотворении «Не я пишу стихи...». А здесь он этим образом пренебрег, заменив плачущие белыми лепестками яблони безликим «деревом».

Борис Пастернак отказался от книжной условности поэтических образов-мифов; в своем переводе он воплотил лирическую непосредственность оригинала. Там, где Лившиц расширяет поэтический

«код» стихотворения, Пастернак предлагает читателю поэтический «результат»; удаленные от оригинала в деталях, переводы его точны в передаче скрытой лирической сути. Может быть, они оба по-своему правы, но Пастернак имеет в глазах читателя важное преимущество: его стихи — не отдают переводом; перевод Пастернака читается как «оригинал».

Стихи Тициана Табидзе почти у всех переводчиков сохраняют «свое лицо»; вместе с тем в них особенно ощутима «индивидуальность» каждого переводчика: выразительная точность и отрешенность от самого себя Бенедикта Лившица, властная самостоятельность Пастернака, мягкий лиризм Сергея Спасского, экспрессивность Павла Антокольского, замысловатость Леонида Мартынова, классичность Льва Озерова...

В переводах Николая Тихонова подчеркнуты детали, поэтическая живопись, лирическая сюжетность.

Вот в тихоновском переводе цветущие сады Орпири, — лейтмотив, характерный для творческой зрелости Табидзе, — воплощение поэтичности жизни, один из критериев истинности поэзии:

Лет двадцати этих будто и не было,
Малым ребенком лежу во дворе я,
Снится еще не забытое небо мне
Детства, что лаской меня еще греет...

В высях мучительных небо расплавлено,
Звезд ледяное сияние льется,
Строки пройдохством ныне приправлены, —
Сердце ж мое по-старинному бьется.

Чем это проще в стихах моих скажется,
Тем будет сердцу и радости больше,
Майской красы всей цветущей тяжестью
Бьет меня яблоня ночью хорошей.

Небо багровое, небо рогатое...
Ночью быть ветру — такое крылатое!

«Орпири», 1926

Как подчеркнута здесь внешняя, описательная выразительность знаковой картины, выявлен лирический подтекст, ретуширована в стиле тихоновской афористичности мысль.

Н. Заболоцкий писал Тициану Табидзе: «Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе



нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности стиха» (письмо от 2 августа 1936 года). Николай Заболоцкий избегал пунктуальности в тех случаях, когда буквальная передача смысла оригинала бывала в разладе с духом русского языка или когда буквальный пересказ отдельно взятого образа придавал ему совершенно иной, чем в грузинском оригинале, эмоциональный оттенок; или просто образ мог показаться непонятным или неловким в силу национальной специфики бытового и даже психологического характера.

Пастернак по-своему интерпретировал поэтический строй оригинала.

Возьмем один из лучших его переводов Тициана Табидзе:

Иду со стороны черкесской
По обмелевшему ущелью.
Неистойвой морского плеска
Сухого Терека веселье.

Перевернувшееся небо
Подперто льдами на Казбеке,
И рев во весь отвес расщепа,
И скал слезящиеся веки...

Здесь у Пастернака — пейзаж, эмоционально насыщенный, напряженный, но все же — просто пейзаж: в нем нет прямого выражения чувства. В оригинале — выражение чувств: «Иду со стороны черкесской, приближаюсь к Дарьялу. Обмелевший Терек — одна капля, но морем хлынул он сквозь мое сердце. Опрокинулось надо мной треснувшее небо, и на небо — другое небо, Казбека, очарованного Дарьялом. Глаза промывает Терек слез...».

Внешне — разное; но в сущности Пастернак передает именно это настроение, это состояние души, — он лишь убирает в подтекст открытое авторское «я», что ничуть не мешает ему скрытно присутствовать в самой напряженности эмоционального строя стихотворения, в точно переданном пейзаже, увиденном глазами до слез взволнованного человека.

«И смотрю я на алмазные пропасти. За мною идет мой Демон. Вижу гигантские плети мускулов и железный аркан на шее. Знаю, ждет меня эта судьба, и то знаю, что я этой судьбы достоин. Дорогая, я не болтун, и самоубийство — не бахвальство. Тянет меня, как грозу, невидимое дно этих пропастей. Знаю: ты женщина — как все женщины;

знаю, и это тебе сомнительным кажется. Я хочу быть отважным, как Мцыри — в ту страшную ночь, когда он терзал барса. Полон я тобою до самого сердца; я — поток несущихся слез. Хотел бы я упасть на этой дороге замертво, хотел бы я раскрыть здесь свое чистое сердце, — меня убили разбойники за Арагвой: ты в моей смерти не виновата».

Так у Табидзе.

Пастернак поэтически концентрирует эмоциональное, духовное содержание этого лирического сюжета, почти не заботясь о внешней похожести поэтической конструкции; он даже заведомо искажает ее, — мелькают вешками осколки поэтических образов оригинала:

...Я знаю, от кого ты мчишься,
Погони топот все звончее.
Плетями вздувшиеся мышцы...
Аркан заржавленный на шее...

Нет троп от демона и рока.
Любовь, мне это по заслугам.
Я не болтливая сорока,
Чтоб тешиться твоим испугом.

Ты — женщина, а кто из женщин
Не верит: трезвость не обманет;
Но будто был я с ней обвенчан —
Меня так эта пропасть тянет.

Хочу, чтоб знал отвагу Мцыри,
Терзая барса страшной ночью,
И для тебя лишь сердце ширю
И переполненные очи.

Свалиться замертво в горах бы,
Нагим до самой сердцевины.
Меня убили за Арагвой.
Ты в этой смерти неповинна.

Это — почти импровизация на тему, предложенную Тицианом Табидзе; и вместе с тем, это — поэтически верная интерпретация лирического смысла стихотворения.

И главное — это поэзия!

«Если бы у меня был другой характер, — говорил Борис Пастернак, — если бы жизнь по-другому сложилась, может быть, я задержался бы на этом и посвятил бы себя изучению языка. И, может быть, я бы “переперевел” эти свои переводы Тициана Табидзе, Чиковани и Яшвили в том смысле, что я передал бы то, чего не передал в той половин-

ной или четвертной передаче, которой я располагал. Но вы получили все-таки понятие о художниках. Я рассказал только их образы, метафоры и мысли, но можете себе представить, какова эта поэзия, если даже при таком ограниченном показе и то уже что-то получается. А если бы я, кроме того, мог передать какую-то внутреннюю сущность быта, которая только в языке передается, а без знания языка ее никогда не уловить, потому что никакой подстрочник не может ее дать; если бы я мог передать какие-то постижения языка, его полутени, какие-то резкие лучи, по нему пробегающие!» (из выступления Б. Пастернака на Первом Всесоюзном совещании переводчиков в 1936 году).

«Осенью 1928 года, около двух часов ночи, я с одной моей приятельницей поднимались по Чавчавадзевской улице, — вспоминает Симон Чиковани. — В самом начале подъема мы догнали Тициана Табидзе, возвращавшегося домой, по-видимому, с очередного дружеского ужина. Он был в приподнятом настроении и очень обрадовался нашей встрече.

В ту пору он был уже несколько тучноват и утерял свой прежний облик, но был очень своеобразен и резко выделялся своей наружностью на фоне тогдашнего Тбилиси. Большие голубые глаза с тяжелыми веками казались несколько выпуклыми, и какое-то незаконченное, детское выражение сквозило иногда на его полноватом лице. Чуть поредевшие волосы, подстриженные спереди легкой челкой, спадали на высокий лоб. Челкой и своей характерной полнотой он напоминал образы, запечатленные на картинах Ганса Гольбейна, и всем своим внешним обликом с первого взгляда походил на людей с полотен эпохи Ренессанса. Он любил прогуливаться по проспекту Руставели, беседуя с друзьями. Часто останавливался, уточняя узловые темы беседы. Или же шел один — широкими старательными шагами, словно шаг за шагом следуя за караваном верблюдов в пустыне. Посторонний прохожий не мог не задержать на нем своего взгляда. В петлице у него всегда красовалась алая гвоздика. Одной рукой он то и дело подбоченивался на ходу, в другой же, казалось, только для того и держал папиросу, чтобы дать возможность полюбоваться своими длинными, красивыми пальцами...

Таким мы увидели Тициана в ту ночь на подъеме улицы Чавчавадзе. То ли из симпатии к моей спутнице, то ли по внутреннему побуждению или из желания поразить меня поэт захотел во что бы то ни стало прочесть нам свои новые стихи. Мне и раньше приходилось слушать его, но его манера чтения не очень нравилась мне, я находил, что читает он слишком лихорадочно и немелодично. Казалось, от такого чте-

ния стихи делаются аритмичными, у строчек как бы стесняется дыхание. Его чтение походило на его походку, на то, как он носит свое тело, на его чуть развинченные движения. Но совсем иное открылось мне на подъеме Чавчавадзе.

Тициан сделал несколько шагов и остановился перед находившейся тогда на той же улице фотографией “Се-го-кю”; он повернулся лицом к проспекту Руставели и с увлечением начал читать свои новые стихи. Голос его звучал бархатисто-мягко, и весь его облик сделался удивительно красивым...

Тициан прочел стихи: “Иду со стороны черкесской...”, “Не я пишу стихи...”, “Илаяли”, “Ликование”, “Окроканы”, “Если ты — брат мне...”, “В Кахетии”. Он стал уставать, силы убывали, но не убывало обаяние поэта...

Моя спутница восторженно заговорила о стихах, но чтение ей не понравилось. Во мне же стихи и манера их чтения вызвали неожиданный восторг... Стихи светились внутренним ясным светом, словно они вобрали в себя и подчинили себе все житейские волнения; необходимые для выражения чувств ударения оказывались расставленными правильно, органически вытекали из напряженного духа стихов и настроений, бушующих в сердце поэта...

После этого вечера творчество Тициана Табидзе стало для меня близким, его поэтические устремления сделались понятными и ясными. С тех пор всегда, когда я читаю его стихи, слышится мне, как звучит живой голос Тициана, — словно продолжается тот далекий вечер.

В начале тридцатых годов, когда мы еще больше сблизились, Тициан не раз говорил мне, что если бы он не написал эти стихотворения, то не мог бы считать себя истинным поэтом, и что все написанное до них было лишь подготовкой к ним».



ВСЕМ СЕРДЦЕМ



За лавиной — лавина

*Гром, в вершину скалы громовой ударяя,
Оголяет скалу, и сверкает скала,
Что сама — как гроза и сама — как седая
Борода Шамиля, неприкрыто бела.*

*Есть ли где на земле теловек, чтобы просто
Перед этим бессмертьем сумел устоять?
Я единственный среди живущих апостол —
В час утери героизма, ушедшего вспять.*

*Я — как тетерев, хищником схваченный хмуρο, —
Нет, молиться не пробую и не нагну.
Я кольцо, что сорвали с кольгуги хевсура...
Сам священную я объявляю войну.*

*Я как бурею сбитая бурка лезгина,
Все суставы свои перебить не успел.
Но отважный, осмелившись, станет лавиной, —
Так и вы мне судите отвагу в удел.*

*Для того на гернила нам тратить озера,
А тонгайший хрусталь — на простое перо,
Если в гневе сердца согреваются скоро,
Если дрожь по суставам проходит порой.*

*За лавиной лавина, обвал за обвалом,
И скала на скалу — ни дорог, ни пути.
Небеса надо мною склонились устало,
Так что даже не жаль мне из жизни уйти.*

1932

Перевод Л. Озерова

Кто упрекнет меня, если по той же дороге,
Вслед за тобой, современник великий, бреду?
Чем я владею сегодня? Что завтра мне надо?
Я беззаботен и гол, словно склон Шавнабада.
Думаю я об одном средь полуночных троп:
Близка Марабда, и холмы Крцанисские рядом,
Грабить тут вволю случалось лезгинским отрядам;
Тут Нарикала стоит, как простреленный гроб...

Перевод С. Спасского

Он в этом весь — Тициан Табидзе — поэт, остающийся после всех споров с собою прежним, и все же — с собою спорящий, часто собой недовольный; прощаясь с прошлым и с прежним собою, он это прошлое все же несет в себе.

<Поэт давно понял всю необходимость происходящих в поэзии перемен. Мир вокруг него достаточно изменился. Тициан Табидзе искренне приветствовал строительство новой, социалистической Грузии. И ничто ему творчески не мешало, кроме некоторой внутренней инерции. Эта инерция возникла, похоже, в самой стихии стиха; в том, что он поэтически обозначал словами: «лавина», «обвал снегов», — чему он себяверял, как и прежде. Позднее, в тридцатые годы, поэт отречется от «первородства вдохновения»; в автобиографии скажет: «Я давно не защищаю этот тезис, но, может быть, в этом ожидании “наития” я много раз пропускал настоящее вдохновение, которое дается в результате упорного труда и чувства действительности».

Но пока ему еще трудно с собою сладить. Он еще ощущает стихию поэтического вдохновения как природу — инертную, сопротивляющуюся.

Распыляется, гибнет Уджарма. Но свой
Облик все ж сохраняют упорные глыбы.
О, хотя бы до нашей доски гробовой
Вы, стихи о любви, сохраниться могли бы!..

Уджарма — древняя крепость в Кахетии, построенная в V веке Вахтангом I Горгасланом, основателем Тбилиси. А само стихотворение называется «В Гомборах». Гомборский лесистый хребет — одно из самых восхитительных по красоте своей мест в Грузии.

Грузинская поэзия прошлого, перед которой он готов преклонить колена, поэзия Гурамишвили и Важа Пшавела, стихи Акакия Церетели, ставшие народными песнями, — для него как эта горная гряда. Высота недостижимая. Но реальная, единственно возможная мера вещей в поэзии. Или, может быть, точка отсчета. Он с ними себя не равняет, и все же он помнит о них.



Да, умел себя высказать прежде ашуг!
Речь должна быть сейчас у поэтов иною.

Вся поэзия как бы строится заново, но не обо всей поэзии сейчас идет разговор. Речь о том, что сдвинулась собственная «точка отсчета» поэта; прежние «символы» прекратились в памятные детали, не больше:

Нина, и Суламифь, и Мелита...
Чиста
Прелесь склонов Кахетии. Будто смиряя
Нрав свой, женщиной сделался тигр...

Это в последний, может быть, раз возникают и гаснут в лирике Тициана Табидзе далекие лейтмотивы — знакомые нам женские имена: изначальный лирический символ Кахетии — Нина, Красная девушка, Коломбина и... мелькнувшая метеором Мелита — «Звездная гончая, ярость мадонны, Кахетии сломанная корона». За ними радугой вспыхивает идущее с тех времен:

...Иль с моста
Из волос — нам открылось сияние рая?

Неожиданный и мгновенный отблеск — в памяти. Его закрывает сегодняшнее спокойное созерцание:

Ночь Кахетии сладостнее молока
Материнского. Негу колеблет Иори.
Над Гомборами всплыла луна. И рука
Горгаслана мечом ее сдвинула вскоре.

Перевод С. Спасского

Конец двадцатых годов — это поиски нового себя. Борьба противоречивых начал. Все возрастающий интерес к современности, к «индустриальному вихрю», к строительству. И — вспышка «стихийного» вдохновения — «уход» в природу, преклонение перед нею. Этого обращения к природе на рубеже двадцатых и тридцатых годов нельзя не заметить.

Это не только момент творческого поиска, перехода к новому, но и своего рода реакция, вызванная поспешным и часто поверхностным перемещением поэзии «на индустриальные рельсы».

«Этот год во мне и во всей нашей Группе был поворот к пантеизму, но как это закрепить, мы не знаем и, вероятно, не сможем», — писал в апреле 1929 года А. Белому Паоло Яшвили, в творчестве которого этот перелом намечился раньше.

У Паоло Яшвили этот возросший вдруг интерес к природе напоминает внезапный душевный порыв.



Для Тициана Табидзе «пантеизм» — нечто большее. Ведь не случайно Николай Заболоцкий, глубже и сильнее многих осознавший философскую глубину взаимосвязи человека с природой, писал Тициану в связи с выходом его книги в 1935 году:

«В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое — и это для нашего времени явление редчайшее. Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, я не встречал еще ни у кого. Оно, конечно, есть результат долгой поэтической и душевной работы».>

Его поэзия — естественная, как само дыхание жизни, как радость существования. Это — беспредельная щедрость открытой миру души:

Если ты — брат мне, то спой мне за чашею,
И пред тобой на колени я грянусь.
Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь...

Перевод Б. Пастернака

Эмоциональное, пронизанное ощущением поэтичности мира искусство Тициана Табидзе немислимо без признания действенной роли стиха и гражданской ответственности поэта.

Это приобретает особый смысл в последнее десятилетие его жизни (1927—1937): заключительный, высший, несмотря на отдельные творческие неудачи, этап его творчества.

К этому времени окончательно сформировались принципы социалистического искусства.

Начиная с 1927—1928 годов, в творчестве Тициана Табидзе совершается знаменательный сдвиг — в направлении, общем для всей советской литературы. Магистральной темой поэзии становится строительство социализма, преобразование страны, — для Тициана Табидзе это не отвлеченное представление:

«Когда говорят, что поэты замыкались в своей среде, — объяснял он на встрече с писателями Москвы в 1937 году, — то применительно к Москве это иное дело, а у нас маленькая страна. Мы видим, что наша страна, прославленная в греческих мифах как золотое руно, это страна малярийного вырождения. А Советская власть принесла с собой перерождение. Страна начала процветать, болота осушаться. Там, где только квакали лягушки, там наступает теперь совершенно новая жизнь, и эта жизнь, конечно, влечет нас».

Свою новую литературную позицию он отчетливо декларировал в ряде стихотворений, объединенных в цикл (иногда это получало название «поэмы») «Всем сердцем». «Поэма», состоящая из семи самостоятельных стихотворений, была попыткой (увы, довольно наивной) уйти подальше от поэтического наследия «буржуазного прошлого». Тициан Табидзе относился достаточно серьезно к тем требованиям, которые все более настойчиво предъявляла общественность к поэзии:

Когда про наше время да про нас
Не будешь петь —
Тогда, себе на горе,
Ты душу живу высушишь до дна...

Он истово жаждал перестройки; но, вместе с тем, он чувствовал слабость многих — и своих в том числе — произведений о новой жизни; он искренне пытался понять, почему беден стих у «новых» поэтов, почему «блуден» их «словесный ковер»? Почему духовное убожество становится в поэзии подобно глушащему живые посевы бурьяну? Зачем поносные речи в адрес друг друга, мрачные проработки? Он, в сущности, не очень понимал, чем старая поэзия была плоха; но все же он был за то, чтобы поэт обращался ко всему народу — писал о нуждах его и заботах:

Да будет стыдно тем, кто бестолково
Высушивал свой стих из года в год.
Кто пожалел бы истинное слово
Для наших братьев,
Верно и сурово
Сложивших головы за свой народ...

Перевод Л. Озерова

Декларируя новые поэтические принципы, Табидзе, в сущности, не хотел и не мог отказаться от пройденного им пути; он был убежден, что и раньше жил жизнью своего народа и писал о нем (критика думала иначе, критика отвергала все, сделанное им прежде, не вступая в споры и ничего не доказывая). Тициан готов был в чем-то своим критикам уступить — перестроиться. Он соглашался признать, что уже довольно плакать о прошлом, и даже ссылаясь при этом на авторитет Ильи Чавчавадзе («Что пользы плакать над давно забытым, жестокой дланью времени убитым? Что проку над былой грустить бедою? Пора идти нам за иной звездой...» — писал И. Чавчавадзе в стихотворении «Грузинке-матери», — его цитировал в своих стихах Тициан). Поэт клялся обратить взор к будущему, воспеть настоящее. Не только в стихах, но и в своих статьях на рубеже 1930 года Тициан Табидзе с полной

искренностью провозглашал новое, обращенное в будущее понимание истории: «В наше время любовь к Родине означает ее обретение, ее созидание руками народа... — писал он в статье “Давид Гурамишвили и Важа Пшавела”. — Задача поэзии не в романтическом оплакивании прошлого; она должна воспевать будущее, счастливое настоящее и ту духовную гармонию, которую утверждают на земле свободный труд и класс трудящихся. Сейчас нам куда более понятна и сама история, ибо диалектический метод яснее освещает ее трагедию».

В заключительном стихотворении цикла «Всем сердцем» поэт ставит крест на самой, так сказать, национально-исторической проблематике, которая многие годы его волновала:

Рабы защиты ищут от войны,
Шамиль летит сквозь ветер,
И картинно,
Как грифы, посреди чужой страны
Цари России восседают чинно.
Страх всю страну сковал...

Тициан Табидзе готов признать, что это укрылось за туманной пеленой минувших лет:

Мы снова родились.
Пускай поэты
Всем сердцем выскажутся — вложим меч
Обратно в ножны.
Стоит приналець —
И край наш будет садом...
Цели этой
Чудесней нет у Грузии теперь.
Трудом откроем в будущее дверь!

Перевод Л. Озерова

И сам он добросовестно «перестраивался»: написал «Стихи к посевной, сказанные по радио», «Апрельский сев», «Когда ласточка лепит гнездо» — гимн весне, «синему небу, где реют знамена», «всем пионерам, шагающим с песней», «гудкам на заводах», «тачке и книге», «ладоням горячим, в труде прикипевшим к острой мотыге», «водам и недрам — морю и шахтам», «новым каналам в пустыне Самгори, пески напоившим, и осушенным мегрельским болотам», «на солнце сомлевшим хевсурским коровам и буйволам жирным, табачным посевам и пальмам батумским над берегом мирным», — стих вмещает всё; однако, лишенный привычного накала, «сильно драматизированной

интонации», личного ощущения жизни, он вянет, мелеет, теряет запах и вкус; поэзию теснят схематизм, перечислительность, описательность.

У поэта словно бы отняли его оружие — он беззащитен. Беспомощно звучат его новые стихи об Орпире:

Мне снятся юные года,
Когда апрель цветеньем яблонь
Деревню радовал, когда
Врезала землю борозда
По целинам, от влаги дряблым...

Но что же делать? Каждый год
Одна нужда, одни печали.
И в сердце дымно от забот,
И жизнь мрачна, как тот завод,
Где известь белую сжигали...

Это начало стихотворения «Апрельский сев» (перевод Б. Брика). Знакомые образы. Где же лирический пафос, придававший им жизнь? Воплощение лирической переполненности души — ливнем опадающие лепестки апрельских яблонь, — что с ними стало? — «Апрель цветеньем яблонь деревню радовал!» — Личное, из души поэта рвущееся переживание роздано поровну всем жителям деревни. А воплощение жгучей душевной смуты — известковая печь, похожая на челюсть мифического дракона, стерегущего золотое руно, — теперь этот образ должен символизировать мрачные думы крестьянина, одолеваемого нищетой, батрака, за куль муки работающего на княжеской пашне. Эти образы, прежде передававшие гамму личных человеческих переживаний, теперь призваны выразить социальные контрасты старой имеретинской деревни.

Скорбному прошлому противостоит многообещающее будущее:

Не затыкай ушей, мой друг,
Не бойся грома индустрии!
Где лишь царапал землю плуг —
Там рвы теперь, и через луг
Нужны мосты перекидные...

Это всего лишь переложение фактов в стихи: рвы на лугу — начало мелиоративных работ!

Стихи из цикла «Всем сердцем» были одобрительно встречены критикой и общественностью: отказываясь от «ненужного» субъективизма, поэт пытался уйти от «индивидуалистической лирики».

Тициан Табидзе не отрекался от «субъективной» лирики; он временно отказался от нее в пользу «объективной», описательной поэзии.

Это всего заметнее на приведенных выше «лейтмотивных» образах, которые, впрочем, для стихов этого рода нехарактерны: отказываясь от субъективизма в лирике, Тициан Табидзе, по существу, терял и присущую ему «лейтмотивность». Мир природы — остался; он стал детальнее, как будто приблизился. Появились человеческие образы, людские судьбы, фольклорные сюжеты («Тапараванская легенда»); иссякала при этом человечность стиха, его внутренняя насыщенность, душевный пафос, — все то, что придавало стихам «необщее выраженье»...

Тициан Табидзе искал и находил боковые пути, ведущие к живой поэзии (и к себе самому).

Он писал о детстве, вспоминал полузабытые эпизоды давних лет, ребяческие фантазии и мечты.

Он объявлял «священную войну» поэтической скорописи, ремесленнической готовности в любой момент «откликнуться» стихом на текущий запрос повседневности. Он хотел, чтобы стихи «зрели» в душе и рождались как неотлагательная потребность:

Не торопи, читатель, — погоди —
В те дни, как сердцу моему придется
От боли сжаться у меня в груди,
Оно само стихами отзовется.

Перевод Б. Пастернака

Стихи оживали.

...Поэт видел себя — мальчиком — в родной деревне; и Орпири представлялся ему: возникали черты знакомого быта («Лежу в Орпири мальчиком в жару...», «Апрель в Орпири», «Колхида ждет нового Орфея», «Привозит дилижанс...»). Стихи рассказывали о жизни.

Высокий пафос возрождался в гимнах природе родного края («Стихи о Мухранской долине»). Знакомые лирические образы («поэзии — обвала», «Терека слез») обретали характер объективно описательный, внешний, — превращались в сложные поэтические сравнения.

Трагедия поэта стала трагедией «мúки слова». Все чаще он говорил о трагической невыразимости своей любви к родине, о невозможности передать наполняющее душу чувство словами.

«Предчувствие стиха», «преддверье поэмы» — вот те «разбойники за Арагвой», которые теперь «убивали» поэта:

Напали, ножом полоснули по горлу
В горах, на скрещенье судеб и стихов,
А там, где скала как бы руку простерла,
Мерани пронесся в мельканьи подков.

Перевод Б. Пастернака

Мерани — воспетый Бараташвили крылатый конь, символ поэзии.



Стихи сохраняли живой поэтический темперамент и пристальность взгляда, характерную для Тициана Табидзе.

...Как будто поэт оглянулся вокруг и увидел: велика и прекрасна родная страна.

Он видит многообразный лик Родины: Палеостомское озеро, Поти с его огнями, рионскую топь и загадки Колхиды. Далекое прошлое и сегодняшние молодые плантации цитрусовых и чая. Снежные вершины. Леса на склонах гор. Виноградники Цинандали. Он слышит сванскую хоровую песню, вспоминает сказочных женщин Грузии, отшельников и поэтов, — он зовет их в свидетели и соучастники: «песню мне выковать помогли бы!». Одному не под силу всё это воспеть. Себя он видит издали — восторженно-робким прохожим, почти менестрелем:

Слушая времени речь грозовую,
С бедной волынкой на праздник иду...

Стихотворение называется «Родина». Оно — торжество новой поэтики. Тихонов, частый гость Грузии и мастер поэтического очерка, выразительной зарисовки, чьи стихи о Грузии имели дружный успех, это стихотворение выделил особо. В своем выступлении на вечере Тициана Табидзе в Ленинграде, в марте 1937 года, Николай Тихонов говорил о такой важной особенности грузинских поэтов, как умение видеть не только свою большую Родину вообще, но и «маленькую родину», — он имел в виду «ощущение местности», где поэт родился, умение почувствовать и воспеть каждый город, селение, ручеек даже...

Эхо за Ушбой и за Ужгулом,
Синь ледников над могучими сванами —
Песне моей откликаются гулом,
Вышли к столу домочадцами зваными.

Перевод П. Антокольского

Тихонову особенно понравились эти «домочадцы всей страны». Для Тициана это — новое ощущение, значительно расширившее диапазон его лирики: ощущение всей страны в целом и конкретно каждой ее части, каждой местности.

Тогда же он задумал написать поэму о восемнадцатом годе в Тбилиси; живо припомнилась мокрая, снежная, студеная зима, темнота вечерами, холод и постоянно испытываемое, привычное чувство голода, преследующий мучительный запах горячего хлеба, сытые, наглые гвардейцы, торгаши-спекулянты, опереточные войска, политики, фелъетонщики; злободневные куплеты в духанах о меньшевистском правительстве: «Ах, люблю я Нари, Нари я люблю, дорогого Наримана

очень я люблю!»). Нариман — знаменитейший спекулянт. Позорное ледяное безвременье. Слухи о расстрелах большевиков. Проклятия, проносимые шепотом и с оглядкой.

Бездомность...

Нам, безвестным поэтам,
В Тбилиси ночном
Где приют обрести?
Если где и открыт
Нам кредит —
Это лишь в «Аргентине» одной.
«Буэнос-Айрес».
Свет брызжет сквозь ставень окна;
Мы зайдем — ведь хозяин не спит допоздна,
И не рано зайти никогда.
Дремлет он, дожидается,
Рад нам всегда —
Посетителям верным своим.
Александро,
Бедняга...
Как долго по странам далеким
Он бродил,
Но и там, на чужбине,
Хлебосольства
Грузинского
Не позабыл.
Кахетинского даст,
На углях
Поджарит колбас, —
Это весь его ныне
Актив —
В подвальной его «Аргентине».
Даст и на дом
Сверток с едой,
Если надо...

Перевод В. Державина

Почему-то острее всего помнился этот смешной старик, мальчишкой уехавший в заморскую Аргентину, разбогатевший там; не выдержал — возвратился, в Тифлисе открыл бакалейную лавку «Буэнос-Айрес», называл себя по-испански — «Александро». В тот грозный, голодный год он страдал от того, что не может ничем облегчить горожанам жизнь; строил планы, предлагал меньшевистскому министерству иностранных дел послать его в Аргентину для закупки аргентинского хлеба,

мян: «новоявленный Ной» проклинает «нового Хама — седого, как сам он, председателя правительства Армении». «Война» — кровавый петушиный бой. И над тем нелепым побоищем — британский лев, придавивший «петухов» своей бархатной дипломатической лапой.

Это не смешно:

Над берегом Храми
поднимался кровавый туман,
где в преступной резне
полегли головами
ополченья грузин и армян.

Перевод В. Державина

Этот «балканизированный Кавказ» — итог дальновидной политики империалистов...

«Товарищи, нужно вспомнить балканизированный Кавказ и македонские методы разрешения национального вопроса, — говорил Тициан Табидзе на первом Всесоюзном съезде советских писателей. — Нужно вспомнить разжигание племенной вражды и ненависти, братоубийственные войны на Кавказе <...> представить ущелья с гниющими человеческими трупами, тысячи сирот и беженцев во время резни...»

Поэма «На фронтах» — подступ к эпической и драматической теме. Она соединяет реальные пропорции и гротеск; временами сарказм сменяет грустная ирония. В бой идут опереточные «гвардейцы». И ничего — как дети — не понимающие хевсуры. И солдаты — под негрозинский, нелепый, российской солдатчиной пахнущий перепляс: «Журавей, журавей, пташечка!» по-русски — в грузинском тексте.

У него много замыслов. Кроме тех двух, в 1928 году Тициан Табидзе работает еще над несколькими поэмами: о возрождении Колхиды («Рион-порт») и о Роальде Амундсене. Поэма о знаменитом покорителе Арктики лирична, насыщена детскими воспоминаниями и мечтами о дальних путешествиях, о затерявшихся в снегах Севера героях, о затонувшей Атлантиде, о невиданных северных белых оленях — живая лирическая стихия окружает героя, — воплощение мужества Человека, чье имя стоило б дать самой близкой к Солнцу звезде.

Тогда же задумана оставшаяся в отрывках большая поэма о пробуждающемся зарубежном Востоке — «Восстание в пустыне».

Тициан Табидзе писал А. Белому 3 мая 1930 года:

«...Я, должно быть, буду в Москве в мае, не знаю еще, в каких числах, — я написал для кино сценарий “Новая Колхида”, о субтропической культуре. Ставит картину режиссер Нина Гогоберидзе... В Москве

нам нужно оформить сценарий и найти оператора. Кроме того, там будут гастролы грузинского драмтеатра, — и к этому имею некоторое отношение...»

Табидзе в эти годы нередко выступает в роли переводчика: переводит русскую и европейскую классику на грузинский язык.

Его обращение к документальному кино — не случайно.

«Новая Колхида» — большая творческая проблема для Тициана Табидзе.

Написанная в мае 1928 года поэма «Рион-порт» («первая моя большая советская вещь» — сказано в автобиографии) — начало нескончаемых поисков художественного воплощения той грандиозной эпопеи, что на глазах преобразовывала жизнь прежде вырождавшейся, малярийной Колхиды, его родины, — некогда, в легендарные времена судоходства на Рионе (отсюда название поэмы «Рион-порт»), богатой и щедрой.

От мифа о Медее начинается он и от свидетельства Гиппократата, который первый описал в ученом трактате трагедию этого края, нарисовал картину малярийного вырождения. Тициан это свидетельство цитирует неоднократно, он даже приводит этот отрывок в своей автобиографии: «Страна, по которой протекает река Фазис, болотистая, знойная, влажная и покрыта лесом. Круглый год здесь выпадают дожди. Местные жители строят из бревен или из тростника жилища в болоте — в воде. Выходят из дому тогда, когда отправляются в город или на базар... Плоды этой страны никогда не созревают. Густой пар от реки вечно окутывает край, — и этому нужно приписать, что местные жители отличаются от других: ростом они высоки, но настолько тучны, что нельзя различить ни суставов, ни вен. Кожа желто-зеленого цвета, точно больны они желтухой...». С этого он начинает поэму, в которой перемежаются воспоминания детства и мечты, которые вот-вот готовы сбыться:

Мы затопчем следы драконьи,
Мы развеем туман седой,
И моторов стальные кони
Запоют над ржавой водой.

Перевод П. Антокольского

Сценарий «Новая Колхида», по существу, повторяет мотивы поэмы. Сначала — аргонавты: «Первый поход греческих завоевателей на Колхиду для добычи Золотого Руна», — «здесь нужно смонтировать этот первый поход древнейших империалистов, привлекаемых легендой о золоте, как империалистов наших дней привлекает запах нефти». Другой пассаж: «Свидетельство знаменитого Гиппократата, отца античной да и вообще всякой медицины», — «у него описан как раз тот уча-

сток Колхиды, который предположен для “агро-индустриального гиганта комбината «Новая Колхида»”, — из «проекта сценария».

Описания, буквально повторяющие некоторые образы поэмы: «Даются отдельные кадры приступов болезни... Можно показать целый ряд деревень, запустевших и вымерших от малярии... Цицхи, Коснати, Орпира, Дапнор... Можно показать, как лечили тропическую малярию: освящение воды священником, клир читает псалтырь, водой окропляют больного, — все это показывается в комическом жанре. Можно показать домашнюю обстановку, антисанитарное состояние очага и распространение болезни. Характерно показать: одеяла, почти прогнившие, в лохмотьях — испаряется пот — сушатся на заборах; колоритнее всего показать “примитивные медикаменты” — как голову лихорадочного повязывают свежими зелеными листьями капусты...» — все это Тициан помнил с детства:

Вот груды одеял в заплатах,
И пар от них струится в зной.
И от лохмотий тех проклятых —
Смельчак теряется иной.

Вот, обвязав листом капусты
Горячкой пышущие лбы,
Бредут детишки, смотрят грустно.
Их бьет озноб, они слабы...

Вторая часть сценария демонстрирует гигантские перспективы курортного строительства, коллективизацию, новые условия труда, тракторные колонны, шелкоочистительную фабрику, картины промышленного и экономического развития тех некогда гиблых мест.

Прежде: белые цветы и плывущий туман — болота; лягушачьи концерты да тучи вьющихся над землей комаров.

В будущем: на той же земле — пальмы, кипарисы, магнолии, эвкалипты, мандарины, чай, пляжи и дома отдыха, санатории...

Колонны рабочих — босые, в засученных по колено штанах. Раскидывают палатки, раскладывают карты на столах, роют лопатами, сгребают в кучи папоротники и жгут, взрывают скалы. Горит земля. Выкорчевываются пни. Там, где были покрытые лесом горы, возникают плантации чая. Трактор пашет землю...

Вслед за сценарием Тициан Табидзе пишет книгу очерков о новой Колхиде. Он не просто пишет книгу: он долго и основательно изучает возможности преобразования края, читает ученые труды о цитрусовых культурах, о чае, об осушении болот. Он даже убеждает свою жену поступить в сельскохозяйственный институт...

Книга о Новой Колхиде — «субтропическая поэма».

«Я с детства задумывал поэму о всех сверстниках юности, — пишет он. — По сельским закоулкам, со двора во двор проследил бы я их долю и бездолие, необычные их приключения. Они раскрыли мне аромат сказки, научили читать стихи об Арсене и плавать в Рионе... За десять лет многое повернулось по-новому; по-иному сложились план книги и манера письма. Личные переживания потеряли интерес, а сельская романтика стусевалась...»

Книга очерков о Новой Колхиде — своего рода «проект» книги, которая в жизни поэта могла бы, кажется, стать «Главной книгой», потому что именно в ней скрестились лучи детских воспоминаний и мечты молодости, личные переживания и надежды на возрождение родного края, судьбы людские и бывшие споры с друзьями. Написанное — конспект; многое в нем лишь названо. Это — рассказ о книге, какой бы хотел ее видеть автор:

«Естественно, что эта книга не претендует стать летописью всех крупных достижений, вместить их целиком, — поясняет он. —

А все же я прежде всего обращаюсь к атакующему классу, говоря всем сердцем,
во весь голос:

только враг может смотреть со стороны на такую сверхчеловеческую эпопею, как стройка социалистической страны.

Нет разницы между мной и моим соседом. Период социализма уравнил ударника-рабочего и писателя.

Поэзию я начал “Городами Халдеи”, обоняя запах дыма и копоти сожженных городов и погасших культур.

Сейчас я вижу социалистические города восходящего рабочего класса...»

Он чувствовал грандиозность происходящего:

«Во время поездки на автомобиле из Сухуми в Гагры, в Новом Афоне нас застала ночь. Дорога в лесу извивалась, точно лестница под Алавердский купол. Фары автомобиля еле освещали среднюю часть огромных стволов. Внезапно нам в глаза полыхнул громадный костер. Бзыбский лес был залит огнем, и полгоры было в пламени. Наш шофер заметил, что такой пожар длится здесь месяцами.

Это был перуанский ландшафт Гарсиа Вентура Кальдерона.

Огонь истреблял лес, и дым кольцами облаков стоял в небе.

По дороге из Батуми в Чакву, в Цихис-Дзири (бывший удел гурийских владетелей, сейчас под чайными плантациями) нас поразили сильные взрывы динамита... И здесь шофер-аджарец объяснил:

— Эти поля готовят к посадке чая. Из земли динамитом выкорчевывают деревья.

И правда, мины вырывали корни спаленных деревьев, и все поле было в обгорелых пнях.

Эта притча здесь к тому, что:

- пожар и огонь Бзыбского леса должен очистить душу,
- как цихисдзирские пни, надо вырыть и выжечь остатки мрачного прошлого, —

и современный писатель сам станет атакующим в походе за социалистическую культуру».

Нет, он не мог *тогда* написать свою «Главную книгу», в которой «былое» прошло бы сквозь сито «дум», оставляя чистое золото правды. «Перуанские ландшафты» горящего Бзыбского леса поразили его воображение, но облысевших аджарских гор вокруг процветающих чайных плантаций он не увидел. Он узнал, как выкорчевывают пни «пережитков» в сознании, как выжигают следы прошлого, «атакующие» в походе за социалистическую культуру, но результатов — не видел.

«Главную книгу» он смог бы написать четверть века спустя, если прожил бы эти четверть века.

В книге нашла бы место и «диалектика мифа» — размышление о культурном прошлом Колхиды: о древней истории, уходящей корнями в греческий миф; об античных городах, следы которых были найдены в недавнюю пору, — о загадочной Диоскурии, точное местоположение которой тогда еще не было известно.

«Прочтите Гомера, займитесь сказанием об аргонавтах, о Фриксе и Гелле, раскройте Геродота на мифе о похищении Европы и прочее, и вам не раз придет в голову догадка и даже уверенность, что греки более или менее обязаны своим просвещением тем народам, кого они звали варварами. Сам царь и народ, встретивший аргонавтов — тирийцев, троянцев и прочих, были куда просвещеннее пришлых искателей приключений и воинов, явившихся их ограбить, вопреки обычаям гостеприимства... Читая в “Одиссее” похождения Улисса, легко узнать Колхиду и ее описание. Да и кто не догадается, что речь идет о Колхиде — широкая река, куда вошли корабли Улисса, необъятный лес по берегу моря, кишасший оленями, и дворец — это ведь нынешнее Накалакеви. Вино и мед здесь замечательны, а женщины работают за ткацким станком, как во времена Гомера», — это из той, будущей, так и не написанной книги.

И рассуждениям о Медее в ней нашлось бы место, и о двойственной природе Колхиды — источник богатства и благоденствия, но и губительна — одновременно — несет в себе свою гибель: «Медея — сама Колхида, красивейшая и гордая. Она всегда проводит задуманное, но этой природе с начала же противопоставлена другая, которая борется с первой и побеждает. Отрава Медеи — испарения колхидской малярии, озноб тропической лихорадки. Здесь наперед дана гибель детей Медеи... Кое-кто из субтропических исследователей в отраве Медеи

ищет зародыш культуры лекарственных растений в древней Колхиде. Но никому не приходило в голову, что сама Медея с ее роковой участью — лицо колхидской природы», — лишь поэт мог увидеть это.

В той ненаписанной книге нашлось бы место и мыслям об исследованиях неумолимого знатока античной филологии Иннокентия Анненского, и диагнозу Гиппократата, и размышлениям европейских писателей о народе, населяющем черноморское побережье Кавказа. Обрели бы в ней новый интерес и неактуальные в начале 30-х годов «личные переживания», и «романтика» деревенского детства:

«Молодуха в следующее после свадьбы воскресенье выносит одеяло проветривать: хотя приданое сшито недавно, однако уже пропиталось грязью и потом. Запах вокруг — как будто из церквей всей земли вынесли одеянья священников и парчу похоронную и перевесили через плетни и резные балконы...

Озябшая квочка с посинелой шеей собрала своих взъерошенных цыплят, в отчаяньи смотрит на них, кудахчет — день рождения свой проклинает.

Длинноногий аист подхватывает когтями дохлую рыбу и поднимается с плавней. Кружит, рассекая огромными крыльями мутно-зеленое небо...

Деревенские мальчишки охотятся на лягушек. Подстерегают в канавах, вдавливают камнями и палками в грязь; но каждая смерть созывает тысячи новых жизней — петь вырожденье; и, притаившись в розгах, они поют...

Тень малярии ходит за человеком...»

Поэт вернулся в Орпири, «чтобы создать эпопею плетней» и призвать своих сверстников в помощь новой жизни — культуре социализма: его самого эта тема «ударилась в сердце» — решил: «сам я ударником буду!».

Осенью 1934 года, вернувшись с Черноморского побережья после долгой поездки по Колхиде и отдыха в Махинджаури, Тициан писал В. В. Гольцеву в Москву: «За время отдыха я много передумал, перестрадал, в общем, готов на большую работу. Я весь полон спокойствия и уверенности... Постепенно хочу накопить стихи для новой книги и приступить к “суровой прозе”, в общем, готов начать новую жизнь...».

В характере Тициана Табидзе было все, чтобы «главная книга» возникла: широта мысли и самоуглубленность, беспредельная искренность и подлинная заинтересованность происходящим в стране и в мире, историзм сознания и понимание диалектической природы всего сущего и, наконец, та безмерная стихия лиризма, которая, достигнув предела в его поэтическом творчестве, уже искала выхода в прозе и вот-вот обещала прорваться могучим потоком.

«Эту неделю мы провели в Армении, — пишет он 16 июня 1929 года А. Белому, — ездил туда целая делегация грузинских писателей. Приняли нас изумительно. Дорога с Караклиса через Дилижан и озеро Севан на Эривань очаровала, особенно поразило Севанское озеро своим спокойным величием и лазурью... Поразил нас также Арарат и потом Эчмиадзин, а также развалины великолепного Звартноца; и природа, и старая культура очень роднит Армению с Грузией, чувствуется общность исторической судьбы. Мне даже казалось, что эти страны — близнецы, и больно было сознаться, что я здесь первый раз, — меня, признаться, потянуло после Ваших слов.

Познакомился с Мартиросом Сарьяном...»

Отчет об увиденном: поэтический цикл «В Армении» и очерк «Грузинские писатели в Армении».

В своем поэтическом отчете Тициан не ограничивается описанием природы и предстоящих преобразований: для него Армения, кроме всего, еще и «страна Наири» — легендарная Халдея, и — что поделать! — он видит среди древних развалин халдейские клинописи, слышит древнейшие, времен Вавилона, преданья о Гильгамеше, вспоминает Ветхий Завет и юность свою — поиски древней прародины. Для него все это живо — рядом с опытом пятилетки. Первое стихотворение цикла «В Армении» так и называется «Камни говорят». Ему звучат библейские пейзажи Армении:

Пусть грянет оползень, мир взметнется,
Ливнями ливней, потопом обложен,
Клинопись запечатлеет поэму,
И Гильгамеш спасется все же.

Перевод Н. Тихонова

В чужом краю Тициан ищет и находит свое, близкое: будь то «клинопись, выбитая ассирийцем», стихи Чаренца, живопись Сарьяна, поэма Исаакяна «Абул-ала-Маари», которую он возьмется перевести (пользуясь русским переводом Валерия Брюсова); он вспоминает мечты Ованеса Туманяна о дружбе народов и «Пир возле стен Еревана» грузинского поэта-романтика, офицера русской армии Григола Орбелиани, который здесь, в Армении, сражался с турками. И даже грузинская народная песня ему вспоминается — про то, как «поеду за солью на Агзевань я, привезу глыбу соляную...». Армянское небо, поездка с писателями на Алагез (Агзевань — по-грузински) заставили вспомнить эту песню и голос певшего ее Вано Сараджишвили.

Очерк о поездке грузинских писателей в Армению — в тоне описательном, деловом, иногда почти дневниковом. Это путешествие не

только в другую страну — в другую эпоху. Тициан умел увидеть и в пегоне овец на горные пастбища нечто подобное древнему переселению народов или шествию татарской орды: крытые коврами фургоны, набитые грязными постелями, прокопченными чанами, чумазыми ребятами; вперед запряженного волами или буйволами фургона — татарин с длинным кинжалом или женщина, «увидев которую, даже храбрец побледнеет»; при виде автомобиля испуганные волы ошалело сворачивают к обрыву, и, зная крутой нрав погонщиков, шофер прижимает машину к самому краю дороги, так что «пассажиры едва не теряют сознание от страха»; за фургонами бредут громаднейшие овчарки: залают — эхо гремит в горах. «Автомобиль — стоит ему только выбраться на дорогу — мчит, позабыв обо всем на свете». Чем ближе к Еревану, тем движение оживленней: «Такая пыль вокруг — в кабине машины с трудом различаешь соседа». Дорога — старая; и Ереван — «уездный город старой провинции»; новый Ереван пока еще в планах, в замыслах архитекторов...

Но и романтики не чужд этот сдержанный рассказ о поездке в Армению: это — лирика неожиданных и подчас непонятных переживаний, труднообъяснимых ассоциаций:

«...Я увидел вдаль караван верблюдов, и мое сердце наполнила безграничная нежность. Сам не знаю, отчего я так сильно привязан к верблюдам. Никогда я не сопровождал верблюжьего каравана, никогда не был путником в знойной пустыне. А недавно возле Кумиси мне встретился караван, и я так обрадовался, что, казалось, — сердце сейчас перестанет биться...»

Как рассказать о Севане?

«Озеро лежит в чаше, окаймленной высокими горами, словно упавшая с неба лазурь. Кажется, что это мираж, обманчивая картина, и перед тобой лишь опрокинутое небо; иначе — как удерживается в горах эта огромная чаша, и откуда в ней волны такого цвета, что передать его не может даже сам Мартирос Сарьян? А Мартирос Сарьян для Армении то же, что Врубель для Кавказа или Пиросмани для Грузии... Голые скалы, как драконы, охватывают озеро со всех сторон. Кажется, что когда-то к лазурной воде припали огромные мифические существа, но вдруг окаменели да так и остались — недвижимы...»

Национальное богатство — красота Севана.

Тициан был взволнован и озабочен грандиозными планами строительства и переустройства в окрестностях озера. Его заинтересовала, например, идея армянского правительства покрыть лесами скалистые отроги вокруг Севана; кто-то из гостей, может быть, даже сам он, высказал мысль, что растительность может оказаться не к лицу этому гигантскому примитиву — драконоподобным скалам, — ответом была улыбка

ка. «Смысл этой улыбки, — признается Тициан, — мы поняли несколько позже»: мог ли здесь человек думать о красоте, когда народ, населяющий эту страну, выжил только чудом? Нужно было видеть собственными глазами разоренные, опаленные места. Трагедия народа, который мог быть стерт с лица земли, но чудом уцелел, заставляла смотреть иначе на весь тот несравненный энтузиазм, с каким разворачивалось строительство вокруг неповторимой красоты Севана: огромный холодильник для заготовки рыбы (Севан славен форелью), ихтиологическая станция, климатологическая станция (должно превратить Севан в курорт!), проект электрификации (строительство серии электростанций на Севане!). Это было грандиозно. Более того, это было устрашающе грандиозно, и Тициан писал: «Население боится, как бы с озером чего не случилось, и так бережно обращается с ним, что одному-двум опытам, вероятно, не доверятся. Электростанцию начнут строить только тогда, когда будет обеспечена полная гарантия того, что Севану не грозит катастрофа...»

<Некоторые другие подробности этой поездки — как их принимали — вспоминает С. И. Чиковани («Из записной книжки»):

«Однажды утром во дворе столовой в тени был накрыт стол, длинный и узкий. Во главе стола, лицом к востоку, сидел тамада, напротив, в конце стола — Тициан и я. Справа Александр Абашели и Дереник Демирчян, Цолак и Симон Фирумян, и слева от тамады — Аветик Исаакян, Мартирос Сарьян и Галактион Табидзе... Цолак поднял тост за грузинскую поэзию и грузинских поэтов... Потом Демирчян поднял тост за грузинских писателей. В это время ко мне обернулся Тициан и сказал, что и нам следует уже сказать свое слово...»

— Ты подними тост за Сарьяна; я знаю, с каким уважением ты к нему относишься, — сказал мне Тициан, — я провозглашу тост за Аветика Исаакяна... — Тогда я был молод и неопытен. Говорить экспромтом мне и теперь нелегко. Я впервые видел Исаакяна и М. Сарьяна и был всецело увлечен наблюдением за ними. И, признаться, стеснялся. Я поделился своими сомнениями с Тицианом: — Не бойся, мы поэты, и они будут побеждены! — сказал он и попросил у тамады слово — сначала мне, а потом себе...

Я встал. И вдруг наступила странная тишина. Видимо, внимание всех привлекло то, что я до сих пор не произнес ни слова. Голос у меня поначалу дрожал...

Я говорил Сарьяну, как я люблю его живопись...

После этого тамада предоставил слово Тициану Табидзе. Тициан поднял свое грузное тело и ломающимся голосом начал говорить о том, как глубок и прозрачен Севан. Он говорил о том, каков этот драгоценный камень природы Армении и как дорог нам драгоценный камень

армянской поэзии — Аветик Исаакян; говорил он также о неповторимой звонкости его строк. Тост захватил Тициана целиком, скованность его исчезла; слова, казалось, стрелой взмывали ввысь, а его голосу прибавилась крепость стали; огонь поэзии, словно вспыхнувшие стружки, охватил его... Все превратилось в слух. А Тициан говорил так вдохновенно, что мне чудилось, будто от слов его медленно подымается скатерть. Красноречием он не отличался, но вдохновение его полностью восполнило недостаток блеска слов... Когда он закончил свой тост, никто из присутствующих уже не сидел на прежнем месте. Все вскочили. Первым устремился к нам Аветик Исаакян. Сперва он обнял и расцеловал Тициана, потом — меня, как будто и я принимал участие в “рождении” его тоста. Хотя некоторым образом он и был прав — я слушал Тициана с замиранием сердца, я хотел, чтобы его тост понравился всем. Как часто говорят среди писателей, Тициан “сорвал банк”, и радостный Аветик сел рядом с нами...»

«Сбылась мечта поэтов» — так назвал Тициан Табидзе одно из стихотворений армянского цикла, посвященное Ованесу Туманяну. Мечта — о братстве народов:

Пришли мы как братья, и каждый мечтал
Сказать про единство поэтов
Тебе, кто впервые об этом писал, —
И песню продолжить про это...

Перевод Н. Тихонова

Тициан сожалел, что почти ни один грузинский и армянский писатель не знает языка своего собрата, «несмотря на то что на протяжении многих веков мы близки как в географическом, так и в культурном отношении». Для него образец «интернационализма» в литературе — Саят-Нова, писавший на армянском, грузинском и тюркском языках. В статье «Саят-Нова» он с горечью пишет о том, что украинские, белорусские, армянские, грузинские, азербайджанские, еврейские и среднеазиатские писатели мало знают друг друга, что ни на одном из языков этих народов нет книг об истории литературы другого братского народа, что мало переводятся классики и даже современные писатели. Восполняя этот пробел, Табидзе создал краткий очерк грузинской литературы XIX века и современной, — очерк вышел в переводе на армянский язык; издание было осуществлено при участии замечательного армянского поэта, друга Тициана Табидзе Егише Чаренца, который тогда работал в госиздате Армении. Один экземпляр этой книги Чаренц подарил ее автору с надписью: «О Тициан! Так как твоя книга

в условиях бумажного кризиса отпечатана нами не очень блестяще, то велел сей экземпляр озолотить в стиле наших переплетов допотопных времен! — Прими и не огорчайся на Арменгиз. Привет сердечный. Твой Егише Чаренц. 1932. III. 14. Эривань».

Армянский писатель Гурген Маари уже в шестидесятых годах вспоминает о Тициане:

«Часто, очень часто из мгливой дали встает предо мною этот удивительный, яркий, обаятельный, блестящий человек. Одухотворенное, словно облитое каким-то “нездешним” светом лицо, голубые ясные глаза, на груди — неизменная гвоздика...

Паоло Яшвили — высокий, смуглолицый, черноволосый, беспокойный, с чуть хриплым голосом. Тициан — оживленный, бодрый, улыбающийся, весь какой-то светлый...

В Цинандали он подошел ко мне и сказал:

— Я хочу выпить с тобой из одного рога.

— С удовольствием, — сказал я, — но только из голубого...

В последний раз я видел Тициана в Минске, в феврале-марте 1936 года. Я встретился с ним случайно, в коридоре гостиницы. Он повел меня к себе, познакомил с женой Ниной. Помню, Чаренц всегда с восторгом говорил о Нине Табидзе:

— Вот какая жена должна быть у поэта!..»

В тридцатые годы Тициан Табидзе испытывает непреодолимое влечение к прозе. Статьи, рецензии, воспоминания — это он писал и раньше, буквально с первых своих шагов в литературе. Его критические и литературоведческие работы отличает не только профессиональность, но и свободная, живая, естественная манера письма, остроумие, полемический задор, высокая принципиальность. Его мемуарные наброски достоверны и немногословны. Однако все это — не проза еще, и речь идет не об этом. Проза привлекала его как возможность принципиально иного, чем стихи, эпического подхода к проблемам, которых он уже пытался коснуться и в лирике, и в поэме: но там — лишь затронул. Там, испытав себя в жанре поэмы, Тициан Табидзе тогда же пытается написать пьесу — о Шамиле; а в итоге — задумывает роман. Исторический роман...

Табидзе всерьез занимает проблематика эпоса, и в ряде своих статей он пытается ставить сложные историко-литературные и теоретические вопросы.

Символистам эпос оказался не по плечу — не то было время: «Буржуазная культура хрипела в агонии, и ей было не до эпоса. Сам стих

походил на предсмертный стон... Тон задавали Лотреамон, Оскар Уайльд, Станислав Пшибышевский, Кнут Гамсун, Леонид Андреев, Петер Альтенберг и другие...» — писал он в статье «Историческая новелла “Мамлюк”» (1932). Обращаясь к истории грузинской литературы прошлого века, Тициан Табидзе отмечал, что эпос не дался и грузинским поэтам прошлого, ничего общего с символистами не имеющим. Потому что, — представлялось ему, — в XIX веке в Грузии «не было соответствующих объективных условий для создания эпических полотен» (статья «Важа Пшавела», 1927). Что такое эпос в представлении поэтов прошлого века?

«А. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Г. Орбелиани, Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели отождествляли эпос с поэтическим воспроизведением больших исторических событий, а не искали для своих поэм подлинно эпической опоры. Они, а особенно Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели, не раз пытались создать образцы эпических поэм, однако как раз в этом направлении их усилия оказывались сравнительно менее плодотворными».

Это — не академический спор и не только с классиками; за этим — сложившаяся система литературных (да только ли литературных?) воззрений:

«Известно, что эпос черпает духовную пищу в народном творчестве; он предполагает своей основой твердо установившийся и отстоявшийся быт народа, органичность национального бытия, — писал Тициан Табидзе в статье “Важа Пшавела”. — Илья Чавчавадзе же и Акакий Церетели искали живительную силу для эпоса не в народном творчестве, а в анналах летописей Грузии...»

Их поэмам «свойствен смертный грех эпохи — весь их пафос перенесен в прошлое, и нет в них непосредственного созерцания и ощущения предметов; опущены многие моменты, которые для современника описываемых событий могли стать тематической плотью повествования».

Эпос, в представлении Тициана Табидзе, предполагает наличие моментов социально-политических, затрагивающих коренные вопросы «национального бытия». Названным выше классикам он противопоставляет Важа Пшавела, который «обогастил грузинскую литературу XIX века подлинным эпосом», ибо только в горной Грузии, где он большей частью жил, сохранились еще «исторический быт и старый уклад жизни, по сей день питающие народную фантазию, которая находила и находит свое воплощение в героическом эпосе, с преобладанием мифологического элемента». Не только живописность фольклорных традиций привлекает здесь Тициана: «Важа Пшавела был свидетелем столкновения средневековой морали с моралью капиталистической

эпохи. Он видел, что в этой борьбе ломаются и уничтожаются старые нравы и обычаи, и он, как разъяренный вождь дэвов, у которых разрушают родные очаги, бросился в смертный бой» (статья «Давид Гурамишвили и Важа Пшавела», 1930). Важа Пшавела выступил в защиту «отстоявшегося» национального быта от разлагающего влияния капиталистических нравов, жестокостей бюрократического режима, — и в этом он, с точки зрения Тициана Табидзе, близок к Толстому.

«Между “Хаджи-Муратом” Льва Толстого и поэмами Важа Пшавела всегда можно провести параллели, — пишет он, — показывающие, до какого пафоса доходит в этих произведениях отрицание капиталистической системы. Важа Пшавела потому и является величайшим эпиком, что он органически связан с народными корнями и истоками».

«...Лев Толстой превосходно выкроил из кавказской эпопеи повесть о Хаджи-Мурате, — писал Тициан. — А ведь этот театр военных действий находится так недалеко от нас, однако в грузинской литературе он совершенно не нашел отражения. Только Александр Казбеги показал в своем творчестве один из боевых эпизодов кавказской войны с Шамилем. В этом отношении он действительно передовой романист».

Тициан Табидзе перевел «Хаджи-Мурата» на грузинский язык.

«Неизъяснимое чувство восторга владело непрерывно мною, когда я переводил эту повесть, — вспоминает он. — Изучая “Хаджи-Мурата”, на самом деле веришь в волшебство и магию слова, в возможности свершения в пределах земных всего земного» («Лев Толстой и Грузия»).

Тициана в восхищение приводило непревзойденное мастерство Л. Толстого, но вместе с тем волновало его и другое — «документальность» повествования.

«Хаджи-Мурат» — «редчайший документ разоблачения насильственной политики и “культурного варварства”, и вряд ли в мировой литературе найдутся вещи, которые по художественной силе выражения и идеологической честности могли бы сравниться с этой повестью».

«В 1928 году» Тициан Табидзе принял участие в торжествах по поводу столетия со дня рождения Льва Толстого; в Москве он выступил с содержательной речью об отношении Толстого к Кавказу.

«...Одиннадцать лет я не бывал в Москве, — пишет он в очерке “Дни Толстого”. — Вспоминаю волнение, которое испытал, когда ехал в Россию впервые. Я был тогда ребенком и смотрел в будущее полными надежды глазами, но такое же чувство испытываю и сегодня, как будто не промчалось столько лет...»

Из Тифлиса в Москву тогда ездили через Баку. Через те места Закавказья, где шла ожесточенная резня в годы бесславного властвования меньшевиков и дашнаков.

«Поезд идет к Дагестану. В страну, о которой я думал все лето, — писал Тициан. — В страну Хаджи-Мурата и Шамиля. Картины эпохи, воссозданной Толстым, встают перед глазами: слышится песня мюридов, треск ружейной стрельбы. Обнаженные сабли на солнце горят. Изрубленный Хаджи-Мурат ухватился за дерево...

По этим аулам таскали его голову, завернутую в мешок...»

...написанное двумя годами раньше стихотворение «Гуниб» (название аварского аула, который был последним оплотом Шамиля). Тициан в Дагестане хотел бы себя чувствовать «мюридом», послушником имама Шамиля — не иноверцем-гяуром; предпочел бы убитым быть в той войне — только бы не убийцей: «Со стыдом бреду я нынче по следам совершенного отцами преступленья», — писал он.

Всех вповалку успокоила земля, —
Где грузины, где лезгины? — нет ответа.
Но одним джигитам смелым Шамиля
Рай отверзся, суждена обитель света.

Наших братьев ислевают костяки,
И когда вопит ночная непогода —
Это голос бесприютной их тоски,
Это песня их бесславного похода.

Перевод П. Антокольского

«Кавказская эпопея», не нашедшая отражения в грузинской литературе прошлого века, Тициана волновала и привлекала творчески.

Горцы-мусульмане издавна были потенциальными противниками грузин, которых в пору феодальной раздробленности Грузии часто брали в союзники как в борьбе с внешним врагом, так и в междоусобных войнах. Грузинские села и города страдали часто от лезгинских набегов. В конце XVIII века Грузия добровольно присоединилась к России, вынужденная к тому непрекращающимися жестокими войнами с персидскими и турецкими захватчиками, против которых самостоятельно ей было не устоять. И многие годы шло покорение царскими войсками Кавказа: в этой жестокой войне Грузия исторически оказалась на стороне колонизаторов.

Тициан Табидзе в Шамиле и его воинах видел борцов за национальную независимость и свободу, — пример Толстого его вдохновлял, так же как и традиционное в русской поэзии, начиная с Пушкина и Лермонтова, сочувствие «вольнолюбивому Кавказу».

Тициана особенно поразила та беспощадная откровенность, с какою Толстой показал в «Хаджи-Мурате» жестокую тупость и бесчеловеч-

ность колонизаторов: царских сановников, бессердечных, коварных и лживых; армейских начальников — тупо жестоких, морально ничтожных, алчных; им противостоят добродушные и незлобивые солдаты, которые стали, однако, орудием этой свирепой политики. Страшна в своей неприкрытой бесчеловечности сцена сожжения русским отрядом аула в горах, когда по приказу офицера солдаты жгут хлеб, жилища и сено, стреляют разбегающихся по аулу кур, грабят добро, мимоходом убивают мальчика... Сдержанно, почти бесстрастно описывает Толстой аул после ухода солдат: «Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков, волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения...» — так писал бывший русский офицер, участник «кавказской эпопеи», русский писатель Толстой, с гневом и отвращением к этому «культурному варварству».

Подвиг художника — его идеологическая честность.

...Тогда же был задуман роман, в котором история покорения Кавказа была бы увидена глазами грузина. Это был бы роман не только о Шамиле, но и о той эпохе, о грузинских и русских поэтах (даже о Пушкине, может быть), о мужестве и многотерпении грузинских женщин, о сестрах Нине и Екатерине Чавчавадзе. Одна из них больше известна как Нина Александровна Грибоедова; сохранился посвященный ей прозаический отрывок, нечто вроде очерка: «Жена А. С. Грибоедова — Нина Чавчавадзе». Сохранилось также несколько стихотворных набросков, посвященных сестрам — «розам Цинандали», дочерям поэта-романтика Александра Чавчавадзе, блистательного крестника русской императрицы Екатерины II. Сестра Нины Грибоедовой, ставшая женой владетельного князя Мингрелии Дадиани, во время войны против турок стала сама во главе дружины, являя собой удивительный пример храбрости, — она, единственная из женщин, была представлена к воинской награде; рано овдовев, она стала правительницей в стране, «нравы и обычаи которой ей были неизвестны» (в Мингрелии). Тициан в течение нескольких лет собирал исторические документы и материалы к роману (почти все они пропали, посланные ему по чьей-то просьбе, — в момент, когда, как выяснилось много позже, Тициана уже не было в живых).

Тициан Табидзе, безусловно, обладал важнейшим для исторического романиста свойством — способностью вжиться в другую эпоху, достигнув той степени «непосредственной созерцательности», при которой и самое отдаленное прошлое уже ощущается как собственное «пережитое».

...Читая записки И. Палавандова, он с живостью представлял себе Пушкина в Тифлисе, на роскошном пиру в честь наместника, графа Паскевича, где за почетным столом прислуживали сыновья самых родовитых грузинских фамилий в качестве пажей; Пушкин был очень заметный — непричесанный, долгоносый, в неопрятном фраке и белом жилете; он закусывал на ходу, подходя то к одному из гостей, то к другому; скажет что-нибудь на ухо — рассмешит и отойдет, а шутка его становится предметом долгого смакованья и толков. Откуда он взялся, в каком звании состоит? Кто он такой? Смелый, веселый, безбоязненный. Даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и справлялись о настроении главнокомандующего, прежде чем войти к нему с докладом, а тут, помилуйте, какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем, смешит его! А Паскевич был с Пушкиным очень ласков, хоть запрещал ему выезжать на линию огня: Пушкин обещал ему быть осторожным и не выполнял обещания...

И. Палавандов так описывает пребывание Пушкина в Тифлисе:

«Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, торговую улицу, узенькую, грязную и шумную... Там видели его, как он шел, обнявшись с татаринном. В другом месте он переносил в открытую стопку чурек. На Эриванскую площадь он выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупал груши и тут же в открытую, никого не стесняясь, поедал их... Перебегая с места на место, минуты не посидев на одном месте, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным рабочим и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками...»

Тициан успел написать несколько статей о Пушкине в Грузии.

«Великий поэт в эту пору был потрясен не только своей личной драмой, а остро чувствовал официальное мещанство николаевщины и варварскую политику деспота, особенно свирепую на окраинах, — об этом лучше всего говорят заключительные строки его “Кавказа”, только сейчас вырвавшиеся из плена царской цензуры:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят...» —

<писал Т. Табидзе в статье «Подстрочник грузинской песни в личном архиве А. С. Пушкина».

Тициан со свойственной ему горячностью выступает против всякого рода домыслов и фальсификации относительно пребывания Пушкина в Грузии: против пьес, в которых Пушкин беседует с грузинскими поэтами о Руставели, об истории Грузии и т. п. Ведь доподлинно известно лишь то, что уже при жизни Пушкина его стихи были переведены на грузинский язык, грузинские романтики с ними были знакомы. Нет никаких данных о том, что сам Пушкин встречался с поэтами Грузии.

В пушкинском архиве был обнаружен подстрочник грузинской песни, о которой Пушкин писал в «Путешествии в Арзрум»:

«Голос песен грузинских приятен; мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство».

Как установил Г. Леонидзе, эта песня, которая и теперь поется, как пелась тогда, принадлежит довольно известному в свое время поэту Димитрию Туманишвили. Леонидзе высказал предположение, что эту песню Пушкин слышал в доме Александра Чавчавадзе и что сам хозяин-поэт сделал для него перевод. При всем уважении к Леонидзе Тициан этого предположения не принял. Приводимые им доказательства исходят из соображений психологической и бытовой достоверности: «во-первых, русский подстрочник сделан с ошибками»; а, во-вторых, очень трудно поверить, что Пушкин встречался с А. Чавчавадзе: почему бы тогда он ни словом не обмолвился о столь прославленном грузине? Дорогою он встретился с телом убитого Грибоедова, которого везли хоронить в Тифлис, и написал об этом, — почему ж бы не упомянул он и молодую вдову, если б видел ее в Тифлисе перед отъездом? Вовсе невероятно, что Пушкин гостил у Чавчавадзе в Тифлисе или в Цинандали: «Ехать в Цинандали на дачу в конце мая было еще рано, да и какой пир мог быть устроен в Тифлисе у Чавчавадзе в ожидании тела Грибоедова?». А если был такой гость, как Пушкин, могло ли обойтись без пира? «Александр Чавчавадзе до того был занят разъездами по службе, что не присутствовал даже на свадьбе своей дочери Нины, всего за несколько месяцев до убийства Грибоедова».

С той же уверенностью разбивает он и другое предположение — что Пушкин не упомянул о своих грузинских знакомых, потому что они были замешаны в антирусском заговоре 1832 года, опасаясь попасть под следствие, как это уже случилось с ним по делу друзей-декабристов; что он, спустя шесть лет после поездки в Грузию («Путешествие в Арзрум» напечатано в 1835 году), мог вычеркнуть крамольные имена. Но ведь Пушкин не избегал встреч с декабристами, сосланными

на Кавказ. А заговор в Тифлисе его не касался, и он никак не мог быть запутанным в это дело. Да и сами заговорщики, многие из которых прожили до восьмидесяти лет, никогда не вспоминали о встречах с Пушкиным. Пушкин был сдержан в знакомствах, он избегал новых встреч и охотно виделся с прежними своими друзьями. При посторонних, как отмечают мемуаристы, он бывал молчалив и казался задумчив.

Живой, непридуманый Пушкин отчетливо виделся Тициану.

И одновременно:>

«...И я вспоминаю большевика, современного Хаджи-Мурата.

Сейчас город Темир-хан-Шура переименован в Буйнакск.

Буйнакский был моим товарищем по Московскому университету. Кто сказал бы тогда, что бледный и щуплый лезгин станет героем Гражданской войны. А потом он возглавил правительство Дагестана и пал от руки деникинцев.

Теперь его именем назван самый большой город края...»

...Много лет Тициану снилась текущая рыжей кровью река — Лихва.

В 1932 году он впервые побывал в Цхинвальском ущелье. Об этой поездке написан очерк «Неделя в Юго-Осетии».

Дорожные впечатления: тринадцатиместный автобус, на который занимают очередь заходя, не смыкая ночами глаз; форум путешественников, шумящий перед крыльцом конторы... «Тринадцать человек, сидящих в автобусе, ждут уже три часа. Палящее солнце обжигает нас, но мы не решаемся оставить своих мест, — боимся, как бы не произошло перемещение. Мы знакомимся друг с другом, и начинаются взаимные расспросы...»

Наконец, автобус трогается.

«Мы проезжаем знаменитую Горийскую крепость. У подножия ее раскинулась ярмарка. Сегодня воскресенье... Уже поздно. Наверное, около часа дня. На дороге толчея: скрипят арбы, движутся нагруженные лошади. Часто попадаются крытые повозки. Такое впечатление, словно где-то недалеко праздник какого-то святого. Вон на краю дороги уселись крестьяне, с аппетитом едят и запивают вином из чаш. Кое-где слышится тихая песня. Я впервые в этих местах, в самом сердце Карталинской долины, и надоедаю случайным попутчикам бесконечными расспросами... Вон к вершине горы, как птичье гнездо, прилеплась Вариани, родная деревня Якова Гогешвили... Мы подъезжаем к Тквиави. Кругом раскинулись фруктовые сады, турашаульские яблоки ярко краснеют на фоне голубого неба... Мы решили перекусить здесь в столовой, сошли с автобуса и уже взяли было чеки, но тут представи-

тель промысловой кооперации кизикиец Арчил Бежашвили предложил сесть всем вместе, — смело потянулся к жирным курам, разложенным на стойке, вскоре появилось вино... Грузинской литературе воздали по заслугам.

— Хороша наша страна, — разорялся кизикиец Арчил, дюжий дедина, словно сошедший со страниц книги “Караманиани”, — сам я из Кахетии, в Картли работаю вот уже семь лет, знаю Южную Осетию и хевсуров, но таких людей, как имеретины, не видел. Ей-богу, никогда в жизни не видел! Какие веселые, а какие хлебосольные. Зайдешь к ним — не знают, как тебя угостить, как почтить. — Не знаю, что так понравилось кизикийскому парню в нашей Имеретии, знаю только, что лишь в Кахетии можно встретить такого щедрого, широкого и безгранично восторженного человека...»

Привязанность грузин к родному краю очень велика, и нет вернее способа почтить на пиру гостя, как восхвалив его родину. Кахетия, Карталиния и Имеретия — три основные грузинские царства — долго сохраняли своеобразие быта и национального характера, которое и сейчас еще, видимо, не окончательно стерлось в деревне. Жена Тициана, бывая у него на родине, случалось, ему выговаривала сердито: «Боже мой, Тициан! У вас в Имеретии даже буйволы какие-то легкомысленные, разве у нас в Кахетии такие буйволы?».

Неделя, проведенная в Южной Осетии, была насыщена впечатлениями: Тициан, как человек добросовестный, к тому же попавший в эти края впервые, всюду ходил и все смотрел — что показывали. К ущелью его тянуло необычайно, и в Джаве он побывал два раза: сначала один, а потом — со всей делегацией. Хотелось ему побывать еще в Эдиси — это от Джавы километров пятьдесят, без дороги (там люди долго не старятся и легко можно встретить столетних стариков), но ехать туда надо верхом, а это не каждый рискнет...

Лиахва слушала осетинские и грузинские стихи.

«Леонидзе уже успел написать стихотворение о Лиахвском ущелье, и чтение его вызывает восторг у писателей...»

Паоло Яшвили вчера уехал в Цхалтубо, но делегации сопутствует оставленная им инерция живости...

Осетины говорят о Паоло: “хорзу” — хороший парень».

«Три часа. Автобус везет нас в Гори. Светлая, лунная ночь. Отчетливо видны карталинские деревни, и сквозь мерный скрип арб, влекомых буйволами, слышится тихая песня запоздалого путника...»

Сейчас Вакели и Лисашвили и вправду замучили делегацию, потому что никто, кроме Сандро Эули, не может петь в ритме их гурийский “Алипаша” ...»

Друзья и родные Тициана вспоминают его простодушие, доброту, детскую его наивность... Как он любил хорошо одеваться, как не выносил в комнате беспорядка, как фотографировался часто (особенно любил фотографироваться с дочкой) и не проходил мимо чистильщиков сапог, не наведя блеск на ботинки. Все чистильщики его знали. И цветочники — тоже. Тициан никогда не выходил на улицу небрежно одетым и без гвоздики в петлице. Ему через день приносили домой красную гвоздику, один цветок; и даже зимой — в любую погоду; цветочники приходили по очереди. Возвращаясь домой под утро, он, каким бы ни был, пьяный или усталый, первым делом вынимал из петлицы гвоздику и ставил ее в бокал с водой, а только потом раздевался, ложился отдохнуть... Любил, когда пели. У самого не было ни слуха, ни голоса; но иногда, приходя в приподнятом настроении (или просто бывало ему хорошо), он дома тихонечко пел какие-то забавные, нелепые песенки, и его голубые глаза блестели весело. И хотя он был уже знаменитым поэтом и весь город знал его, — в доме по-прежнему никогда не бывало денег, а в просторных комнатах было очень мало вещей. Зато гости бывали в доме всегда, в любое время и дня, и ночи. С дочкой он не был строг, и чего бы ни вздумалось ей пожелать, готов был сейчас же исполнить. Если ей хотелось зимой покататься на пароходе, он ее брал с собою в Батум; и — если пассажирские пароходы уже не ходили — вел ее на грузовой пароход, и знакомился с капитаном, и просил его, чтобы девочке разрешили постоять на капитанском мостике. Один раз он очень рассердился на дочку, так рассердился, что не позволил ей завязать ему шнурки на ботинках (она всегда ему завязывала шнурки, потому что из-за тучности ему было тяжело наклоняться); целый день девочка ходила расстроенная и ждала, когда отец вернется домой и простит ее. И, как прежде, он работал в столовой, за большим столом. В кабинете его был телефон с вертушкой и круглый стол с металлическим ободком, но Тициан там не мог работать. В столовой было просторно и тихо, потому что, когда он работал, все ходили вокруг на цыпочках и к столу подойти не смели, даже если пора было накрывать к обеду... Придя к обеду, он терпеливо садился в кресло и ждал, пока позвонят; и ни с кем дома не ссорился, а если жена бывала чем-нибудь недовольна, — терпеливо слушал ее: что говорила, — и только слегка улыбался, как бы снисходительно, а может быть, виновато.

<Шалва Деметрадзе вспоминает, как в 1933 году поэт решил наконец подготовить к печати свою первую книгу: «Тициан прощупывал буквально каждую свою строчку, отрабатывая ее, а порой создавая варианты, приговаривал: “Кое-что доделаю и к следующему изданию...”». Стихи были записаны беспорядочно, страницы не были пронумерованы



ны. Он этому все время улыбался, а как-то прочитал мне небольшой отрывок из статьи Валериана Гаприндашвили о нем, о его манере работы: «Я не знаю, когда он писал свои стихи, часто он предпочитал писать их в деревне, у орпирских причалов; у него красивый почерк, и любит он писать на дорогой бумаге... Стол его завален книгами; в каждой из них — лист с неоконченным стихотворением...». Издание «Избранных стихотворений» Тициана Табидзе осуществилось в 1934 году. Родилась также идея подготовить сборник его статей.>

Жена Тициана Табидзе вспоминает, с каким истовым участием он относился к нуждающимся в его помощи людям. «С утра принимался бегать по разным делам: то надо было помочь вдове Важа Пшавела с изданием книги, то хлопотать пенсию для нее; то из деревни привозили больных, и Тициан должен был их устроить в больницу; то кому-то он помогал поступить в вуз, то бегал по делам жены Нико Сулханишвили, очень талантливого композитора, семья которого очень нуждалась...»

Его статьи о писателях часто продиктованы желанием вспомнить несправедливо забытое имя, добиться переиздания хорошей книги «малоизвестного и незащищенного писателя» (Уиарго, например, автора исторической повести «Мамлюк», «который обладал, — по словам Т. Табидзе, — всеми качествами для того, чтобы стать знаменитым беллетристом, но промелькнул в грузинской прозе, как падучая звезда»). Тициан принимает участие в судьбе престарелого, больного Василия Барнова, уже не встающего с постели, в доме которого хранится много не увидевших света рукописей, интереснейшие воспоминания. В канун Всесоюзного съезда писателей Тициан пишет статью о нем.

«Василий Барнов — живая фигура, сошедшая с грузинских фресок», автор блестящего цикла новелл, в которых «оживает старый Тбилиси с его пьянящим ароматом», город ремесленников и амбаров; это писатель, достойный быть в ряду таких художников, как Проспер Мериме и Теофиль Готье, чьи рассказы по мастерству напоминают тургеневские: «Если бы их включить в число произведений, которые переводятся на другие языки, — писал Тициан, — они создали бы славу всей грузинской литературе».

Эта маленькая, блестяще написанная статья не только напоминает о несправедливой участи, постигшей большого писателя, но имеет и прямую цель — ускорить издание всего литературного наследия Василия Барнова: «Борьба за издание собрания сочинений Вас. Барнова есть борьба за авторитет литературы, и она — наш прямой долг», — заканчивает статью Тициан.

В эти годы Тициан часто бывает в Москве, в Ереване, в Минске, посещает среднеазиатские республики. Он много работает, принимает участие в создании первой большой антологии грузинской поэзии на русском языке, делает подстрочники для сборника «Грузинские романтики», выходящего в Большой серии задуманной Горьким «Библиотеки поэта», готовится выпустить в Москве свой собственный первый во всесоюзном масштабе сборник стихов, много печатается в московских журналах.

Из писем В. В. Гольцеву:

«Дорогой Виктор Викторович! Привет из Средней Азии и из гробницы Тамерлана. Скоро буду из Тифлиса писать деловые письма».

«...погода стоит очаровательная — завтра выходит моя книга стихов...»

«...мы Вас ждем как можно скорее, пока еще погода не испортилась... Нельзя ждать, чтобы у меня было хорошее настроение, — немного перебой сердца, но в семье я хорошо чувствую себя и буду очень, очень рад видеть Вас в Тифлисе...»

«...Только два дня как встал с постели, по приезде из Москвы схватил грипп, было осложнение с сердцем, пришлось перенести такие приступы астмы, что я почти ревел от страха и от боли. Ваше письмо и телеграмму я чувствовал, как укор, и волновался, но волноваться было еще от чего. Приедете, и все расскажу...»

«...Дела Антологии я веду блестяще, могу даже Вас поразить...»

«...Простите, что до сих пор не написал, но у меня опять повторились астматические припадки, и все время настроение было ужасное, да и писать хорошего было нечего... После Вас тут была украинская делегация, пришлось вместе с Татаришвили опять поехать в Казбек и несколько дней там остаться. Потом перевозили прах Важа Пшавела из Дидубе на Мтацминда, опять было много хлопот, но эта ночь была незабвенна...»

...С писателями, которые все чаще приезжали в Грузию из Москвы, из Ленинграда, из Киева, ездили в Кахетию — в Цинандали.

С Тыняновым — по местам, где бывал Грибоедов...

С Павленко — по следам Шамиля...

Учили гостей: как надо есть хинкали — большие грузинские пельмени: держа их двумя руками за ушки и высасывая сок. За обедом Паоло заводил старинные круговые песни: взявшись за руки, ходили вокруг стола и пели. Особенно любил Паоло песню «Я и моя бурка». Сергей Давидович Клдиашвили изображал тень отца Гамлета, итальянского лаццарони или... умирающую лебедь.

Попутно говорилось о серьезном.



Тынянов переводил «Мудрость лжи» Саба Орбелиани.

Тициан любил ночные бдения и охотно встречал за столом рассветы. Любил многолюдные, шумные сборища, литературные разговоры.

Побывавшие в Тбилиси поэты охотно писали о нем стихи — видя его тамадой:

...Он встает — замолкает тари,
Он погладит под челкой лоб —
В стойком чувствуешь перегаре,
Вдохновение, твой озноб.
Он нанизывает без связи
Происшествия, имена —
Почему же в его рассказе
Оживает моя страна?
Это — голос самих ущелий,
Где за пазухой нет ножа:
«Руку Пушкину, Руставели!»
«Руку Лермонтову, Важа!»

Бенедикт Лившиц, «Тамада»

«...За круглым столом в доме Тициана на улице Грибоедова мы, москвичи, учились высоким традициям грузинской застольной беседы», — вспоминает П. Антокольский. Это соревнование в красноречии, в дружелюбном внимании друг к другу... Строгая последовательность тостов, их остроумие и находчивость: «Тут и философия, и история родной страны, и поэзия как высокая настроенность души, и просто непритязательное острословие», — все служило праздничному общению людей, впервые севших за общий стол. Тициан легко и уверенно произносил высокопатетические тосты, своевольно менял направление разговора — руководил беседой; вспоминал стихи старых русских поэтов.

«Он был очень хорош собой. Несколько полный и грузный, в затрапезной парусиновой блузе, с ярким цветком в петлице... Такую яркую фигуру не часто встретишь на белом свете. Его хотелось писать маслом на холсте, крупно вылепить из глины — увековечить по возможности эти выразительные черты...»

«Он был хороший полемист, — вспоминает Симон Чиковани, — но иной раз как бы спотыкался, и у слушающего создавалось впечатление, будто ему больше нечего сказать, и слова вязнут во рту, и оратора затягивает безнадежный омут. В ожидании неизбежной опасности слушатель замирал в страхе. И как раз в самый напряженный момент поэт

нащупывал брод, делал бросок, преодолевал омут и выходил на берег, неожиданной крылатой фразой выплескивая сверкающую мысль, — и вся его речь озарялась светом, все становилось понятным; у слушателя вырывался вздох облегчения, и мысль поэта радостно заливала его».>

«Тициан всегда ведет разговор о поэзии, — пишет Ираклий Андроников. — И если о жизни, то опять же в связи с поэзией. Он аккумулятор поэтического процесса. Он все читал, все помнит, все знает или уж, во всяком случае, имеет представление о том, что пишут другие, потому что при нем кто-то прочел стихи вслух. Но знания для него не сами по себе, они — возбудитель и продолжение мысли, образов, сопоставлений. И при этом в стихах его нет ничего книжного. И все — свое...»

И. Андроников рассказывает о встречах с Тицианом в Ленинграде:

«...Я, по его просьбе, созвонился с Анной Андреевной Ахматовой: они еще не знакомы. И мы пошли на Фонтанку, к ней. И разговор о поэзии затевался у них, как у старых знакомых, — имена, поэтические события, сборники, строчки! Вся история символизма и акмеизма в контурах укладывается в четверть часа, и направление обоих в поэзии скорректировано разговором. Они оба — одной поэтической культуры. И ассоциации — общие. И назавтра Ахматова, величавая и простая, которую удивить не так-то легко — в удивлении от Тициановых знаний поэзии и поэтов XX века».>

Ираклий Андроников вспоминает встречи Тициана Табидзе с А. Толстым (в 1933 году Тициан приезжал в Ленинград и побывал в Пушкине у Толстого), — рассказ И. Андроникова записала Валентина Балуашвили («Лит. Грузия», 1968, № 2):

«Помню, как медленно шли мы по снежному городу Пушкина. Тициан поминутно останавливался, с грузинским распевом читал вслух пушкинские стихи, говорил о Блоке, об Ахматовой, “вписывая” свои впечатления в круг представлений о русской поэтической культуре... Толстой был сверхрадушен, праздничен, шутил, как всегда, и даже больше обыкновенного, хотя казалось, больше нельзя... Слушал, не смыкая приветливой, заинтересованной улыбки, сосредоточенно и быстро мигая, впитывая Тициана — его голос, манеру двигаться, жестиковать, говорить неторопливо, но страстно.

— Он изумительно интересно все знает, — вспоминал Толстой о встрече с Табидзе. — И очень интересно рассказывает. А внешностью на грузина он мало похож. Это римлянин времен упадка. С детской душой и мозгом мыслителя. В нем сохраняется та наивность, без которой поэта не существует. Потому что поэт — это прежде всего человек, непосредственно воспринимающий мир».

Вместе с Тицианом Табидзе в Пушкине у А. Н. Толстого побывала его жена. «Из шуток Толстого я запомнила еще, — вспоминает она, — как во время обеда подавали вареную рыбу. Толстой знал, что Тициан отварную рыбу терпеть не может, — он вскочил, подошел к Тициану и положил ему на тарелку самый большой кусок, уверяя его с улыбкой, что эта рыба особенная — в Ленинграде бывает один месяц в году. Ни на какие отказы Толстой внимания не обращал, и я видела, как трудно было Тициану под взглядами гостей преодолеть свое отвращение к этой рыбе. Он ел ее через силу, а Алексей Николаевич ему добавлял все новые и новые куски. Когда рыбу унесли, Тициан вздохнул облегченно. Потом Алексей Николаевич много смеялся, рассказывая об этом».

Очень близкие, дружеские отношения завязались у Тициана с ленинградским поэтом, автором единственной тогда, сильно разруганной книги «Столбцы» — с Николаем Алексеевичем Заболоцким. Это был очень сдержанный и с виду суховатый человек, — может быть, просто очень застенчивый: едва ль не единственный, он до конца называл Тициана почтительно и непривычно для дружеского слуха Тицианом Иустиновичем (в грузинском обиходе отчества редко употребляются, разве что в речи официальной).

Заболоцкий увлекся идеей заново перевести книгу Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Тициан его всячески поддерживал в этом намерении и как мог помогал. И конечно, убедил Заболоцкого заняться еще переводом Важа Пшавела.

С Заболоцким и Бажаном, который переводил Руставели на украинский язык, Тициан и его друзья осенью 1936 года ездили посмотреть храмовый праздник в Алаверди. Собралась довольно большая компания, полный автобус. Ехали долго, с множеством приключений.

Эту поездку вспоминает жена Тициана:

«Добравшись до Уджармы, — пишет она, — увидели мы, что Иори широко разлилась и по ней сплавляют лес. Наш автобус все-таки въехал в воду, рискуя перевернуться от удара бревном, и застрял посередине реки. Бревна бились об машину, это было опасно, — тогда Николай Шенгелая, а за ним и другие мужчины разделись и попрыгали в воду — отталкивать лес от машины, пока шофер с мотором возился. Тициан тоже влез в воду и стоял, опираясь на палку; вода у палки подмыла песок, и Тициан упал, — его вытащили из воды и втащили в автобус, который уже тронулся, а костюм остался на другом берегу, и за ним послали мальчишек. Тициан был ужасно сконфужен. Я спросила его:

“Зачем в воду полез?” Понимал ведь, что с бревнами возиться не сможет, — но он мне ответил, что было бы совсем уже стыдно и неловко ему сидеть в машине, когда все полезли в воду. Не мог он сидеть, сложа руки, когда другие что-то делают, а так — не помог, но хоть мокнул со всеми вместе! — В этом он весь: неловкий, подчас и беспомощный, но всегда готовый без раздумья броситься на помощь друзьям».

Когда автобус выбрался на дорогу, темнело уже, и какой-то прохожий, вскочив на подножку, проводил их к избушке, где, сказал он, можно переночевать. Избушка — в лесу, на отшибе; и только вошли — раздался подозрительный свист, из деревни ответили — свистом. В избушке горел огонь, варились кукурузные початки в большом котле, — все спокойно расселись вокруг очага, начиная уже согреваться; посыпались шутки; и в это время вошел шофер, очень взволнованный, и сказал, чтобы все тихонько, ползком пробирались к машине. «Тихо-тихо: мы в бандитском гнезде...» Снова мчался автобус по черному лесу, высвечивая фарами летящие навстречу деревья, а за машиной неслись какие-то крики и свист. Заехав глубоко в лес, машина остановилась, а присмиревшие было ее пассажиры начали вдруг хохотать, как безумные... Заночевали у какого-то старика: он разжег очаг, сварил для гостей котелок картошки, постелил на полу кукурузной соломы...

Когда они приехали в Алаверди, уже начинался разъезд: скрипели в монастырских воротах арбы с ковровыми навесами, чернели догоревшие за ночь костры, посередине монастырского двора сидел пьяный шарманщик с приятелем, перед ними стоял глиняный кувшин с вином и налитый доверху стакан — они угощали всех проходивших мимо.

<Огромные арбы покрыты ковром.
Здесь буйвол пугается собственной тени.
Кончают бурдюк с кахетинским вином
Герои Важа из нагорных селений.

Нацелившись боком, влюбленный Кавказ
Простер свою длань к алавердской святыне,
Но церковь сияет и смотрит на нас,
Как голубь, привязанный к этой долине...

На том берегу, приведенная в дол,
Хмельная отара лежит без движенья,
Как будто накрыли для Миндии стол
Кудесники-дэвы на поле сраженья.

И, кончив свой танец, кистин-акробат
Застыл у костра в молчаливом экстазе,



И люди толпятся, и песни шумят
Под звуки шарманки и стон мухамбази...

Костры с шашлыками горят над рекой,
Слезятся от дыма веселые лица,
Олень угощает оленя травой,
Вином кахетинец поит кахетинца...

Перевод Н. Заболоцкого

Под навесом накрыли стол для новых гостей. И все читали стихи. Паоло читал Бальмонта: «Я на башню всходил...», а Бажан по-украински Руставели; Заболоцкий – Григола Орбелиани, по-русски; а Верико Анджапаридзе почему-то вдруг «Ангела на коне», старое стихотворение Тициана.

Георгий Леонидзе прочел стихи и обратился к Верико с пышным тостом.

А Тициан читал Тютчева – любимое свое:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.



ПЕПЕЛ РАССВЕТА



Рождение стиха

*Я знал: слова ронять не следует, —
Не предавал их во славу рифмы.
Когда строка строку преследует —
Биенье сердца диктует ритмы.*

*Еще невысказанной истиной
Душа томится, как в одиночке.
Но — кто я, кто? Смызок таинственный...
А кто-то бурю провидит в строгке.*

*Нет, дорогие, не рождается
Любовь ни силой, ни ядом лести.
Слова бессильно распадаются,
Пока их ярость не сцепит вместе.*

*И вот, родившись, соетание
В гужие руки тебя швыряет, —
Когда их мужество теканило,
Твой стих отвагу не потеряет...*

*Но стих — лишь стих, покамест обжигом
Он не испытан в любви и вере, —
Тогда стихом, тобою сложенным,
Народ наполнит свои свирели.*

*А мне все гудится: бессонница,
Дрожат все связи стихотворения.
Сейчас оно сквозь ливень тронется,
Пройдет обвалом через мгновение.*

*И мир, с умом его рассудогным,
Падет, как нива под сарангой.
Но станет в мире, слепом и сумрачном,
Как будто больше одной свегой.*

1936

Перевод Ю. Ряшенцева

...Сегодня мне два раза ночью снился Тициан. Он говорил «Зина, душенька» и улыбался своею сконфуженной, угловатой улыбкой, одной стороной лица больше, чем другой. Сегодня ночью 10 человек вошли к спящей невестке Тренева и ограбили дачу, Виталий был в городе. Это рядом. Мы, наверное, скоро переедем. Ваш Б.

Из письма



Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих, вместе с судьбой Цветаевой, должна была стать самым большим моим горем», — писал Борис Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положения». Рассказать об этой удивительной дружбе как будто не трудно, — она вся рассказана в документах: в очерке Пастернака, в переписке Пастернака с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили, а после — в длившейся свыше двадцати лет переписке Пастернака с женой Тициана Ниной Александровной, близким другом, которому Пастернак доверял свои самые глубинные, лишь немногим доступные мысли и настроения. «Нина, иногда мне кажется, что Вы — это моя душа, в образе женщины отброшенная в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой», — писал он ей в мае 1951 года. Тициан до конца оставался главным героем их «романа в письмах», и это, кажется, нетрудно понять; но как важно понять другое: увидеть здесь то высокое, духовное, вечно живое, что было в самом Тициане и что, именуемое «душою», после его трагического исчезновения осталось жить в сознании близких и даже просто знавших его людей.

«Тициан — лицо коренное моего существования, — пишет Борис Пастернак в январе 1941 года, — он бог моей жизни, в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счаст-

ливым, так любить Вас, занимать такое место во времени и ждать еще так много для себя впереди, если бы Тициан еще не предстоял мне...»

«Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, — пишет Борис Пастернак несколько лет спустя, — это мое отношение к земле и поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне; он для меня почти то же, что для Вас. Когда я прочел из Ваших строк, что он жив, мой долг сознаться Вам, что я не в состоянии верить этому счастью. Как раз в последние годы, и особенно военными зимами, мне показалось, и я примирился с мыслью, что я живу в большом, большом помещении, называемом миром, где его больше нет. Это совершенно видоизменило для меня действительность...»

«Милый, милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Тициан был жив, — писал Пастернак в июле 1953 года. — Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возродившаяся вера в то, что, быть может, мы его увидим, на минуту заразила меня. Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы немислимое счастье: это, именно это, а не что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня. Это было бы именно той наградой судьбы, тем возмещением, которого мне никогда, никогда не достает, когда после огромного количества души и нервов, вложенных в какого-нибудь Фауста или Шекспира или в роман, мне страшно хочется чего-нибудь равносильного, и никакие деньги и удовольствия, никакое признание и ничто на свете не могут мне возместить потраченной силы...»

И, наконец, письмо — из нескольких сотен писем, — написанное в канун годовщины мучительной гибели Тициана, 11 декабря 1955 года, уже после того, как рассеялись последние иллюзии и растаяли надежды на его возвращение:

«Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства... Нужно как-то выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск. Все это делается не в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается. Когда в редкие, почти несуществующие моменты я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвращением начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья. Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, на-

ученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о возмездии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня...»

Приведу еще отрывок из письма, написанного Пастернаком дочери Тициана Табидзе, в котором эта же мысль о личной ответственности человека за свою жизнь и поступки развита обстоятельно и подробно, как жизненная программа, внушенная память о Тициане Табидзе (это письмо написано много раньше приведенного выше, в 1942 году): «Наше время много отдало возвышенно звучащим и далеким задачам и вышло пустым, сухим и бессердечным», — пишет в этом письме Пастернак. Обобщая свой жизненный опыт, он предлагает дочери Тициана несколько, в сущности, очень простых, очень «житейских» советов: «Стойте на земле, Нита, и не давайте никаким искусственным возвышениям, какими бы подмостками, эстрадами и трибунами они ни были, сбивать себя. Только в природе и рядовой обыденщине новизна и вечная необычайность, только в труде и бедности заключена целая вселенная, только среди них откроется Вам полное общение с предшествующим человеческим гением в искусстве, истории и знании. Любите свободу; без нее не может быть чистого сердца. Следуйте непосредственности, доверяйтесь очевидности чувства, делайте только то, что может доставить Вам радость. Я не зову Вас к беспринципности и погоне за удовольствиями. Другому бы я этого не сказал. Я знаю, кому я это говорю, и если бы не знал Вашей глубокой неиспорченности, я бы знал, чья Вы дочь, и этого было бы достаточно. Не давайте крикунам и крикуньям, с которыми Вас столкнет жизнь, улучшать себя. Довольствуйтесь теми устоями, которые Вам сложило детство, семья и дружба в школе, и направляйтесь дальше, слушайте их внушений. Человек в своей нетронутости безмерно лучше и добрее того искусственного ангела, которого из него хотят сделать и который всегда проваливается на этом испытании, неизменно оказывается искусственным чертом...».

...кроме всего, был еще вдохновляющий пафос необыкновенной эпохи: пафос строительства нового мира. Высокий взлет мысли, восторг, торжество, оставившие в поэзии неизгладимый след, были подлинным отражением неподдельного энтузиазма. Все другое казалось легко отлетающей шелухой — издержки великого преображенья!

«Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец, — пишет в автобиографии Пастернак. — Вскоре в двух семьях, моей и другой, дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно

тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе... В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой».

Борис Пастернак поразил грузинских поэтов своей истовой влюбленностью в поэзию, неиссякаемым потоком вдохновения (этот огонь в нем горел, не сгорая) и человеческой, обаятельной простотой. И своей влюбленностью в Грузию...

Тициан при первой же встрече с восторгом и удивлением говорил, что это невероятно: стихотворение «Памяти Демона» Пастернак написал, еще не видев Кавказа. И как он сумел уловить это свойственное грузинам суровое, мужественное звучанье стиха:

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончатся кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.

«Стихи я зову лавиной, что увлечет с собой и заживо схоронит», — писал Тициан в стихотворении, тогда еще не переведенном; в этом была неожиданная переключка, и пастернаковский Демон мог показаться Тициану воплощением стихии стиха. Грузия здесь была уже поэтична и зрима — увидена в точных скупых деталях: в синеве ледников и в кривляющейся тени лампы, в голосе зурны... Эти звуки,

впервые услышанные Пастернаком в городских буднях Тифлиса, оказывается, давно звучали в его стихах: «Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритмы лезгинки. Козлиное бляение волынки и каких-то других инструментов».

Воспитанный русской поэтической культурой XIX века, посвятивший Лермонтову написанную летом 1917 года книгу стихов «Сестра моя жизнь», которую открывает стихотворение «Памяти Демона», Борис Пастернак внутренне был готов к тому, чтобы принять как откровение открывшийся ему в этой неожиданной дружбе с поэтами Грузии Кавказ. Во всей его буднично поэтической новизне. В живописности откровенной уличной жизни. В полной «мистики и мессианизма символике» народных преданий. В стране, где каждый — по натуре поэт, и вместе с тем — высокая культура передовой части общества, интенсивная умственная жизнь.

Очарование города...

Пастернак обо всем этом после напишет, когда улягутся первые впечатления — лягут на дно души кристаллы поэтических истин. Грузия в той неожиданной прелести первого знакомства встанет в его стихах 1936 года (циклы «Художник» и «Путевые записки»), где избитым пошlostям обывательских разговоров о «пышном и бедном Юге» противостанет «сырая прелесть мира», не вынесенная на суд поверхностных наблюдателей. Это будут стихи о непосредственности жизненных связей, о цветах и запахах земли, о Тифлисе, о людях, живущих в этом городе, и о себе — о том, что делает истинной связь поэта с живущими на земле: о духовном слиянии поэта с народом.

Но сначала, по горячим следам, он создаст лирическую поэму «Волны», которая открывает книгу стихов, названную символически — «Второе рождение».

Здесь Кавказ — романтическое, восторженное виденье, возникшее как странная реальность в противовес беспокойному мраку московских заснеженных переулков и трепету «подследственных осин».

Если Москва — «каждодневная упряжь», то Кавказ — поэтический пир, торжество природной и словесной материи, взлет души. «Волны» — поэтический дневник личного знакомства с Кавказом, почти исповедь:

Здесь будет все: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои
И виденное наяву...

Здесь впечатления буйно перемешались и еще не поддаются логическому членению. Природа Кавказа и новые духовные связи (сооб-



щающиеся сосуды человеческих душ) создают удивительный поэтический синтез. В образной структуре «Волн» отпечатались вперемешку следы застольных тостов и задушевных бесед; поездки на Черноморское побережье и в Кахетию — в Кобулету; взгляд на Алазанскую долину, на чернеющие вдали отроги дагестанских гор, рассказ Тициана о давних лезгинских набегах, а также — о русском военном действе (он тогда много думал об историческом романе), о покорении непокорных кавказских племен; о странной войне, в которой смешались жестокость и тупость завоевателей с ревностью и любовью. О Кавказе — ссылке для опальных поэтов России. О великолепной прозе «Хаджи-Мурата», которого переводил на грузинский язык Тициан, переживая при этом неизъяснимое чувство восторга и веру в волшебство, в магию слова, в возможность свершения всего земного в пределах земных...

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба, и их закат... —

обещал Пастернак. Его пронзила «сверхъестественная зрячесть» огромного и голого пляжа в Кобулетах, объявшего — «как поэт в работе» — необъятное... Поэт — всевидящ; он вбирает в стих безмерно отовсюду. Из того, чем в эти годы жил Тициан Табидзе, в лирической поэме Пастернака отпечталось самое главное — о чем, видимо, шли серьезные разговоры: большое раздумье о сближении России с Кавказом — и об этой странной войне, и об этой странной любви. Не тем же ли «странным» духом проникнуто в «Волнах» и описание кавказского затянувшегося рассвета:

Верст за шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

Пастернаковский образ вбирает и краски окружающего реального бытия, и следы раздумий — впечатления и логические детали. Но необычен для него «быт», выступающий в роли поэтического истока. Тяжесть

идущих из-за Владикавказа туч имеет войсковую поступь, а горы, вырываясь из-за подвижных туч, «куражатся», стараясь «скинуть хомуты», как лермонтовские абреки; «вмазанный в печку казан» — деталь аульского быта; и вот уже дымящийся «горшком отравленного блюда» Дагестан напоминает про его былую несломленность, непокорность.

Проглянувшие в образе тучи дымящиеся кадры «священной» войны Шамиля с ее лязгом кинжалов-молний — лики давнего прошлого — отзвук сегодняшних разговоров. А угроза дождя и «машина» — как ближний план в этом горном пейзаже, который нарисован словами, сохранившими вкус и запах истории.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

И горы тут — немирные джигиты Шамиля.

Пейзаж активен. Даже лес — бежал, «как повести развитие», при этом «сознавал свой интерес». И все вполне реально, зримо — никаких метафорических загадок: они же ехали в машине — лес «бежал» навстречу; но при этом он был «отчетом поколений, служивших за сто лет до нас» — это мимо бежавший лес!

Не живших — «служивших» на Кавказе поколений.

Почти толстовская картина рисуется в пейзаже Пастернака: армейский кавказский быт середины прошлого века.

И даже тот еще Кавказ, что еще до Толстого принимал декабристов и Лермонтова: сложившийся, ставший привычным армейский кавказский быт:

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служака,
Тьмы ссыльных — имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг...

Так оно и было — в дорожных рассказах новых друзей. Ведь это же описание поездки в машине по Военно-Грузинской дороге с друзьями. Здесь — только пейзаж, но здесь и суть разговоров в машине: история покоренья Кавказа. Тициан Табидзе был потрясен гражданским мужеством Льва Толстого — его рассказом о кавказской военной страде. Поэзия русская шла на Кавказ по тем же дорогам. И поэты слагали го-

ловы в той непонятной войне, о которой они же писали романтические повести и стихи, восхищаясь «вольным Кавказом»:

И в неизбынное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Поэма Пастернака, похоже, следует путем «Хаджи-Мурата», действие которого то переносится в Петербург — чиновную столицу, то снова возвращается на горную стезю:

Страны не знали в Петербурге,
И злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут...

Это все же поездка по Военно-Грузинской дороге. Многочисленные поездки: в Цинандали, в Абастуман, в Боржом, в Кобулеты. Мысли рождались попутно, из разговоров в машине и за столом. Летели мимо пейзажи, змеились дороги, в удушливо темных ущельях небо шло верхом — верблюдом сквозь игольное ушко. Проходим с котомкой — на дне оврага.

Эхо, как шоссейный мастер, сгребало в пропасти всякий сор.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Переживая неоднократно все это, мысленно возвращаясь в то самое первое проведенное в Грузии лето, Пастернак два года спустя, в июле

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибем, то это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то доставят и привозят и неизвестно подо что снабжают нас дежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Ветры прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристую листвою тополя, белобархатную с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды».

...одна из многочисленных пирушек — в лесу, на траве, в гостях у Георгия Леонидзе — «самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу», — ночное пиршество в Бакуриани:

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом.
Приборы, звезды, свечи...

Облик Тициана Табидзе запечатлен в этом стихотворении Пастернака:

...Сейчас он речь начнет
И мыслью на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и, однако,
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепла,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.

В Тициане была недовыявленность, недовысказанность — обещание. Паоло, напротив, был весь — в присутствии: «В те дни вы были всем, что я любил и видел...» — писал о нем Пастернак.

Входили мы в квартал
Оружья, кож и седел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня...

Это казалось самому автору — восторженно и неловко. «Нет, серьезно. Видели ли Вы что-нибудь подобное? — издевался над собой Пастернак в письме к Тициану (1 октября 1936 года). — Какою мерзостью было так мало сказать о Паоло!..»

О Паоло Яшвили Пастернак пишет с какой-то ревнивой восторженностью, как о человеке удивительном, видя его и все вокруг него в свойственной одному ему неизменной приподнятости, в «кратковременном озарении». Пастернак высоко ценит его как поэта:

«Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит».

Пастернак их невольно сопоставляет — Паоло и Тициана:

«Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят мне в голову, — пишет он: — комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках. Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря. Плынут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотина и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал,

чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким».

...об одном поэтическом вечере Пастернак писал Тициану Табидзе — о том, что переводы стихов Тициана и Паоло «оставили ленинградцев совершенно очарованными, и они долго потом возвращались памятью к вечеру... Вас поняли и оценили: проверял моей любовью к вам, — характеризовали правильно» (письмо от 14 января 1934 года). Очарованный стихами Паоло и еще больше им самим, Пастернак даже, видя особенный успех стихов Тициана, «принялся доказывать об достоинствах Паоло». В том же письме Пастернак хвалит выступление Паоло по асеевскому докладу: «Паоло говорил ярче и яснее всех — общее мнение». Доклад был посвящен, видимо, грузинской поэзии. И сам Пастернак тоже выступал, но собой он был недоволен: «Был похож не на Вас, — пишет он Тициану, — а как Вас Ниточка воображает, — ничего не поняли, похлопали...».

Тициан пишет С. Д. Клдиашвили:

«Дорогой Сергуня! Я так уехал, что не успел поцеловать тебя на счастье. Но ты знаешь, как я был взбудоражен... Уехал молниеносно. Москва божественна. Здесь была веселая жизнь, мы закужились. Такой Новый год, что с ума можно сойти. Сначала мы были у Пастернаков, потом поехали в Союз писателей, оттуда Антокольский взял нас в театр Вахтангова, и был бесконечный карнавал. Между тем, Антокольский написал статью о поэзии. Пастернак ее очень хвалит, говорит — великолепная статья, рассказывает о грузинских поэтах. Он в тебя влюблен. Почему, не знаю, и как это случилось, не понимаю. Пастернаку ты очень понравился. Должно быть, статью скоро напечатает в литературной газете...»

Роль Пастернака в знакомстве русского и в конечном счете всеобщего читателя с грузинской поэзией невозможно переоценить. Не он один переводил стихи грузинских поэтов на русский язык; и даже не в качестве переводов тут дело, — было немало первоклассных переводчиков, среди них Н. Заболоцкий, П. Антокольский, Н. Тихонов, Б. Лившиц, — их переводы часто бывали ближе к оригиналу, чем пастернаковские; однако ни один из многочисленных переводчиков, — а большинство из них часто и подолгу гостили в Грузии, были в дружбе с поэтами, которых переводили, — и все же ни один из них не проник столь глубоко и непосредственно в самую лирическую суть грузинской поэзии, не стал настолько близок поэтам, которых переводил, что стихи их уже становились как бы и его собственными стихами...

Их дружба складывалась из мельчайших, интимнейших подробностей, которые словами и выразить-то, казалось, нельзя, и все же в этом заключалось самое главное.

«Среди поклонов, которыми я Вас нагружу сейчас, — писал Пастернак Тициану Табидзе, едва покинув Тбилиси, 6 ноября 1933 года, — будет один, — Вы знаете, — которого я не могу оформить, до того пережитой он и настоящий. Существо его в том, что я кланяюсь поэту Леонидзе и его поэзии одним и тем же низким поклоном, что и его жене и его судьбе и дому. И я могу заставить себя быть еще точнее: я кланяюсь искре детскости, пробегающей сквозь его руки и рукописи... И я говорю не о том ложном, рафинированном и переслащенном представлении детства, которого на свете нет, если не считать конфетных коробок, но о простоте и вздорности, и незащищенности ребенка, о его электропроводности. И способности детства восстроить мир на игрушке и погибнуть, переходя улицу. О зрелище ребенка в гуще большой, далеко тем временем зашедшей жизни, с которой он справляется по-детски просто, вздорно, расторопно и незащищенно. Но этот поклон так тяжеловесен, что лучше его не передавать...»

Нужно было знать этого безмерно талантливого человека, большого, шумного, незащищенно-напористого, ведущего с собою истовую игру, — чтобы в полную меру понять, оценить этот посланный в письменном виде поклон-поклонение Леонидзе.

«...Но ведь мы столько еще увидим в жизни общего и столько раз еще и так сильно будем жить друг другом, не правда ли? Так что зачем нам писать друг другу письма, — размышляет Борис Пастернак в недатированном письме. — В неотосланных письмах я Вам о себе писал. Что у меня в душе нечто подобное бутылке с крепким клеем, где в один кусок склеивается лучшее из того, что я переживаю. Я Вам стал перечислять, с чем Вы у меня связаны: с Ролином, с моей старшей сестрой, с нынешней революционной Германией, явившейся вдруг естественным продолжением Рильке, и т. д. И вдруг вспомнил, что Вам ли, Нина, не знать этого строя, когда рядом с Вами живая такая бутылка — Тициан.

А Тициан, как там ни верти, оказывается сильнейшим лириком из всех. Я это и раньше знал. Но он слишком близок мне. Как и о себе самом, я не смел ничего знать даже про себя. Иногда я им жертвовал, совершенно как собою, можете Вы это понять? Однако слышали бы Вы, что в зале сделалось, когда я от Важа Пшавелы, над которым засыпать начали, и от некоторых других перешел к нему! К Вашим собачкам, Нина...»

Пастернак имеет в виду стихотворение «Сельская ночь», написанное в ноябре 1928 года в Окроканах, — про то, как маленькие собачки

лаяли на луну, а луна клонилась к горизонту; и звезды, как по жребию, молниями падали к горизонту; а маленькие собачки лаяли на луну; и сна — ни в одном глазу: украсть у поэта нечего — украли сон собачонки. Скрылась луна за развалинами крепости Кер-Оглы, и горы, как клыки, поднялись над Тбилиси, — каралят его, подняв щиты...

«...Понимать — совсем другой мир, совсем иной стиль и род жизни, это не местá и не мгновенья, не Тифлис даже, даже, может быть, не Земля, это — близкая, случаем подаренная допущенность к делам истории, это участие в ее будущем, это широкий роман с теряющимися границами, — несколько особо счастливых под небом, покрывших их смыслом одной общей драмы. Это — клей, о котором была речь выше, это вы и я, это наши соединенные руки...»

1934 год.

Первый Всесоюзный съезд писателей в Москве.

Тициан Табидзе — участник первого писательского съезда.

Его выступление на съезде на многих произвело большое впечатление, и прежде не знавшие его подходили, знакомились, жали руку. В «Известиях» в дни съезда были напечатаны стихи Тициана Табидзе в переводе Пастернака: «Не я пишу стихи...» и «Иду со стороны черкесской...». Друзья поздравляли его с успехом.

На съезде был заслушан полуторачасовой доклад М. Г. Торошелидзе, в котором излагалась история грузинской литературы — от древних времен и до наших дней. Нашлось место в докладе и для новейшей грузинской поэзии. Группа «Голубые роги» здесь, как и в большинстве выступлений грузинских рапповцев, характеризовалась как «буржуазно-декадентская школа символистов»; несмотря на признание «лояльности» голуборожцев по отношению к Советской власти, место им было безоговорочно указано в «антипролетарском лагере литературного фронта»; было сказано, что они постепенно «отходят от позиций самодовлеющего эстетизма и дают яркие выражения национализма»; «логика антипролетарских настроений доводит этих буржуазных декадентов до идеализации патриархального прошлого». Впрочем, в другом месте доклада отмечалось, что «под влиянием пролетарской революции и развернутой на ее базе культурной революции» буржуазно-декадентская группа «Голубые роги» пережила «глубокую и острую дифференциацию»; что эта школа сыграла определенную роль в развитии грузинской литературы, обогатив технику грузинского стихосложения, а также — «лексический инвентарь»; что голуборожцы содействовали «связи элементов европейской модернистской поэзии с поэтическими традициями грузинской феодально-романтической литературы». Оце-

нивая творческие позиции П. Яшвили, Т. Табидзе, Н. Мицишвили, В. Гаприндашвили, Г. Леонидзе, Н. Надирадзе и других поэтов-голуборожцев, докладчик указывал, что хотя они «беспрерывно работают в области советской поэзии и составляют значительную силу на этом участке литературного фронта», все же они до сих пор «переживают трудности творческой перестройки и продолжают оставаться в положении попутничества». Так, например, в творчестве П. Яшвили «наряду со стихами, которые посвящены нашему строительству и его энтузиастам и отмечены свойственными Яшвили поэтическим размахом и экспрессией, имеются рецидивы самодовлеющего эстетизма»; а Т. Табидзе «в стихах, посвященных новой советской Армении, упорно сохраняет поэтические приемы из арсенала символистской поэзии, что мешает ему здраво и трезво воспринять реальный объект своей поэзии и отобразить его с достаточной глубиной».

Доклад был перегружен подробностями и, пожалуй, несколько скучноват. Полемики вокруг него не возникло.

В ряду многочисленных выступлений речь Паоло Яшвили была подобна искрометному тосту.

Тициан Табидзе серьезно готовился выступить, но ему долго не давали слова. По мере того как развертывалась общесъездовская дискуссия, отходили на задний план и уже казались мелкими всевозможные претензии к докладчику.

Ход съездовской дискуссии обернулся неожиданным образом, — в центре поэтических споров стало имя Б. Пастернака. После основного доклада о поэзии, в котором Пастернак был одарен чрезмерными похвалами и, в сущности, противопоставлен Маяковскому, иначе быть не могло. Для молодой советской поэзии Маяковский был слишком значительной фигурой. В защиту Маяковского первым выступил А. Сурков:

«При глубоком уважении к Пастернаку как к мастеру и поэту я все же вынужден сказать, — заявил он, — что для большой группы наших поэтов, для большой группы людей, растущих в нашей литературе, творчество Б. Л. Пастернака — неподходящая точка ориентации в их росте. У нас в поэзии есть большая группа людей, являющихся людьми другой социальной биографии, другого видения мира, и при всей слабости и молодости этих кадров, при всей еще молодой ломкости их голоса и их взгляда на вещи, а значит, подход к отбору средств для художественного воплощения их чувств и мыслей не совпадают со стилевым строем и углом зрения на мир, типичными для Пастернака».

Б. Пастернаку А. Сурков противопоставил Маяковского и близких ему по духу пролетарских поэтов.

Далее Сурков повел речь о гуманизме; он защищал гуманизм в литературе, но не тот старинный гуманизм, который виделся ему в обра-

зе русоволосой девушки в белом платье на солнечной, напоенной ароматом весеннего цветения земле, девушки — в венке из метафор, с восторженными глазами. «Я хочу принять этот красивый образ и не могу, — говорил А. Сурков. — Что-то заставляет рисовать себе образ нашего гуманизма другим, может быть, более грубым, но в своей грубой плоти прекрасным». Это — «лечащий гуманизм». Один человек, с детства мечтавший стать врачом, стал председателем уездной ЧК. Вот образец той цельной мужественности, к которой стремится «гуманизм класса, в свирепой борьбе добывающего людям право на подлинное человеческое существование». «Гуманизм мужественный» — тот, о котором писал Багрицкий, «замечательную образную формулу» которого он дал в стихотворении «ТВС»:

Век поджидает на мостовой,
Сосредоточенный, как часовой,
Иди и не бойся с ним рядом стать,
Твое одиночество веку подстать.
Оглянешься, а вокруг — враги:
Руку протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги!» — солги!
Но если он скажет: «Убей!» — убей!

Многим участникам съезда запомнились эти стихи как романтический призыв к «мужественному гуманизму», который виделся прочитавшему их с трибуны Суркову в образе девушки тоже, но — «за плечом девушки в белом платье, идущей мимо Мавзолея, покоится винтовка. И строгая тень штыка падает через плечо вперед на мостовую, указывая линию движения». Символический образ запал в душу как символ сурового века.

Стихи Багрицкого, кованные, мужественно прозвучавшие, могли пробудить ответный порыв у экспансивно-деловитого Паоло. Тициану солгать было так же немислимо, как убить. Случалось, Паоло кричал на него с искренним негодованием: «До каких же ты пор будешь краснеть, если я лгу?!».

На съезде Тициану досталось выступить сразу после Алексея Суркова, речь которого внесла перелом в разговор о поэзии. У Тициана приготовлено было продуманное выступление. Он не был хорошим оратором; он чересчур волновался, и отвлекаться от приготовленного текста ему всегда было трудно. А надо ли было? Ведь он собирался поговорить о сущности «умирающей», «буржуазно-декадентской» идеологии, в которой многие видели уже не более как удобопроизносимое ругательство в адрес своих литературных противников — просто «ярлык». Табидзе видел за ярлыком серьезное социальное и поэтическое явление, коему он и сам был обязан рождением как поэт; и он пытался

объяснить, что такое «буржуазный индивидуализм», начав с Байрона и Гёте, с Шатобриана, Пушкина и Мицкевича, с Лермонтова и Грибоедова, и Бараташвили — поэтов, чье творчество питают глубокие корни народной жизни.

«Для того чтобы выявить молодого разочарованного человека начала прошлого века, Байрону нужно было создать особый жанр индивидуалистической поэмы»; в этом переломе поэтических форм был своего рода «революционный переворот», — говорил он. Революции и в жизни, и в поэзии происходят не каждый день: символисты не могли создать особого вида поэмы, — они порождены другой эпохи.

В сущности, он попытался в те несколько отведенных ему минут раскрыть механизм связи поэзии с жизнью, механизм сложный и не сразу бросающийся в глаза. Он хотел показать, что собой представляло то поколение, которое гибло в угаре мировой войны, объяснить — отчего была пессимистической и нежизнеспособной их поэзия:

«Каждый из нас, представителей дооктябрьского поколения, помнит это кладбище поэтов, — говорил он. — На этом кладбище поэтов лежат гиганты вроде Велимира Хлебникова, поэта, в конечном счете сошедшего в могилу косноязычным. А сколько было еще “нахлебников Хлебникова”? Только редкие поэты пережили это — “томление еще сознательного безумия”; и те выжили, потому что их поднял Октябрьский ураган. Один из первых уцелевших от землетрясения был, конечно, Маяковский».

Основа поэтического оптимизма, — пытался он объяснить, — это социальное возрождение; оно требует новых литературных форм, которые необходимо выявить.

«Наша бурная эпоха не терпит канонизации, — говорил он. — Сколько было поэтов, признанных ведущими, о которых сегодня никто не помнит?» — в сущности, он уже думал вслух, перескакивая с одной мысли на другую. Поиски «новых форм» и «канонизация» отдельных имен — несовместимы. Необходимо признать, говорил он, что «имя поэта революции остается за Маяковским, так же как непогрешимое имя мастера за Борисом Пастернаком».

И еще одно имя, сказал он, имеет не меньшее право быть названным на писательском съезде: Александр Блок, «чьи “Двенадцать” и “Скифы” до сих пор проносятся над нами, как декреты Ленинского Совнаркома».

Ему хотелось бы высказать все, что он считал важнейшим.

«Подменять активную тему голым лозунгом, новаторство стиха — эквилибристикой, прекрасную ясность — безграмотностью и упрощением, — говорил он, — это преступление перед страной, которую все мы считаем общим отечеством».

Короткая речь едва вместила самые необходимые характеристики поэтов прошлого, досадно недооцененных в докладе. Суждения о многовековой грузинской культуре и о национальной политике советской власти...

Все же он высказал и мучившую его мысль — в форме утверждения — сказав, что «теперь у нас есть уверенность, что идеологическая борьба не будет подменяться голым администрированием... А то раньше доходило до такого недоразумения, что на основании слов грузинских горе-критиков тов. Керженцев корил меня в “Правде” за манифест, который я поместил в нашем левом журнале ровно 19 лет тому назад и который, конечно, содержал целый ряд грубых ошибок, потом изжитых мною».

Речь Тициана Табидзе не прошла незамеченной.

Вслед за ним Егише Чаренц выступил в защиту «сложной» поэзии:

«К чему скрывать свои интеллигентские головы в песках шатких теорий сложности искусства, — говорил он, — а не сказать во всеуслышанье, что мы своей психологией, являющейся продуктом сложного развития всей культуры прошлого, сегодня можем представлять и отображать жизнь и борьбу только так; иного духовного аппарата у нас нет; и этот наш аппарат мы не можем изменить в один день так, чтобы он и художественно отражал жизнь во всей ее сложности, и как искусство был бы целиком адекватен массовой психологии пролетариата... Ничтожная цена того сложного искусства, которое даже в творящем его авторе вызывает сомнение в целесообразности и актуальности его. Это очень хорошо понимал Маяковский, но он шел по линии наименьшего сопротивления. Величайшая его трагедия была в том, что он понимал это, но как художник он не смог преодолеть себя в новом синтезе художественной сложности и актуальности темы».

Егише Чаренц говорил об исчерпавшем себя «простом» искусстве таких поэтов, как Жаров и Безыменский, защищая искусство высокое («сложное»): «Крупнейшие представители “сложного” искусства не жалеют усилий в деле приближения к великолепной практике строительства социализма, — говорил он. — Фактом является и то, что из кругов Демьяна и Безыменского сегодня начинают выходить такие многообещающие поэты, как Прокофьев, Борис Корнилов и другие, чье искусство значительно ближе по квалификации к Пастернаку и Тихонову».

14 декабря 1934 года.

«Дорогая Нина Александровна!

Обеспокоен слухами о том, как ведет себя Тициан и не бережет своего здоровья. Женя рассказывала мне, что он спит не больше ночи

в неделю, а за бутылкою не отстает от товарищей. Что же ото всего этого получится? Мне все это непередаваемо больно. На Тициана как на человека и поэта у меня и у всех нас тут самые большие надежды. Пусть обращают ночи в дни и спиваются другие, Тициана мы не уступим. Если примеры заразительны, переезжайте к нам. В словах моих о других не ищите намека. Это не персонально кто-нибудь (менее всего Гогла или Паоло), новая среда в целом.

А еще так недавно я, заглядывая в ближайшее будущее и гадая о том, с кем бы мне хотелось разделить его, более всего думал о Тициане... Хороша же на него надежда, если в то самое время, как я вдруг получил обостренный интерес к здоровью, забочусь о нормальном сне и стараюсь бросить куренье, он в припадке непозволительной детскости жжет свечу с обоих концов. Пусть временно займется драмою или прозой. Это хуже каторги и... скучно. Для этого ему потребуются совсем другие силы, нежели для лирики. Наверное, как и я, он ничего тут хорошего не напишет и этих сил не найдет, но в их поисках он, по крайней мере, попробует дышать чистым воздухом, ложиться вовремя и иногда, курьеза ради, оставаться трезвым.

Ну, что нам с ним делать? Напишите мне, пожалуйста, что с ним. Ну, как можно быть таким податливым и уступчивым. Ну, порой смеются над его мнительностью, — неужели у него так мало силы воли? Неужели он не понимает, что они не в равном положении? Пролетариату нечего терять, кроме цепей, а у него еще и часы найдутся. Напишите мне, пожалуйста, как далеко зашло его падение, и не сердитесь, пожалуйста, на мое прошлое письмо. Тициана обнимаю. Поцелуйте Ниту. Ваш Б.»

17 июня 1935 года.

«Дорогой Борис Леонидович! Всю ночь не спал вчера; еще нет рассвета, и мне безумно хочется написать Вам, как мы все о Вас думаем и как нас беспокоит Ваше здоровье. По приезде из Москвы я пролежал около месяца, у меня были сильные приступы астмы; дела и всякие обстоятельства заставили забыть о болезни и “ломать своего Шекспира”; за все это время, если я очень думал, — всегда о Вас, и каждый раз хотелось написать, но все воображаемые письма и “замыслов незавершенных тени” едва бы могли выразить даже ту презренную долю чувства, что вообще дано выразить человеку; и мучительная мысль, что каждый раз откладывалась без выражения, уже сделалась сладчайшей самоцелью, и было приятно носить, как какую-то невыразимую боль и томление; казалось, что это чувство невысказанное все равно действует на атмосферу и каким-то образом Вам передается, — напряжение этого тока прямого провода чувства я почти физически ощущал,

и мне хотелось плакать, когда я о Вас заговорил с Мариєю Вениаминовной Юдиной на улице перед отъездом, когда она спросила, что передать Вам, так же как каждый раз друзья мои, привыкшие, чтобы я имел от Вас вести, спрашивали о Вас; притом круг людей, интересующихся Вами в Грузии, фантастически растет, не знаю — чем объяснить это пристальное внимание даже простых грузин к Вам, — должно быть, они тоже чувствуют Вашу любовь к Грузии, что до сих пор держится на “Волнах” книги “Второго рождения”. Я был безумно тронут, когда недавно ездил в Казбек с белорусской делегацией, и молодые даже прозаики белорусы говорили наизусть Ваши стихи о Грузии, и я оставил машину...

Для меня ожили воспоминания того необыкновенного лета, когда мы впервые влюбились в Вас, — даже Нина, довольно смелая и так гордящаяся вашим эпитетом “Сукинсына”, робеет и через Зинаиду Николавну не может подать голоса; и не менее смелый Паоло каждый раз с завистью спрашивает, не получил ли я от Вас письма, сам собирается писать, но, видно, себя не пересиливает. Вообще Паоло у меня за последнее время под ударом сомнения, но его любви к Вам я больше верю, чем какому-нибудь его чувству...

Моей астме прибавилось еще другое горе: хотели взять под обстрел мою последнюю книгу стихов и по-рапповски поработать...

Мне сейчас никто не мешает работать, все мелкие дела заканчиваю, чтобы быть готовым:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба, —
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба...

Это Ваше дыхание почвы и судьбы и “полной гибели всерьез” неотступно меня влечет; мне кажется, что это будет самое ценное, что вообще мне положено сказать, потому я намеренно отказался от Вашего любезного приглашения использовать Ваш апрельский перерыв и прислать стихи для переводов; это Вам нетрудно представить, как меня это тронуло и подбодрило. Потом мне передавали Ваши слова, что Вам хотелось приехать в Грузию или меня вызвать на какую-нибудь подмосковную дачу, чтобы вместе прожить месяц; встречи с Вами для меня чистилище — я только тогда возвращаюсь к поэзии; признаться, я давно не испытывал такого чувства, это бывает в ранней юности в горячке первой любви. Мне кажется, это чувство первой любви у Вас перманентное, и я вижу Вас вечно на положении марбургских встреч без пальто, в поезде на Берлин, задыхающимся от слез первой мучительной любви — эта дрожащая, озябшая или трепетная лирика и дает

сильнее только Зину. Привет от всей души родным Нине и Ниточке.
Ваш Б.»

8 апреля 1936 года.

«...Почему Вы задерживаетесь и все не едете, Тициан? Я хотел Вам протелеграфировать не о любви своей и верности, — это Вам известно и давно надоело. Я хотел Вам сказать, чтобы Вы не унывали, верили в себя и держались, невзирая на временные недоразумения... В пердьягах недавнего прошлого было много обманчивого, неопределенного. Я сразу это почувствовал. Меня никто не собирался трогать. Я имел глупость возмутиться за других, за Пильняка, за Леонова. Я позволил себе просто, по-домашнему сказать, что газетные статьи мне не нравятся и я их не понимаю. Что тут было! Вместо того чтобы напечатать в газете, что я совершил политическую непозволительность (что было бы для меня тяжелее), мою вину смягчили и, в виде наказания, зачислили меня на одну пятидневку в формалисты. Но и то не долее: это успеха не имело. Ах, какая все это чепуха! Это был неприятный сон, приснившийся нескольким деятелям современной детской, и при всем старанье, я не мог переместиться в плоскость их кроваток. Если есть доля правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени, с его исторической бесконечностью. Как же может бесконечность быть долей, да еще такого ничтожного целого, как та манная критическая кашка, которую так трогательно расхлебывали целый месяц? Вот ответ: эта правда давалась в безотраднo слабом растворе; страшную, грозовую истину разводили слюной и молоком. Не верьте растворам, Тициан! Верьте именно в этой линии, именно из революционного патриотизма, верьте уж лучше себе, Тициану Табидзе, потому что, как бы то ни было...»

1 октября 1936 года.

«...Нина, Нина! Тициан, мое золото, что со мной делается, милые мои? Откуда эта вода и скука и это бездушье и глупость, один ли я повинен в них?.. Не успокаивайте меня, лучше я сам Вас успокою. Тициан и Нина, не думайте, что я действительно кончился, что теперь все у меня пойдет в таком роде. Вы увидите, прозу я напишу, я два дня как вновь за нее взялся. Одно знаю, она будет живая. Здесь именно отыщутся те следы жизни, которой как будто у меня не стало со “Второго рождения”. Да, но как можно было дать такой трехстопничек, такое птичьё, пустоватое ти-ти-ти о Грузии! Какой мерзостью было так мало сказать о Паоло! Дружите ли Вы с ним вновь по-старому? Ах, как бы я этого хотел! По отсылке этого рифмованного позора я целыми вечерами думал о нем. Я вспоминал его широту, благородство его проявле-

В тот же день мне пришлось выступать. Пять часов я провел в напряжении на квартире у Бубнова, где были собраны все докладчики и выступающие. Был большой разговор — как сократить речи. У кого было час — сократили до 25 минут, мне дали 10 минут, но когда пришли в театр и сели в президиум члены правительства, то начали опять сокращать. Академику Орлову с 25-ти до 10-ти минут, Лупполу — с 50-ти до 28, Никитенко продлил слово вместо 15-ти — 25 минут. Потом встал Бубнов и предложил сократить речь. Потом Ставский сказал, что, может быть, все это делается потому, что в ложе сидит Сталин и Политбюро. Коля Тихонов предложил, чтобы я еще по-грузински прочитал свое стихотворение. Я очень волновался, и, не переводя дыхания, начал говорить. Холодный пот меня обливал. В сомнамбулическом состоянии. Но Грузия и новые материалы сделали свое. Меня слушали, и, кажется, даже понравилось. Сейчас я в Москве и вспоминаю тебя и как мы играли с тобою в нарды...»

Я встану, как хевсур старейший, у котла,
Чтоб в чашу первую, запенясь, потекла
Струя кипучего веселья.
И слово я скажу заздравное над ней
В честь храбрых прадедов
и в честь советских дней —
О Пушкине и Руставели.

Перевод П. Антокольского

«...Константин Федин, Пильняк и я возвращались из Переделкина, от Пастернака, в Москву. Неожиданно бросились нам в глаза траурные флаги. Пильняк остановил первого встречного милиционера и спросил, почему траур? Милиционер ответил: умер Серго Орджоникидзе, — вспоминает Н. А. Табидзе. — Когда я вошла в номер гостиницы, Тициан беседовал с репортерами французских газет. Мне сразу бросилось в глаза его состояние: видно было, что он едва сдерживается при посторонних. Только я подошла к нему — он расплакался... В тот же вечер мы выехали в Тбилиси. В дороге Тициан написал стихотворение “Дагестанская весна”. Одно из последних его стихотворений».

Ошибка памяти: в тот вечер они никуда не уехали. И потом еще — месяца полтора. Серго Орджоникидзе умер 18 февраля, 20-го были похороны. Готовился IV Всесоюзный писательский пленум с очень важной повесткой дня.

На пленуме выступил Паоло Яшвили, который был теперь Павле Яшвили (так назвал его Сталин во время какой-то встречи; говорят, что во время маленького домашнего банкета у Сталина он был тамадой

и сидел с хозяином рядом). На пленуме Яшвили трудно было узнать: седой, постаревший (ему и сорока трех еще не было), с очень грустными глазами, Павле Яшвили говорил о бдительности; было заметно, как трудно ему выговорить некоторые имена. В его речи не было обычного блеска, легкости, остроумия. «Я хочу предостеречь молодежь от наших ошибок, — говорил он твердым и глуховатым голосом. — Каждого человека, с которым ты общаешься, надо проанализировать и проверить. Нужно быть бдительным к каждому шепоту и поступку. Если зоркость писателя будет обращена к каждому человеку, с которым он общается, ему не трудно будет разглядеть врага».

Паоло уехал из Москвы, как только закончился пленум.

Тициан уехать не мог: на 4 марта был назначен его творческий вечер в Москве.

В. В. Гольцев на этом вечере сделал подробный доклад о поэтической эволюции Тициана Табидзе — от символизма до наших дней. Неприятно поражали в докладе знакомые с рапповских времен, хотя и благожелательным тоном высказанные упреки: в декадентстве, в оторванности от жизни. Казалось: он «ради пользы» жертвует лучшим, что есть у Табидзе. О переведенных Пастернаком шедеврах «Не я пишу стихи...» и «Иду со стороны черкесской...» В. В. Гольцев сказал: «В них найдете остатки декадентских представлений о назначении поэта, о его роковой трагической судьбе». Гольцев хвалил «Рион-порт»; в стихах об Армении с горечью отмечал «старые образы», хотя тоже хвалил; выделил стихи о Тельмане, о Маяковском, о Долорес Ибаррури...

Тициан себя чувствовал сильно уставшим. Когда ему предоставили слово, заговорил с трудом: о дружбе народов, о Пушкинском юбилее, о поездках русских писателей в Грузию, об издании антологии грузинской поэзии, — казалось, он, совсем не заботясь о связи, нанизывает слова. Лишь один раз, мимоходом, он коснулся собственной биографии — назвал ее «заманчивой»; горделиво перечислил имена русских и французских поэтов, которых считал своими учителями («наша школа символистов имела кое-какие заслуги»).

Паоло высказался об этом на пленуме: о связи декадентства с богемой, которая всегда уводит к врагам — к отказу от «высших идеалов».

«Когда я говорю о гражданской честности, о гражданской морали, — сказал Паоло, — то я имею в виду, что наше поколение, которое в прошлом было заражено декадентским грибком, должно круто осудить все рецидивы мелкобуржуазной декадентской жизни, от которых мы не совсем избавились, должны следовать примеру тех писателей, которые начали свою жизнь в колыбели Октябрьской революции».

Тициан тоже говорил об октябрьском «втором рождении». «Я не могу сказать, — признавался он, — что можно это все пережить мо-

ментально. Тот, кто очень быстро освобождается от ошибок, все же грешит иногда. Переживания эти должны оставить следы, и следы эти остались...»

Он вспомнил Пушкина, Льва Толстого — их «гражданскую честность».

На вечере Тициана Табидзе чувствовали присутствовавших на нем испанских писателей Рафаэля Альберти и Марию Тересу Леон. Говорили о борьбе республиканской Испании против фашизма...

К мыслям о Пушкине и Толстом Тициан вернулся на ленинградском вечере, который состоялся 21 марта 1937 года, под председательством Николая Тихонова.

В Ленинграде был довольно острый разговор о стихах Табидзе, об их гражданственности — даже в «халдейские» времена.

Здесь Тициан подробней сказал о том, что его волновало.

Необычно молчаливый, сдержанный в течение всего вечера, он вдруг оживился — когда заговорил о грузинской поэзии, о ее народных истоках. О Ленинграде: тут ходил Пушкин, тут ходил Блок, тут учился Александр Чавчавадзе, поднявший в Грузии знамя романтизма. Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели тоже учились здесь. И Важа Пшавела. «Это все показывает, насколько мы связаны с Ленинградом и насколько каждый из нас чувствует наследие русской культуры». Именно здесь, в Ленинграде, у Тициана Табидзе вдруг возникла потребность «говорить самокритически о своих сложных путях».

Выступивший на ленинградском вечере Тициана Табидзе Тихонов назвал его одним из самых настоящих, подлинных и замечательных поэтов, в творчестве которого чувствуется размах поэтической работы — «ощущение очень больших пространств». Тихонов подчеркнул колоссальнейшую искренность и поэтическую свободу, бросающиеся в глаза в лирике Табидзе, присущее ему чувство родины, места, родной природы, какое редко можно встретить в творчестве современных поэтов.

Юрий Тынянов особенно подчеркнул близость Табидзе к русской литературе, которую поэт отлично знал и любил. Особенно к Пушкину, в котором Табидзе видел «общую для всех народов Союза гордость»; Тынянов говорил об историзме поэтического сознания Табидзе...

А в Тбилиси шло ответственное обсуждение современных проблем грузинской литературы и искусства: снова назывались имена и к ним добавлялись другие — тех, кому бы следовало «пересмотреть свои связи»; в числе их замаячило имя Павле Яшвили, «которому уже 40 лет, пора взяться за ум».

жала собака. Гарольд. Они много раз вместе охотились, а Паоло любил собак, и тоскующий по хозяину, осиротевший Гарольд бросился к Паоло. Паоло шел не один, но тот, кто с ним шел, отвернулся: Паоло плакал. Он встал на колени перед собакой, и целовал ее, и плакал. Потом Паоло завел Гарольда в комнату, запер дверь и пошел, но собака вырвалась и догнала его. Он три раза с ней возвращался, а потом постучал к соседям и попросил поддержать Гарольда.

...Л. П. Берия был в театре, когда ему принесли известие о Паоло. Он сидел в директорской ложе, а близко, в партере, сидел Николай Шенгелая. Он удивленно услышал: — Это логический конец! — Л. П. был сильно взволнован, выходя из ложи, забыл пальто. Уже в машине вспомнил — и пальто принесли. А Николай Шенгелая не пошел никуда — вернулся домой: у него был сердечный приступ.

Спустя какое-то время Сталин, как говорят, принимал в своем доме грузин, среди которых был Берия. Сталин рукой показал место справа от себя и сказал: — А вот здесь сидел Павле Яшвили. — Он спросил: — Как теперь Павле Яшвили? — Пришлось ему все сказать. Сталин очень нахмурился.

...Или нам суждена та гибель, о которой иногда со страхом мечтали художники? Это — гибель от «играющего случая»: кажется, пройдены все пути и замолены все грехи, когда в нежданный час, в глухом переулке, с неизвестного дома срывается прямо на голову тяжелый кирпич.

А. Блок

В 1927 году Тициан тяжело болел. Врачи признали у него абсцесс легкого. Его увезли в Кобулети, к морю. Это не помогло. Собрался консилиум. Врачи сказали: необходима операция. Взяли подписку у родственников, что осведомлены: благополучный исход операции нельзя гарантировать ввиду его тучности, и сердце слабое. Ночью абсцесс прорвался...

Жена говорила:

— Лучше бы он тогда умер.

...Собрание писателей происходило внизу, в большом зале. Паоло сидел на собрании, потом тихо встал, чтобы выйти из зала. Тициан обернулся, впопыхи поспешил посмотреть на него. Паоло двумя руками

сделал ему знак, чтобы сидел: ничего, мол, все в порядке. И стал, не поворачиваясь, спиной двигаться к двери. Прикрыл за собою дверь, поднялся этажом выше, зашел в одну из комнат, где стояло ружье...

В зале слышали выстрел, но растерялись, не поняли, что случилось. Этажом выше жил младший брат Тициана Иосиф, он прибежал и первый увидел Паоло. Он бросился вниз, чтобы сказать; вошел в зал, увидел Тициана и больше ничего не видел. Повел его домой. Жене Тициана позвонили по телефону. Она выбежала навстречу.

— Его привели писатели. Как Тициан ревел! Как зарезанный. Я ставни закрыла. Уложила его. Первое, что он сказал, когда успокоился немного: «Теперь моя очередь!» — он был уверен, что теперь его уже ничто не спасет. Паоло он после смерти не видел. На похороны были допущены только близкие родственники. Тициан не мог себе простить эту смерть; он винил себя, что не сумел за вызывающим поведением Паоло разглядеть трагедию. Тициану тогда казалось, что Паоло нашел себе другой путь, и не надо ему мешать. Они давно уже почти не встречались. Теперь ему казалось, что Паоло можно было спасти...

После несчастья с Паоло Тициан как-то сразу замкнулся, замолчал и уже никуда не ходил; даже на улицу боялся выйти, чтобы не встретить знакомых. В их просторной столовой — чего никогда не бывало — стол накрывался на четверых.

Последний раз его видели на людях 12 сентября 1937 года, во время торжественного открытия обелиска в Цицамури, на месте гибели Ильи Чавчавадзе.

«Был очень жаркий день, — вспоминает Шалва Апахидзе. — Мы сидели под деревом. Тициан себе места не находил. Он весь как-то опустился, поник. Не было в нем прежней вдохновенной взволнованности. Грустно смотрел он на горы вдали. Что было тогда у него на сердце? Он стал неразговорчив. Скоро уехал...»

Может быть, в этот мучительный, жаркий день, в сознании безысходности, у него сложилось последнее четверостишие:

Наше солнце пылает губительным жаром —
Все сжигает неистовой силой.
Встанет мертвым, вечерним, негреющим шаром
Над моей безымянной могилой...

В самом конце лета, ненадолго, они перебрались на дачу в Ахалдаба. Тициан часами сидел один на балконе, много думал, работал. Его жена сама хозяйничала — он смотрел на нее изумленно. Жалел, что так много времени жил как бы вне семьи. Говорил ей: «Хорошо мы все-таки прожили, и какая прекрасная могла бы у нас быть старость!». Он казался спокоен и даже счастлив. Жена убеждала его продолжить

маешь, что это надо сделать!». Его поддержал Леонидзе. Симон Чиковани и Ражден Гветадзе молча переглянулись, подумав одновременно, что сейчас председатель к ним обратится. Все знали кристальную честность Раждена Гветадзе и что оба они — из самых близких друзей Табидзе и Яшвили. Ражден Гветадзе наклонился к Чиковани и тихо сказал: «Уйдем сейчас». Они вышли, стараясь, чтобы никто не заметил этого. Не спеша спустились по улице Кирова к площади Ленина. Проходя мимо большого гастронома на углу, они заметили, как по другой стороне улицы сбежал Тициан. Он очень быстро шел, обхватив голову руками, подняв воротник белой длинной блузы, которую всегда носил летом. Чиковани его окликнул, но Тициан или не слышал, или не захотел отозваться, бегом пересек площадь Ленина и скрылся в направлении к дому.

На другой день к нему зашли двое, из писателей, они его убеждали, что Паоло Яшвили умер, его уже все равно не спасти, ему уже ничего не будет от того, что Тициан о нем напишет статью, в которой объяснит, почему они разошлись и уже больше года не знали и не встречались. Факты всем известны — надо только написать такую статью, и все будет в порядке. Тициана восстановят в союзе.

Тициан сказал этим двоим: он бы мог написать такую статью про них самих, потому что они живые, — пусть его опровергнут: «Паоло Яшвили мой друг». — Им пришлось уйти.

«Помню последнюю встречу с Тицианом, — вспоминает Шалва Апахидзе. — Это было ночью. Я и Сандро Шаншиашвили пришли к нему. Тициан лежал. Рядом стояла Нина, его самый верный друг и утешитель. Мы долго беседовали, хотели его как-нибудь отвлечь от его мыслей. Он был не в духе, и разговор не клеился. Через два-три дня его уже не было».

О последней встрече с Тицианом Табидзе пишет Симон Чиковани:

«Мне передали, что, оклеветанный, он мечется дома, окончательно потерял покой и с каждым часом тает, как восковая свеча. Я тотчас же пошел к нему, чтобы хоть на несколько часов отвлечь его от мрачных мыслей, облегчить его страдания, вызванные напряженным ожиданием надвигающейся беды, о приближении которой он судил по многим неоспоримым признакам. Он очень обрадовался моему приходу. Вскоре он увлекся беседой и прочитал мне несколько своих еще не напечатанных стихотворений. Мы говорили о поэзии, вспоминали наших общих друзей. Муза его поэзии, его Коломбина, неразлучная спутница его жизни — Нина Макашвили — участвовала в нашем бдении и благодарным взглядом смотрела на меня... Когда я уходил, Тициан проводил меня до середины лестницы и с грустной улыбкой попрощался со мной...»

Незадолго до своей смерти Симон Иванович рассказал мне об этой последней встрече:

— Нина прибежала ко мне... «Симон, — говорит, — к нам ходят писатели, уговаривают Тициана, чтобы он эту статью написал, про Паоло. Ужас какой. Он умрет. Ты бы к нему зашел... Только не говори, чтобы он писал эту статью». Я пошел к нему...

В два часа ночи приходил Серго Квдиашвили — Тициан его очень любил, — они ночью играли в нарды.

Дочь Тициана рассказывает:

— В один из последних дней он позвал меня в свою комнату. Он уже все время ходил расстроенный, хмурый. Я вошла — он еще не вставал, был в постели, посадил меня рядом. И вот он мне говорит: «Ниточка, очень трудно тебе будет жить. Я не хочу, чтобы ты не знала. Ты ведь понимаешь, что сейчас происходит. Может быть, исчезнем и я, и мама. Ты останешься совсем одна, с бабушкой. Будет очень много лишений, но я очень хочу, чтобы ты это поняла. Что бы в жизни с человеком ни случилось, ничто не сравнится с той болью, которую может дать стыд за своих родных. Ты знай, что тебе за родителей никогда краснеть не придется, мы были честные, порядочные люди, и ты всегда сможешь родителями гордиться. Я мог бы тебя спасти от беды, и мы бы жили очень хорошо, но тебе пришлось бы меня стыдиться, пришлось бы стыдиться своего благополучия... В жизни никогда ничего не надо делать вопреки своей совести...». Я расплакалась, и мама увела меня.

— Мы уже два месяца ждали, — вспоминала Нина Александровна. — Мы устали ждать и в ту ночь спали крепко и не проснулись, когда прозвенел звонок. Нита пошла открыть. Я вышла в столовую и увидела, что в столовой светло. На столе в бокале краснела его гвоздика. Мне показалось — утро, пришла молочница, я обрадовалась — на миг...

15 декабря 1937 года.

Эта дата не скоро стала известна. Сначала никто ничего не знал. Ходили слухи. Роились ни на чем не основанные надежды.

«...Обращаюсь к Вам в связи с делом Берия. Наконец настал день, когда не только для Грузии, которой выпала горькая доля многолетнего “шефства” этого авантюриста и негодяя, но и для всей нашей страны стало ясно, что Берия — враг народа. Первые же шаги вредительской деятельности этого злостного врага были направлены к тому, чтобы беспощадно уничтожить передовую грузинскую интеллигенцию, получившую образование в России, в русских университетах, усвоивших высокую русскую культуру. Берия организовал целый ряд провокаций, подтасовывая факты из жизни и деятельности этих людей... Одной из

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Для Галины Михайловны Цуриковой (1928–2009) литература была не только профессией, выбранной по любви и таланту, но и жизненной необходимостью.

Она окончила филфак Ленинградского университета в 1951 году, недолго преподавала литературу в школе рабочей молодежи, потом, поступив в аспирантуру, писала диссертацию о лирике Маяковского, потом работала редактором «Библиотеки поэта» в издательстве «Советский писатель». Работа эта предполагала обширную филологическую осведомленность, — чем Галина Михайловна обладала в полной мере, — требовала дипломатической гибкости и настоящего сопротивления придирам цензуры.

Галине Михайловне поручались самые труднопроходимые книги. В начале 1960-х гг. она редактировала том Бориса Пастернака для «Большой серии Библиотеки поэта», и тут борьба велась на всех фронтах — и за полноценный состав книги, и за вступительную статью А. Д. Синавского с непривычной концепцией пастернаковской лирики. Драматическая борьба эта отразилась в переписке редакции с А. Д. Синавским. Письма Цуриковой при этом отличались бережным обращением с неуступчивым автором и неизбежным пониманием вынужденных минимальных поправок ради преодоления многослойных цензурных фильтров. В этом случае редакция победила, том Пастернака вышел в 1965 году. Но уже в 1968 году, при подготовке двухтомника «Мастера стихотворного перевода» со вступительной статьей Е. Г. Эткинды, редакция была разгромлена: главный редактор В. Н. Орлов был отстранен от должности, а Г. М. Цурикова уволена под предлогом сокращения штатов. Увольнение Галина Михайловна приняла с некоторым даже облегчением. Работа в «Библиотеке поэта» начинала ее тяготить, еще до этой истории она подумывала об уходе «в никуда», но решиться на такое было нелегко.

Цурикова активно выступала как критик, писала о поэзии Маяковского, о специфике очеркового жанра, печатала рецензии на дебютные новинки молодых авторов в «Новом мире», «Звезде» и других «толстых» журналах. Таинственная стихия лирики, равно как и природа документальной прозы, оставались предметом ее постоянного внимания. В 1961 году вышла в свет ее не слишком объемная, но достаточно весомая книга об Ольге Берггольц, в 1963-м — первая на тот момент монография о Борисе Корнилове, несправедливо осужденном и погибшем в 1938 году. *Литература и время* в их многообразных аспектах и пересечениях стали для Цуриковой сквозной темой, нашедшей свое развитие в книгах «Утверждение личности» (1975) и «Контрасты осязаемого времени» (1988), написанных в соавторстве с И. С. Кузьмичевым. Обе эти книги — и «Утверждение личности», где речь идет о документально-художественной прозе, биографиях и воспоминаниях «бывалых людей», и «Контрасты осязаемого времени» о нравственных коллизиях прозы 1960—1970-х гг., — обе эти книги, начисто лишённые официальной конъюнктуры, изложенные в манере умной, доверительной беседы, могут быть востребованы и сегодня.

Галина Михайловна любила дружескую беседу, причем бытовые, житейские пересуды не очень ее занимали. У нее было некое особенное свойство: рядом с ней люди успокаивались, встревоженные, отчаявшиеся вдруг обретали почву под ногами. В любой сложной ситуации можно было найти у Галины Михайловны понимание, совет и поддержку. Она была верным другом — сдержанным в проявлениях чувств, но настоящим. Она всегда сохраняла в себе внутреннее достоинство. Всем, кто жаловался на неблагоприятные обстоятельства, неудачи, возвращение рукописей из редакций, она искренне сочувствовала, однако убежденно говорила, что все это не должно иметь власти над человеком; наоборот, претерпев неудачу, надо трудиться еще упорнее, а тот, кто рассчитывает на обязательный успех, на то, что каждая его строчка будет опубликована, тот настоящего успеха как раз и не достигнет.

Покинув «Библиотеку поэта», Галина Михайловна вплотную принялась за книгу о Тициане Табидзе. Казалось странным, что, ничего не зная о нем, никак не связанная с Грузией, она взялась писать о выдающемся грузинском поэте, но позже выяснилось, что интуиция ее не подвела. Тогда еще была жива вдова Тициана Нина Александровна; она и ее дочь Нита (Танит) приняли Галину Михайловну как родную в своем тбилисском доме. Так они принимали всех, переступавших порог их квартиры, — так же принимал гостей в свое время и Тициан. Нита улыбкой и выражением глаз повторяла отца. Борис Пастернак, друживший с Нитой до конца жизни, замечал в ней «незаурядность внутреннего



Родители Тициана Табидзе: Юстин Табидзе и Елизавета Пхакадзе.
Братья Симон и Тициан. На руках матери сестра Софиико

*Фотографии (кроме особо оговоренных) предоставлены
Государственным музеем грузинской литературы*



Тициан Табидзе. Кутаиси. 1910-е годы



Тициан Табидзе с сестрами Екатериной, Софьей и братом Симоном. 1922 год



Георгий Леонидзе,
Геронтий Кикодзе,
Тициан Табидзе.
Тбилиси.
Сад Дворца писателей.
1920-е годы



Тициан и Нина Табидзе.
Тбилиси.
Сад Дворца писателей.
1920-е годы



Лео Киачели, Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Мосе Тондзе, Варлам Рухадзе, Котэ Макашвили.
Тбилиси. Дворец писателей. 1923 год



Галактион
Табидзе,
Константин
Бальмонт,
Варлам Рухадзе.
Кутаиси.
Книжная контора
«Имерети».
1915 год



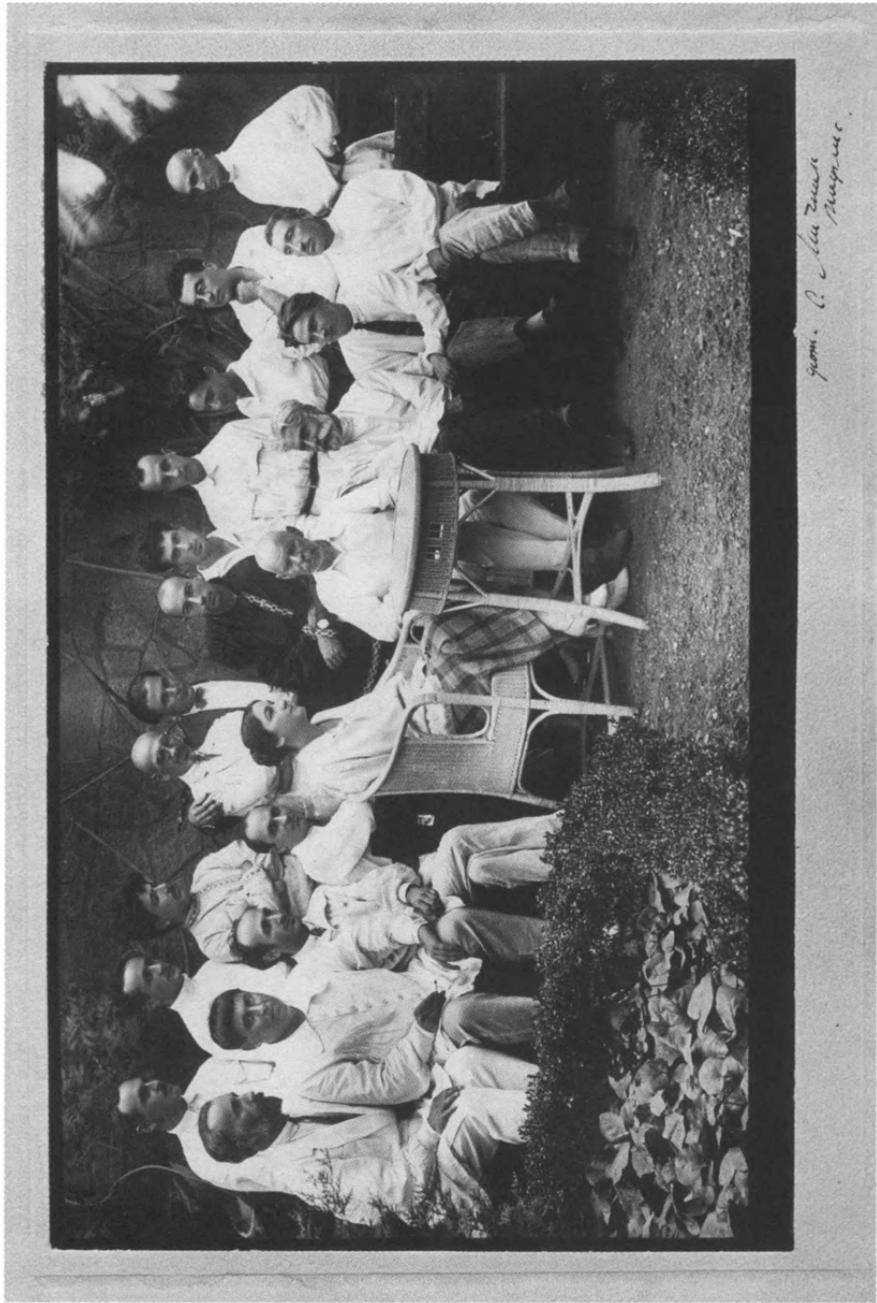
Двоюродные братья
Галактион Табидзе
и Тициан Табидзе.
1920-е годы



Дочь Тициана Табидзе
Нита (Танит) с матерью
и бабушкой Барбаре Каралашвили.
Тбилиси. 1920-е годы



Сидят: Василий Барнов, Георгий Леонидзе, Якоб Николадзе, Тамара Абакелия.
Стоят: Кирилл Зданевич, Валериан Гаприндашвили, Паоло Яшвили,
Тициан Табидзе.
Тбилиси. Редакция журнала «Бахтриони». 1922 год



фот. В. Сидишвили
Тбилиси.

Максим Горький (в центре) среди грузинских писателей в саду Дворца писателей. Второй слева сидит Гиццян Табидзе
24 июля 1928 года



Ражден Гветадзе, Тициан и Нина Табидзе, Колау Надирадзе,
Валериан Гаприндашвили. 1927 год



Первый ряд: Колау Надирадзе, Клавдия Васильева (Бугаева), Тамара Яшвили,
Нина Табидзе, Николо Мицишвили.
Второй ряд: Тициан Табидзе, Андрей Белый (Борис Бугаев), Паоло Яшвили,
Григол Робакидзе, Сандро Шаншиашвили.
Тбилиси. 1929 год



Тициан и Нина Табидзе с дочерью Нитой. Батуми. 1930-е годы



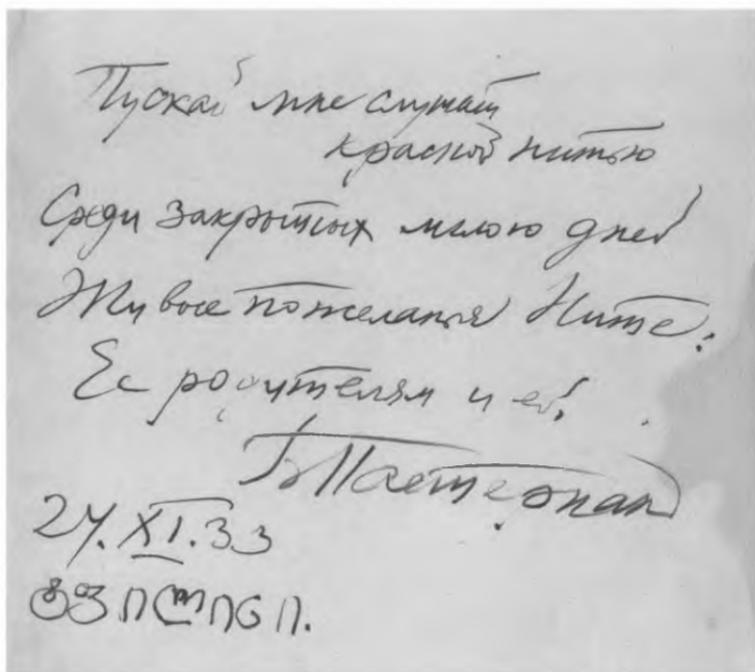
Борис Пастернак, Зинаида Нейгауз, Стасик Нейгауз. Кобулет. 1931 год.
Фотография предоставлена Домом-музеем Б. Пастернака в Переделкине



Тициан Табидзе. 1930-е годы



Нина Табидзе с Нитой. 1930-е годы



Лист из альбома Ниты Табидзе. Автограф Бориса Пастернака:
«Пускай мне служат красной нитью / Среди закрытых мглою дней / Живые
пожеланья Ните: / ее родителям и ей! Борис Пастернак. 24. XI. 33».

В левом нижнем углу по-грузински написано: «Тбилиси»



Первый ряд: Симон Чиковани, Александре Кутагели. *Второй ряд:* Сандро Шаншиашвили, Николай Тихонов, Мария Неслуховская (Тихонова), Ило Мосашвили. *Третий ряд:* Тамара Баграгиони-Мицишвили, Ефемия Гедеванишвили-Леонидзе, Мариам Касрадзе-Шаншиашвили, Нина Табидзе, Тициан Табидзе. Тбилиси. Дворец писателей. 1934 год



Первый ряд: Демна Шенгелая, Сандро Шаншиашвили, Николо Мицишвили, Паоло Яшвили, Борис Пастернак, Виктор Гольцев, Шалва Сослани.
Второй ряд: Иосиф Гришашвили, Дия Чианели, Георгий Леонидзе, Лео Киачели, Мариджан, Пантелеймон Чхиквадзе, Малакия Торошелидзе, Николай Тихонов, Давид Деметрадзе, Шалва Дадиани, Тициан Табидзе.
Третий ряд: Чермен Бегизов, Николай Микава, Самсон Чанба, (?), Павел Сакварелидзе, Сандро Эули, Петр Самсонидзе, Бессарион Жгенти, Александр Дудучава, Александр Кутатели, Геронтий Кикодзе, Ираклий Абашидзе, Герцел Баазов, Жанго Гогоберидзе, Симон Чиковани.
Первый всесоюзный съезд советских писателей. Москва. 1934 год



Паоло Яшвили, Борис Пастернак, Тициан Табидзе.
Первый всесоюзный съезд советских писателей. Москва. 1934 год.
Фотография предоставлена Домом-музеем Б. Пастернака в Перedelкинe

ПРОТОКОЛ № 64

Сов. Секретно

Заседания тройки при Комиссарнате Внутренних Дел Грузинской ССР

от 15 декабря 1937 г.

Председатель тройки НКВД Грузинской ССР _____

Секретарь _____ Прокурор по следствиям _____

Секретарь _____

Слушали:

Постановили:

Следдело № 10817,4-го от-
дела УГВ НКВД ГССР; по обвинению
ТАБИДЗЕ Тициана Иустиновича,
1893 года рождения, б/п., из
духовного звания, с высшим обра-
зованием, поэт, член президиума
союза советских писателей, грузин.

Обвиняется по ст. 58/6, 58/7
и 58/11 УК ГССР.-

- 1) Являлся активным членом
высшего партийного организа-
ции в Грузии.
- 2) Проводил вредительскую работу
на фронте литературы и искусства.
- 3) Вел шпионско-разведыватель-
ную работу в пользу французской
разведки.

Привлекался частично к дозна-
тельству показаниями А. ДАВНА БУ-
ДУ, А. ГАСВИАНИ, Е. А. ДАШКЕВИЛИ,
Н. САМБРАВИДЗЕ, В. ДАРАХВЕЛИДЗЕ,
Г. СЛИВА, И. ШИДЗЕВИЛИ, Д. ЦЕРЕТЕ-
ЛИ, А. МКАДЗЕ, Д. ПОМАДЗЕ и В. КВИ-
ТАШВИЛИ.

/ Докладчик тов. КАДАТИНИ ИЛИ /.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРОЙКИ _____

Ч Л Е Н Ы :

СЕКРЕТАРЬ : _____

ТАБИДЗЕ Тициана Иустиновича-
расстрелять
Илишить в крайней
мере ему кондуктор

Handwritten signatures and initials

Лист из следственного дела Тициана Табидзе.
Архив Комитета государственной безопасности Грузии



Зинаида Николаевна Пастернак, Нина Александровна Табидзе,
Борис Леонидович Пастернак. *Стоит:* Лёня Пастернак. Переделкино. 1948 год.
Из семейного архива Пастернаков



Дом Тициана Табидзе на Грибоедовской, 18.
Современное фото



Овальный стол в мемориальной квартире Тициана Табидзе.
Слева портрет работы Ладо Гудиашвили: Тициан держит на вытянутой руке
блюдо с халдейскими городами.
Современное фото



Фигурки Пьеро и Коломбины на столе в кабинете Тициана Тибидзе.
Современное фото



Внучки, правнучки и прапраправнучки Тициана Табидзе.

Слева направо: Еленэ Лория, Марям Андриадзе, Зураб Лория, Никололай Андриадзе, Гиви Андриадзе, Нино Асатиани, Нита Цинцадзе, Манана Асатиани, Лиза Цинцадзе. Стоит: Гурам Асатиани

существа», совпадавшего с внутренним существом ее отца: это была одна и та же духовно-душевная субстанция.

Нита оказалась бесценным проводником в мир Тициана Табидзе — Галине Михайловне, приехавшей из далекого Ленинграда, она открыла настоящую Грузию, то сокровенное, заповедное на грузинской земле, что страстно любил ее отец. Галине Михайловне доверили его рукописи, семейные документы, письма — она осторожно глядывалась в листки, исписанные изящным почерком с косо сужающимися строчками... Мир Тициана Табидзе постепенно приоткрывался. Однако проникать в него шаг за шагом было безмерно трудно: Тициан необъятен и неуловим, при младенческой чистоте и непосредственности он глубоко затаен и все время движется, обновляется, он переполнен добротой, мудростью, он мудр, прозорлив, трагичен... И прост, и ясен, и счастлив, — и снова неуловим...

Как это передать? Вся видимая, фактическая сторона событий выписана в книге Цуриковой добротно, щедро, ярко: трагическая история Грузии, ее богатая природа, кипучий город Тифлис, грузинские и русские поэты-друзья... Сквозь пеструю и живописную эту ткань проступает таинственная суть — когда автор прибегает к виртуозному анализу Тициановых стихов.

Книга о Тициане Табидзе вышла в 1971 году, жестоко изуродованная цензурой: последняя глава, «Пепел рассвета», о трагической гибели поэта в 1937 году, была вовсе из нее выброшена.

Молча пережив эту несправедливость, Галина Михайловна снова стала искать что-то такое, что захватило бы ее столь же сильно и потребовало бы напряжения всех творческих сил. Она обратилась к роману о декабристах. И опять был поднят колоссальный материал, прочитано множество книг: старинные, редкие удавалось раздобыть в букинистических магазинах; стопами приносились книги из библиотек. Читала Галина Михайловна быстро, зорко; ее интересовали в данном случае не столько идеи, сколько все частное, бытовое, человеческое: семьи, характеры, душевный склад ее персонажей, Этой работе было отдано десять лет, пока не выкристаллизовался окончательный, компактный, очень емкий текст с живой, пульсирующей фактурой.

«Сто прапорщиков» (1983) — книга необычная в литературе о декабристах. Она домашняя, интимная, теплая. В то время, когда незыблемой считалась оценка декабристов как героев-революционеров, разбудивших народ, Цурикова предложила сложный, психологически тонкий подход: увиденные вблизи и изнутри, декабристы предстали очень разными, и разными были побуждения, приведшие их на Сенатскую площадь.

Галина Михайловна всегда придерживалась здоровой, реалистичной философии: в жизни все, в конце концов, так или иначе устраивается, беды и печали тоже укладываются в общую гармонию, нужно только иметь терпение и работать, и все получится. И это ее убеждение не однажды подтверждалось: в самое трудное время ей выпала счастливая удача — участие в публикации архивных материалов из наследия академика А. А. Ухтомского.

Ухтомский тогда был мало известен просвещенной публике, разве что его княжеское имя связывалось со словом «доминанта». Да и в ученой среде масштаб его личности и научных заслуг был недооценен. Между тем, Алексей Алексеевич Ухтомский — фигура исполинская, личность уникальная: физиолог, мыслитель, богослов-старообрядец, тайный монах, энциклопедист... Человек евангельского духа, полный деятельной любви к людям, он преподавал университетским студентам законы этой любви наравне с законами физиологии.

Погружение в область захватывающих идей, незнакомых чувств, в глубину беспримерной самобытной жизни Ухтомского стало для Галины Михайловны подлинно духовным событием. На фоне нарастающей социальной депрессии жизнь ее наполнилась ценным содержанием и высоким смыслом.

В последние годы Галина Михайловна спокойно говорила о мировом апокалипсисе, о конце геологического периода, выстраивала в один ряд природные катаклизмы, взрывы агрессии в разных точках планеты, все более частые случаи человеческой жестокости и безумия. В мелькании разрозненных фактов она видела признаки глобальных процессов, не признавая конспирологию, не веря в заговоры; причины событий связывала с человеческой судьбой.

У Галины Михайловны было крепкое от природы здоровье, ничем серьезным она никогда не болела, почти не обращалась к врачам. И, хотя силы ее постепенно таяли, она до конца сохраняла ясную голову, свой замечательный ум и равнодушное отношение ко всему происходящему в мире.

Ирина Рожанковская



Тициан Табидзе
АВТОПОРТРЕТ
Избранное



Стихи Тициана Табидзе последний раз выходили на русском языке двадцать лет назад в книге, которую мы полностью воспроизводим в настоящем издании. Она была уникальна благодаря не только вошедшим в нее стихам Тициана, никогда ранее не переведившимся на русский язык, но и новым переводам уже известных стихотворений.

Удивительны и сами обстоятельства ее появления на свет.

Книга была подготовлена к печати Главной редакционной коллегией по переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии в конце 1980-х годов (предыдущая книга стихов Тициана Табидзе в русских переводах выходила в 1967 году). Но случился апрель 1989 года, потом война 1991—1992 годов. Здание Коллегии находилось почти в центре боевых действий. Однако машинопись, которая так и осталась лежать на редакторском столе, — уцелела. В начале 1990-х годов ее привез в Петербург составитель книги, поэт Илья Дадашидзе. Книга вышла в 1995 году в издательстве «Всемирное слово» при поддержке президента грузинской диаспоры Бадри Какабадзе.

С тех пор многое переменялось и в мире, и в политических отношениях между двумя странами, Россией и Грузией. Однако грузинская поэзия не перестала быть для нас тем, чем была последние два века: частью русской литературы и русской культуры, чему свидетельством является и эта книга.



Печатается по: *Табидзе Тициан*. Автопортрет: Избранные стихотворения и поэмы. СПб.: Книгоиздательство «Всемирное слово», 1995.

«А ОН КОВАРНО УЛЫБАЛСЯ»

Я был один, и жаловался я
На жизнь свою, духовное сиротство,
И проклинал я бренность бытия
И всю его жестокость и уродство.

И небосвод, в союз вступив со мной,
И слезы лил, и в плаче содрогался,
Мы были скорбью связаны одной,
А он... «А он коварно улыбался».

На черном ложе, смерть свою вдали
Завидев, я томился и метался,
И слезы из очей моих текли,
А он... «А он коварно улыбался».

Ноябрь 1909

Перевод А. Кушнера

ЦВЕТОК

В засохшем поле, на пороге дней
Осенних, цвел неведомый цветок.
И не росой, а инеем, скорей,
Он был покрыт, и плакал, одинок.

Его собратья, видел он, увы,
Впадали в сон, сдавались холодам,
Безмолвно увядание листвы
Он наблюдал, печалясь, здесь и там.

«Не пощажу, пощады не проси,
Дни сочтены твои», — свистел ему
Злой ветер, прах удушливый вблизи
Его вздымая, торопясь во тьму.

Декабрь 1909

Перевод А. Кушнера

ПАМЯТИ МЕЛИТОНА ЧОГОВАДЗЕ

Ночь темна. Облака надо мной
Бродят вяло, как мрачная дума.
Я рыдаю, утратив покой,
Я молчу, озираясь угрюмо.

Тонет в плотном тумане гряда,
И ручей громыкает камнями:
— Он из мира ушел навсегда! —
Злобный демон смеется над нами.

Ты нас предал суровой судьбе,
Избежать ты не вправе укора:
Для того ль доверяли тебе,
Чтобы нас ты покинул так скоро?

Но под гнетом судьбы не пригнем
Головы, не забудемся в плаче,
Твое дело продолжить рискнем,
Даже если не будет удачи...

Прочь унынье! Такой человек
Не подвластен и смерти всевластной,
Не сотрется, впечатан навек,
В сердце лик его, образ прекрасный.

Февраль 1910

Перевод А. Кушнера

* * *

Тихая ночь, немота во вселенной.
Еле видна в поднебесье луна,



Звезды ее окружают, как войско,
Скорбная, путь продолжает она.

Ангелов стая летит в поднебесье,
Звуки их арф отзываются здесь,
Славу Творцу они в небо возносят,
Это их пенье — бессмертия весть.

Длите же пение — не выпускайте
Арфу Давида из трепетных рук.
Кто воскресит мое сердце? Один лишь
Вашего пенья ласкающий звук.

О, если б я, горемычный, сегодня
Мог бы примкнуть к вашей рати святой
И отрешиться от грешного мира,
В край сновидений уйти за мечтой!

Тщетно... Впустую бушуют желанья,
Тщетно мечта устремляется вдаль,
Скорбь воцарилась у сердца в глубинах,
Душу мне снова тревожит печаль.

Февраль 1910

Перевод Ю. Даниэля

* * *

Ветром вечерним, еле слышимым,
Нежным зефиром травы трогая,
Прямо на луг, росой вышитый,
Сумрак спускается за дорогою.

В небе луна плывет слепящая,
С воинством звезд во тьме аукаясь.
Это сияние землю спящую,
Как колыбельная песня, баюкает.

В небе окутанные туманами
И налитые небесной силою,
Горы сомкнулись надежной охраною,
Оберегая землю милую.

Радостью жизни преисполнено,
Спит в ликование мироздание.
Только поэт, словно стон в безмолвии,
Так одинок в своем вечном страдании.

Февраль 1910

Перевод Ю. Михайлика

ЭЛЕГИЯ

Темная ночь. Ни луны, ни звезды
На небе черном глаза не найдут.
Призраки выступают из темноты,
Сумрачно, сыро, и дождь тут как тут.

Спит, заблудившись в ущелье, ручей,
Словно в туманный попал лабиринт.
В роще безмолвно скорбит соловей,
Плачет, не слыша его, гиацинт.

Поверху легкий скользит ветерок,
Ропщет во мраке Риони, шумит...
Словно печаль одолела поток
Или бывшего мучительный вид.

Царствует в небе глухая тоска,
Черные тучи лениво бредут;
В трауре, вот она, рядом, близка
Горная цепь, и гранит ее крут.

Край разоренный темнеет родной
Горьким укором для жарких сердец...
Будет ли стольким слезам, Боже мой,
Скорбному плачу положен конец?

Март 1910

Перевод А. Кушнера

МАТЬ ПРИРОДА

Судьбой замучен, братьями гоним,
Неверных мыслей жаром обуян,
Природа-мать! Стремлюсь я, нелюдим,
К тебе, спаси меня от тяжких ран.



Земных страданий вынести не смог,
Лишь тихий край мне снится, сельский дом,
И с человеком лживым, видит Бог,
Не смог сойтись, безбожником, рабом.

Люблю твою извечную красу,
Залог бессмертья нам мерцает в ней,
С тобой какой обиды не снесу,
Какого груза горя и скорбей?

Жизнь — это боль, мир — это суета,
До роковой преследуют черты.
Но облегченьем мысль мне будет та,
Что и моей могилой будешь ты.

Апрель 1910

Перевод А. Кушнера

ТРЕПЕЩИ, ВАЛТАСАР!

Трепещи, Валтасар, сметено твое царство, —
Трепещи, Валтасар, трепещи!
Уже смерть рассчитала последний удар свой,
Скоро сгинешь ты в черной ночи.

Да, бедняга, по грубым, по скользким ступеням
Ты спускаешься в смертную тьму.
Нет пощады ни пиршествам, ни песнопеньям,
Ни гостям, ни тебе самому.

Ибо участь твоя — это кара Господня,
Приговор рокового суда.
И твой пепел, что ветром рыдающим поднят,
Завтра сгинет и он без следа...

Ошибаешься — думаешь, горе утопишь
В винных кубках, пока рассвело?
Ошибаешься — думаешь, время торопишь, —
Ан последнее время пришло!

Трепещи, Валтасар! То не факелы пира,
То врывается Кир в Вавилон.

То не кравчие пира, а воины Кира
Притаились у грешных колонн.

Апрель 1910

Перевод П. Антокольского

МУЗА

С чего мне петь? Пусть тот поет беспечно,
Кому удача светлая близка;
А я не знаю радостей покоя,
Меня снедает черная тоска.

По небу растекается унынье,
И сон окутал дальних гор гранит,
И, завернувшись в простыню печали,
Ручей в ущелье, жалуясь, скорбит.

Спит мир вокруг, окутанный туманом,
Он ночи плотный полог развернул,
И пробудились мертвецы в могилах,
И рыщет, бьет тревогу Вельзевул.

Уничтоженьем угрожает миру
С улыбкой дерзкой повелитель зла;
Зачем Парнас покинула, о Муза,
Зачем от небожителей ушла?

Порвались струны, лира онемела,
Ей рабство петь — вовеки не суметь!
И тщетно Музе улыбаться миру,
Когда овладевает миром смерть.

Май 1910

Перевод Ю. Даниэля

МЧИСЬ, ДЕМОН!

Вечно печальная, похоронив
Веру, забыться душа не способна;
Демон, с улыбкой ее подхватив,
К пропасти с нею торопится злобно.



Сумрачный Демон, лети в темноту,
Молнией ночь рассекай беспрестанной,
Гавань душа бы хотела в аду
Встретить, приют обрести долгожданный.

Пусть обманушь, как бывало не раз,
Пусть еще раз я обман обнаружу!
Дорог ли мир, унижающий нас?
Воспоминанье терзает мне душу.

Милая мне изменяет... Тоской
Весь я опутан, как мелкою сетью,
Матушка плачет... А я, Боже мой,
Как я взывал к Твоему милосердью!

Демон, лети! За тобой, без дорог,
Путь я проделаю темный, далекий!
Небытия где-то есть уголок,
Вот он, мой рай... Мой Эдем одинокий.

Май 1910

Перевод А. Кушнера

ПЕСНЬ СТРАННИКА

Подражание Гёте

Воцарилась тоска на ночлег,
Спит вселенная, тих ее сон,
В черный траур оделся Казбек,
Заслонивший собой небосклон.
Ах, никто не услышит мой плач,
Не разделит со мной моих бед,
Сердце глохнет среди неудач,
Одинок я, мне отдыха нет.
О, Всевышний! Как долго, скажи,
Бесприютным мне странником быть?
Нет отрады ни в чем для души,
Крестных мук мне своих не избыть.
Друга верного нет у меня,
По следам моим ходит печаль,
Веры нет, ни звезды, ни огня,
Убран свет в непроглядную даль.

Просит мира душа... Мировой
Скорбью полнится, нет, не вполне
Мертв, с дороги взываю, живой,
Позаботья, молю, обо мне!

Июнь 1910

Перевод А. Кушнера

СКОРБЬ

Зашла луна... Затем затмились звезды,
Оделась в траур горная страна,
Темно кругом... Душа скорбит, темна,
Умолкла лира, — порвана струна.
Безмолвие царит, терзая душу,
Как будто кто-то черный натянул
Платок на все, на воды и на сушу,
В аду безмолвно замер Вельзевул.
Высокая застыла ель под гнетом
Печальных дум, что тяжело давят ей
На плечи-ветви, нет над небосводом
Полуночным темней ее, мрачней.
Кура угрюмой кажется и сирой,
В ее рыданье слышится «прощай»,
Оплакивает «Картлосову лиру
Разбитую» — забытый Богом край.
Пора ночная — время скорби жгучей,
Когда поэт на мир глядит в слезах.
И как таится влага в темной туче,
Так скорбь всю ночь стоит в его глазах.

Ноябрь 1910

Перевод А. Кушнера

МЕЛОДИЯ

Люблю я ночи тихое раздумье,
Тень облаков, укрывшую луну,
Когда один чуть слышно плачет ветер,
А все вокруг одето в тишину.

И соловей поник над гиацинтом,
И скорбь его разносится вокруг,



И ветерок сроднился с колыбельной,
В ночи лелея увлажненный луг.

А ель, ссутулясь, пожелтев в печали,
Негромко плачет в чуткой тишине,
Скорбя о нескончаемом сиротстве
И жалуясь небесной вышине.

Тогда я песню слышу над долиной,
Печальную, как отзвуки дождя,
И лира тоже вторит непогоде,
Бессильными слезами исходя.

...Я не познал величия и славы,
Один лишь плач — мой горестный удел,
Одна печаль на долю мне досталась,
И от нее уйти я не сумел.

1910

Перевод Ю. Даниэля

* * *

В твоём умирающем гуле
Заслышу ль веселье чонгури?

Н. Бараташвили

Я прикоснулся к чонгури и замер.
Это движенье струна повторила.
Плачет чонгури твоими слезами —
Так заколдована бедная лира.

Где ты, любимая? Жизнь моя, где ты?
Если и впрямь ты меня позабыла,
Знай, что я умер, что не жил на свете,
Ибо забвение — это могила.

Как одиноко в пустынном молчанье
В черных ущельях мой стон пропадает.
Сердце мое — лишь гнездо для печали,
Тронешь крылом — и чонгури рыдает.



Сколько спящего света в природе,
Вспыхнут ликующе звездные знаки,
Встанет, сияя, луна в небосводе,
Только глаза мои тонут во мраке.

Мертвое сердце, оно еще бьется,
Все на тебя, на любовь уповая.
Стону чонгури еще отзовется
Дальнее эхо родимого края.

1910

Перевод Ю. Михайлика

МНЕ ТОЛЬКО СЛЕЗЫ СТАЛИ УТЕШЕНЬЕМ

1

Мир, возведенный в муке и тоске,
Непрочен, как песчаный дом у моря.
Я рад бы строить замки на песке,
Удерживает лишь соседство горя.

Всему положен на земле предел.
Вот и мечта, как бабочка, сгорела.
Мне помнится, я счастья хотел...
Но счастье меня не захотело.

2

Я видел — словно бесконечный сад,
Страна моя свое встречала лето.
Пренебрежением своих же чад
Она была наказана за это.

И вот над ней сгустились холода.
И в белый траур облачились горы.
В Риони ропщет подо льдом вода:
Но кто из нас поймет ее укоры.

3

Любовь моя! Ведь ты была со мной!
С тех самых пор, как счет веду лишеньям,
Уже утраты не страшусь иной:
Мне только слезы стали утешеньем.



Я погружаюсь в них, как в водопад.
Я забываюсь в этой жгучей пытке.
Судьба моя, благодарю, я рад:
Ты даже муки даришь мне в избытке.

1910

Перевод Н. Соколовской

ПЕСНЬ МЕДЕИ

В ночи по морю рыщет ураган,
Бушует море, стонет и ревет,
Наверно, разъярился Посейдон —
Сынам Адама бурей он грозит.

За валом вал, ревя, о скалы бьет,
Не причинив им зла, уходит вспять,
И, в небо целясь, грозная гора
Стоит неколебимо, как титан.

Я знаю, знаю — смерть моя близка,
И надо мной ее мерцает тень.
Ее ищу я... О, приди, волна!
Дай мне сродниться, брошенной, с тобой!

Я не скорблю, покинуть я хочу
Обманчивый, бесплодный, бранный мир,
Ведь жизнь моя была небытием,
Теченьем дней, тщетою во плоти.

В пучине моря я найду приют,
Лишь от него самозабвенья жду:
Ведь если мне несчастье суждено.
То для чего судьбой я рождена?

Как мир обманчив! Мал он для меня —
Моих желаний не сумел вместить;
Зову я смерть: «Не опоздай ко мне!» —
Нет более желаний у меня...

1910

Перевод Ю. Даниэля



В ЦИНАНДАЛИ

В небе дивное разнообразье,
Облака, как плоты, там и тут,
Словно сестры идут Чавчавадзе,
Цинандальскую розу несут.
Ярче синей лозы среди тумана
Цвет высоких вершин Дагестана.

1910-е гг.

Перевод А. Кушнера

ПЕСНЯ МАДОННЫ

Ко мне, Ты жив, доверься звездам этим,
К печали здесь живущей не привык,
Здесь душу, словно на другой планете,
Бессмертья озаряет алый лик.
Здесь вольность расправляет крылья... Муку
Прочь, скорбь в могилу велено зарыть,
С любовью — в небо, к небу, словно к другу,
Оно навеет вновь желанье жить.

Ночной зефир уснувшие вершины
Целует страстно, складки их, морщины.
Спит воздух... Звезды, заглянув в глаза,
Зовут Тебя, Ты жив, на небеса.
Здесь вечность охраняема царицей —
Бессмертной красотой, она — во всем.
Свободен дух и в небо устремиться
Зовет Тебя, охваченный огнем.

Январь 1911

Перевод А. Кушнера

ПЕСНЯ ПУТНИКА

Сонет

Сей мир я покинул — обитель страстей,
Душа моя ищет покоя, тоскуя,
От этой тоски, от печали моей,
Укрыть свою душу никак не могу я.



И, как саламандра, горю я в огне,
Никак не сгорая в пылающем гимне;
Я спел свою песнь. Почему же ко мне
Конец не приходит? О небо, скажи мне!

Никто не развеет изгнанника сны,
Напрасно рыдания в пустыне звучали.
Спит небо, спит мир, и далеко в печали
Любимая спит на крылах тишины.

Как жаль, что слезам ее — капелькам света —
Вовек не коснуться могилы поэта...

Январь 1911

Перевод Ю. Даниэля

МОЯ ПЕСНЯ

Душе, в слезах омытой, надоело
Стонать, рыдать, утаивать, не сметь...
К земле обетованной мчится смело
Душа, круша убийцу славы — смерть.

Судьбы врата откройте, отворите —
Князь славы завершает свой полет.
Заканчивает путь свой победитель,
И я обрел спокойствия оплот.

Не страшен гул полночного ненастья,
Теперь я сам — времен владыка, царь,
Теперь я сам — кузнец, властитель счастья,
Во тьме исчезла горестная хмарь.

Душа устала плакать и томиться,
К бессмертию она стремится свой бег,
И, в мир иной перелетев, как птица.
Расскажет о страданиях человек.

Да будет, чтоб врата судьбы открыли,
Князь славы прилетит к нам, как орел,
Чтоб распростерлись трепетные крылья,
И я обитель радости обрел!

Февраль 1911

Перевод Ю. Даниэля

ПЕСНЯ ГРУСТИ

Когда смеркается, и ночи полог черный
В потемках грешную ласкает плоть земли,
И тихий ветерок, дитя печали горной,
Целует шпиль скал, что в облака вошли,
Когда со дна, из тьмы небесного колодца,
Заслоны туч пройдя, струится свет луны,
Мелодия небес волшебная прорвется —
И все заплачет вдруг под лиру Сатаны.

Тогда приходит вдруг печаль из дальней дали,
И песни горести душе моей близки,
И к сердцу звуки льнут, те, что во мне рыдали
От одиночества, от скорби, от тоски.
Люблю я эту песнь, ее печальный лад —
Могильный зов тоски звучней других стократ;
Но чей, узнать бы мне, чей голос рвется в воздух?
Любимой? Друга ли? Звезда ль поет о звездах?..

Февраль 1911

Перевод Ю. Даниэля

СЕРЕНАДА

Май светлый и горячий наступил.
О, буйство пробуждающихся сил!
Звезда души моей, пойдем со мной!
Встает заря. Ликует мир земной...
Луч солнца я использую как нить,
Чтоб вышить им на небе письмена:
— Хочу любить! Хочу ее любить!
Страданий чашу осушив до дна,
Хочу любить! Хочу ее любить!
Душа моя — проснувшаяся птица,
Готовая в простор бескрайний взмыть
И к вечности вселенной приобщиться!
Бледнеет ночи мгла. Смерть умерла!
Душа поет, свое бессмертье чуя.
Ликует все кругом. Мой друг, пойдем!
Прижмись ко мне! Тебя любить хочу я...

Март 1911

Перевод Б. Резникова



ВОСХВАЛЕНИЕ

1

Я миновал рубеж. Ушел от гор печали,
На крыльях времени вознесся я, поэт...
Порывы творчества меня к высотам мчали,
И в душу скорбную вошел веселья свет.
Я солнца верный сын, и век мой с солнцем прожит,
Ему — мой гимн, и с ним судьба моя слита;
Душа бессмертна, да! И умереть не может,
Пока душе моей подвластна красота.
Огонь поет, поет! Напев его — со мной:
— Будь Демоном, поэт! Поэт, будь Сатаной!

2

Обвал того, что ввысь воздвиглось, — неминуем,
Ведь разрушенья ход неумолим, жесток;
Печаль лобзает гроб прощальным поцелуем,
И страшен бездны глас, что подведет итог.
Прочь от меня, тоска, тут места нет рыданью!
Пускай уйдет во мрак печаль, как черный сон:
Поэт не знает слез, он весь со светлой далью,
К себе зовет лучи, и сам, как солнце, он.
Огонь поет, поет! Напев его — со мной:
— Будь Демоном, поэт! Поэт, будь Сатаной!

3

Не пощадил меня, сжигая, яркий пламень —
Я зря молил унять любви палящий зной,
И на былых страстях лежит могильный камень,
И в сердце мне теперь вошел огонь иной.
Преграды сметены, пути открыты миру,
Я для иной страды готовлю песнь мою,
И, на весенний лад свою настроив лиру,
Гимн разрушенья я вселенной пропою!
Огонь поет, поет! Напев его — со мной:
— Будь Демоном, поэт! Поэт, будь Сатаной!

Апрель 1911

Перевод Ю. Даниэля



АНГЕЛ ТИШИНЫ

Над спящим зефиром — пыльца, словно дым...
Пан дремлет в дубраве без сил...
От ангелов веет жильем неземным
И хладным уютом могил.

И руки твои — крылья легкого сна.
Я здесь. И какие б дожди
Душа ни извергла, оставшись одна,
Взлетай, не спускайся, лети!

Влюбленный в молчанье твое, не дыша,
Печально сижу у колен.
И, тайно пылая, уходит душа
И сон оставляет взамен.

Май 1911

Перевод Ю. Ряшенцева

К АДОНАИ

Сонет

Не осуждай меня! Грешник без воли, без сил,
Долго душе беспокойной своей я служил.
Долго во тьме я не знал, что такое заря,
Змия, Врага неосознанно боготворя...

Лишь у страдавших возможно усердье в хвале.
Бог для того, кто удачлив — в миру, на земле.
Те лишь, кто в муках свои схоронили сердца,
Видели лик Твой и верят в Тебя до конца.

Всюду со мною — могилы желаний моих.
Мне никогда не забыть их, не скрыться от них;
Ночью в виденьях — лишь образы мертвого края...

Перед Тобой я! К Тебе я пришел, Адонаи!
Дай мне, судьбою гонимому, здесь, не в раю,
Свет, тишину и надежду на милость Твою!

Август 1911

Перевод Б. Резникова



МЕДЕЯ

Сонет

И. Гришашвили

О мертвой, погребенной той весне
Не пробуждай ты памяти во мне!
Увяли розы юности моей;
Кто возвратит мне чистоту тех дней?

Тоскуя на чужбине, никогда
Я не забуду отчего гнезда.
Увы! Любовь и нежность выжег зной.
И мертвою я не вернусь домой!

На дочери Аэта — божий гнев.
Молитесь о злосчастнейшей из дев
Колхиды...

Средь чужих, в чужом краю
Ей выпало закончить жизнь свою —
Но и в гробу не будет мира ей,
Беглянке, проклятой землей своей...

Сентябрь 1911

Перевод Б. Резникова

ПЛАЧ

Я проклял жизнь, мечту я презираю,
Мне смерть мила... Свою весну сжигаю...
Скажите, что ослабит боль мою
Или убьет за пазухой змею?

Что ад в душе погасит неумный?
Что жажду мщенья сдержит ночью темной?
Стал черный демон стражем дней моих,
Пусть время мчится, в муках я затих.

Лей слезы над предательством любимой,
Душа моя, над юностью ранимой,
Над чашей плачь, — горчайшее питье,
Нектара нет, змея на дне ее.

То, что на горе мне судьба когда-то
Вручила, я бы отдал без возврата.
Как умереть, как сбросить жизни гнет?
Гиена кости пусть мои сгрызет.

Тянулся к солнцу я, стремился к свету...
Печаль и горе шли за мной по следу...
Что бред — любовь, не стоит и гроша,
Теперь так ясно чувствует душа.

Сам сатана танцует меж гробами,
Лицо обвито дымными клубами...
Стал черный демон стражем дней моих,
Пусть время мчится, в муках я затих...

Октябрь 1911
Новый Афон

Перевод А. Кушнера

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Легкий в горах ветерок засыпает, и горы уснули,
В темном ущелье ручей что-то шепчет, расслышать могу ли?..
Сон накрывает полон своей темной безмолвные дали,
Выросли крылья у темной жар-птицы, у птицы-печали...
Горы уснули, и гаснут последние отблески света,
Только никак не сомкнутся усталые очи поэта.
Плачет душа, и вся горечь времен вторит плачу...
Что мою боль облегчит, что растопит беду-неудачу?
Милая, не оставляй одного меня, гаснет зарница;
Что без тебя буду делать, с кем мыслями мне поделиться?

Ноябрь 1911

Перевод А. Кушнера

НА КРЫЛЬЯХ МЕЧТЫ

Отец, отец, нельзя ли
Мир зажечь мечтами?

«Царь Голод». Л. Андреев

Я был рожден, преображен, ищу я
Незримое — стремленью нет преград;



Сорвал с души я амулет печали,
Сорвал с души я траурный наряд.

И я лечу на остров вожделенный,
И отстаёт в пути судьба моя;
Огонь души задуть не может время,
Убить не может искру бытия.

Мне шлет привет земля далеких странствий,
Вершины гор, разливы бурных рек;
Коня мечты кто в беге остановит?
Кто оборвет Мерани вольный бег?

Не оживить действительностью душу,
И к чуду ей легла тропа своя,
Огонь души задуть не может время,
Убить не может искру бытия.

Декабрь 1911

Перевод Ю. Даниэля

НА КЛАДБИЩЕ

Сюда на угрюмом рассвете его принесли.
Прощальной слезою никто не почтил его прах.
Он был чужаком для наивных питомцев земли.
Какое им дело, что солнце он славил в стихах?

Известно давно — у толпы не бывает святынь.
Поэт умирает, и надо ль о нем вспоминать?..
Но светлым лучом в темноте запредельных пустынь
Душа его брезжит, чтоб гимны светилу слагать.

1911

Перевод И. Мельниковой

МЕРТВАЯ ЛЕГЕНДА

Давно манила сладкая мечта,
Что я найду на свете рай небесный;
Но все не так: земная суета
Влачит в ничто, толкает к краю бездны.

«Вчера» — не помню... «Завтра» — лишь слова...
А что есть жизнь? Легенда, что мертва!

Оплачьте душу — это жертва зла,
Она несчастна... Мама, я тоскую!
Зачем же вера у меня была?
Зачем я в радость веровал мирскую?
Цветок мой — жизнь, что так была чиста, —
Едва еще расцветший, юный, ранний,
Жестокий ураган сорвал с куста,
Измял и изорвал струну мечтаний...
Так что есть жизнь? Легенда, что мертва.
Скажи, о мать, надгробные слова...

Март 1912

Перевод Ю. Даниэля

СЕРЕНАДА

Посвящается И.

Воскресла вновь душа, горя в огне,
Излила слезы с щедростью бывалой,
Они, как страсть, опять пришли ко мне,
Они — отрада для души усталой.
Ликуй, душа! Печаль мне зря сулят —
На празднике нет места опасеньям.
Конец змее, что источала яд —
Привет любви, привет цветам весенним!
Свирепый холод страсть мою и пыл
Дыханием своим не охладил...
Из гроба снова счастье восстает,
И страсть струится светлою волною,
Ликует утро, весел небосвод,
Дорога ждет, вперед, иди за мною!
Внемли поэта лире золотой,
Все впереди — за гранью, за чертой!

Я увидел зимой тебя во сне,
Я рядом был, смотрел, как ты блистаешь.
И ночь зимы была нестрашной мне,
Неужто ты теперь меня оставишь?



О, не люби — будь хоть врагом, не ближе,
Я тем и счастлив, что тебя я вижу;
Ведь мне известно, что земная страсть
Не может с чистотой твоей совпасть...

Март 1912

Перевод Ю. Даниэля

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Ночь черна, и скорбно небо,
Горы в траурных туманах,
Ураган рыдает горько
И ревет, как зверь-подранок,

То под окнами он плачет,
То стучится в двери прямо...
«Папа, папочка, ответь мне!
Папа, где же наша мама?»

Помню, бури я боялся
И готов был зарыдать я, —
Мама пела, утешала
И брала меня в объятия.

Помню звуки колыбельной,
Те, что сны мне навевали...
Папа, где же наша мама?
Ну, скажи мне, генацвале!»

Так отца молил ребенок,
А когда отец ответил,
Спрятал голову в ладони,
И рыданиям вторил ветер...

Сентябрь 1912

Перевод Ю. Даниэля

NOCTURNE

Посвящается С. Абашели

Ночь, ночь, темны Колхетии вершины,
Нагие, как гетер прямые спины.



Нашептывает что-то ветерок
Горам и долам, легок и высок.
Какое одиночество, как плачет
Такою светлой ночью тишина!
Тоски своей и слез душа не спрячет,
Оградой дней былых упоена.

Ночь, ночь, не ты ль, Колхетия, качала
Любви моей печальной колыбель,
Глядишь в глаза мне грустно и устало,
Быль выветрилась та, как легкий хмель.
Душа, как лебедь раненый, бывшее
Оплакивает счастье молодое
И тщится чувств отцветшую весну
Вернуть, всю пылкость их и новизну.

Она никак не хочет с тем смириться,
Что прошлое не может воротиться,
Что времени поток необратим,
Что нежность милой тает, словно дым.
Ночь, ночь, не ты ль, Колхетия, качала
Любви моей печальной колыбель,
Глядишь в глаза мне грустно и устало,
Быль выветрилась та, как легкий хмель.

Сентябрь 1912

Перевод А. Кушнера

* * *

Слова о том, что я тебя любил,
Сетей тоски с души моей не снимут.
Рожденные для горестей не имут
И в счастье радости. Тот странный пыл,

Который звали мы любовью, — бред.
А ты найдешь рожденного для счастья, —
Они встречаются, пускай нечасто.
Лишь он тебя поймет, а не поэт,

Чьи строки, точно слезы, оросили
Родную землю...



Но не пой, не пой —
О, в этой песне, начатой тобой, —
И сила памяти, и времени бессилье...

Сентябрь 1912

Перевод Ю. Ряшенцева

ВЕРНИТЕ

Кто горного беспомощней орла,
Коль крылья гордой птицы перебиты?
Как лодка без руля и без весла
Жалка, а волны грозны и сердиты...
Вот и душа — пустыня без любви,
Немая и безлюдная, уныла.
Душа жива томлением в крови,
Любовной жадой горечи и пыла...

Следами Дэва заклинаю свод
Небесный, звезд сверкающим потоком, —
Пусть мне судьба любовь мою вернет,
Любовью же сожженную жестоко.
Верните мне то время, не мила
Мне жизнь без детской той любви и страсти,
Когда душа бы как в раю жила,
Чиста, как грех, в его счастливой власти!

Февраль 1913

Перевод А. Кушнера

НОЧЬ ПЕЧАЛИ

Унылой ночью, в тишине печальной,
Я слышу звук поющего чонгури,
Играющий горюет, что внезапно
Цветок любви увял в осенней хмури.
И черною цепочкой черных мыслей
Украсилась души моей сутулость,
И тени похороненные встали,
И прошлое забытое проснулось.
А я-то думал, что плитой забвенья
Придавлено навеки все, что было,
А я-то думал — глубока, надежна
Ушедших чувств сердечная могила.

О женщина, чего еще ты хочешь?
Моей ты кровью грелась без опаски,
Покой души беспечно унесла ты,
И вот теперь ничьей не жду я ласки.
Что ж, разве жертвы не хватило этой?
Нужны иные — без конца и края?
А тень ее в ответ смеется звонко,
Зовет и манит, ласку обещая.
И сердце чары колдовские гложут,
И сердце в клетке усидеть не может...
А музыкант играет на чонгури,
Аккорды струн летят в ночные дали,
И грустную рассказывает повесть
О том, как все цветы любви увяли.

Февраль 1913

Перевод Ю. Даниэля

ГОЛУБОЙ ЭДЕМ

Рай потерянный и милый!..

...Нас взнуздадо, как коней.
Время — демон серокрылый —
И глумится над могилой
Голубой любви моей.

Но неверие нелепо.
Верю в сад, в его рассвет!
Незабвенна юность. Слепы,
Кто забыл о ней. И склепом
Предстает пред ними свет.

Как хохочет откровенно
Грех, безумный и нагой...
Страсть темно и дерзновенно
Завывает, как гиена,
Над могилой дорогой.

Но любовь не знает смерти,
Не горит в огне страстей.
В край влюбленных и детей —

В островок зеленый верьте!
Ведь любовь не знает смерти...

О, Эдем! И чистых глаз
Блеск. И небывало сильный
Пламень чувства — в первый раз!
И ведет надежда нас,
О, в Эдем, зеленый, синий...

Май 1914

Перевод Ю. Ряшенцева

* * *

Ни молнии, ни ливень проливной,
Ни этот мир, где злые ветры дуют,
Они не смогут справиться со мной:
Не окольцуют и не околдуют.

Пусть буйствуют! Я обращусь назад,
Туда, где не слышны грозы раскаты.
Там зазвучал опять фруктовый сад,
Который голос ставил мне когда-то.

Между 1909 и 1914 гг.

Перевод Н. Соколовской

* * *

Зачем я здесь, зачем пришел сюда я,
Скажу ли вслух, как сердце жмут тиски?
Поет предсмертный лебедь, пролетая,
И песня бьется в уши и в виски.

Пройдут и сгинут времена и люди,
Эвксинских вод исчезнет влажный след,
Но в атоме стиха вовек пребудет
И с горлом перерезанным поэт.

О, как когда-то плакалось Назону,
Как Пушкина никто сдержать не мог!
Ведь для поэта не нужны резоны,
Для уст отверстых не найти замок.

Казбек с Эльбрусом вечно в блеске света,
И только им ответ правдивый дан:
Какой же пламень сердце жжет поэта
И отчего рыдает Тициан!

Между 1909 и 1914 гг.

Перевод Ю. Даниэля

* * *

Тихой музыки слезы льются в ночное небо
И упрекают тучи, что нависают слепо.
Молодости и страсти дни уходят за днями,
Жизни врата закрыты наглухо перед нами.
Что же мне делать дальше? О, научи, скажи мне!
Резок могильный ветер, воющий в смертном гимне.
Небо печально, хмуρο, тучами воздух горбит,
Сеет тоску, как дождик, струями черной скорби.
Тишь наступает в мире: музыки звуки, где вы?
Вот проступает смутно абрис скорбящей девы —
Падает ниц на землю в горечи стародавней...
Сколько еще терпеть нам, сколько еще страданий?..

Февраль 1915

Москва

Перевод Ю. Даниэля

НА МАСКАРАДЕ

Темно в глазах. А все кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
Зал дышит алым бархатом и черным.
Звук скрипки небывало удрученным
Ко мне приходит, чтоб во мне открыть
Мне самому неведомые раны.
Как странно... Все, что было — все в году
Бог весть в каком уплыло, стало дальним...
Нет имени тому, чего я жду
Сейчас смертельно-сладким ожиданьем.
Но впереди — мертвец, суров и светел,
Под смертною рубашкою простой, —
Так некогда, оставшись сиротой,
Моя душа скончалась на рассвете...



...Зурна рыдает. Дикий танец гор
Показывают иностранцам.

Скор

И медлен танец. И пищит дудук.
И звук зурны — все тот же скорбный звук.
Звук реквиема моего. Я знаю,
Нельзя мне вспоминать. И вспоминаю
И май, и яблоню. Ее цветы —
Постелью белой пó двору. И ты,
Невозвратимая, как время...
Темно в глазах. Но все кругом горит —
Сгорает. Запах платьев ядовит.
А мертвый зал, и шумный, и немой,
Танцует реквием печальный мой.

Апрель 1915

Перевод Ю. Ряшенцева

СНЫ ХАЛДЕИ

Мечта целует прошлого следы,
Халдеи сны плывут передо мной:
Нас души предков — яростны, тверды —
Влекут к химерам Грузии родной!

На подвиги твои, отчизна гор,
Столетий опускается вуаль,
Но древней славы вновь горит костер
И на Востоке вспыхивает даль.

Покрылась высь молочной росой,
Следы оставил дэви-богатырь,
Господь пустыню заслонил рукой —
Ее души пылающую ширь...

Надежды древней медленный напев,
Слова о счастье сгубленном слышны...
Пустыня спит, от зноя онемев,
Пронесятся над ней былые сны.

Евфрат и Тигр качали колыбель,
А гроб качают Мтквари и Рион.



Дойдет обет сквозь толщу лет, земля:
Елиазар, восстань из тьмы времен!

Сентябрь 1915

Перевод С. Ботвинника

СОНЕТ ПОЭТА

Все кончится. Всему придет конец.
И не останется на свете очевидца,
Который описал бы наши лица
В тот час, когда срывали с нас венец
Любви, что не смогла осуществиться.

Кто станет вспоминать, как жили мы?
Как мы любили — вспомнят ли об этом?
Но для того, чтоб вырвать нас у тьмы,
Воображенье мучает поэтов.

Надгробьем нашим станет нам Сонет.
Он воскресит и озарит слезами
Все, что для вас давно сошло на нет,
Но животрепетало между нами.

А под конец попросит он Творца —
В бездушных буднях и бессрочных битвах
Поэтов беззащитные сердца
Не обходить в живых Своих молитвах.

Октябрь 1915

Перевод Н. Соколовской

БЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ

Для Грузии сгорали мы, чтоб снова
Для Грузии сгореть. Но как темно!
И солнце мрачное величия былого
В пучину слез вот-вот сойти должно.

И наше горе не возьмешь в поводья.
Красны от крови реки, а кругом...
О, наши рощи в горьком половодье!
О, наши души в трауре глухом!



О, долгий путь и бесконечный плач наш
Над гробом собственным. Погост далек,
Но всех проклятий, всех угроз, палач наш,
И этот длинный путь вместить не смог.

И белый призрак над кортежем вьется —
Мадонна белая — пресветлый лик...
А пурпурному солнцу остается
Над морем слез — один недолгий миг.

Последний луч над горьким морем тает.
Горит звезда, как скорбная свеча...
Гиена стонет... И сова рыдает...
И черный вихрь — как черная печаль...

Пречистая! Мадонна! Откровенье
Даруй нам, Мать истерзанной страны:
Где наша смерть, а с ней успокоенье?
Где наша смерть, Мадонна?!

Октябрь 1915

Перевод Ю. Ряшенцева

ПРИНЦ МАГОГ

Ноябрьский бес приходил с бокалом вина
И подергивал челюстью, коротенькой и смешной,
И потягивался, и поглядывал на меня,
И спрашивал: «Ты ведь пойдешь со мной?..»
Куда мы шли... Мы не шли — метались во мгле
Жеребенком напуганным. За нами на полном скаку
Тишина летела — темный всадник на высоком седле, —
Тишина летела и к груди прижимала тоску.
Казались седые вершины далеких скал
Сломанными крыльями усталого божества.
Небо ли умерло или земля, кто по кому горевал —
Горьким и медленным черным снегом покрывалась трава.
Стонала сова. Нетопырь ей вторил вдали.
Шакал глядел с амбара у схлеста дорог.
И табуном, словно туча, кентавры шли
По черной земле, где властвовал принц Магог.

Декабрь 1915

Перевод Ю. Ряшенцева



ДАЛЬНЕЙ

Будь дальней! Бездну отдаленья
Тоской заполню. Ведь на свете
Нас только двое. Так и встретим
Мы даже светопреставленье.

Я не задам тебе вопроса
О сущности моих влечений,
Но знаю: ты моих мучений
Нераспустившаяся роза.

Меня твой дальний ветер будит.
Душа о шип твой зацепилась.
Возьми ее, о, сделай милость —
Она тебе не в тягость будет!

О, грезы, ставшие золою.
Хвалы надтреснутые крики.
Склеп из химер багрово-диких
Для дорогой и дальней строю!

1915

Перевод Л. Мартынова

В ПАРКЕ

Нехотя вечер уходит, сгущается тьма.
В парке оркестр начинает концерт Берлиоза.
Ты недомолвками вечными сводишь с ума,
Злая кокетка, застрявшая в сердце заноза.

Слышу звенящий, ликующий голос подруги.
Смех, обжигая меня, в темноту уплывает.
Ищет влюбленный любимую в нежном испуге.
И ожидание трепетно сердце сжимает.

— Вот я, ау! — в пестром платье мелькает меж веток.
Ну-ка, поэт, распрости с поэтической ленью.
Молнии вспышка, гетера безумная, где ты?
Музыки страсть превратила тебя в песнопенье.

Что же опять я мечтаю, не зная о чем?
Душу сковал Берлиоз обольстительным пленом.



И устремляясь за звуком в пространстве ночном,
Грежу в беспамятстве Блоком, Рембо и Верленом.

1915

Перевод И. Мельниковой

МОЯ КНИГА

Заплачет ли дева над горестной книгой моей,
Улыбкой сочувствия встретит ли стих мой? Едва ли!
Скользнув по страницам рассеянным взглядом очей,
Не вспомнит, жестокая, жгучее слово печали!

И в книжном шкафу, в многочисленном обществе книг,
Как я, одинока, забудется книга поэта.
В подружках у ней — лепестки прошлогодних гвоздик:
Иные, все в бархате, светятся словно цветник,
Она же в пыли пропадет и исчезнет для света...

А может быть, нет. Может быть, неожиданный друг
Почувствует силу красивого скорбного слова,
И сердце его, испытавшее множество мук,
Проникнет в стихи и поймет впечатленья другого.

И так же, как я воскрешал для людей города,
Он в сердце моем исцелит наболевшую рану,
И вспомнятся тени, воспетые мной, и тогда,
Ушедший из мира, я спутником вечности стану.

1915

Перевод Н. Заболоцкого

НОЯБРЬ

Высохший лист платана желтизною тяжелой вышит.
Над куполом церкви старой снуют летучие мыши.
Долина плачет от песни улетающей журавлиной,
И осень пьет за здоровье зимы, что вдали за долиной.
Там ураган свирепеет, в дикой пляске шалает,
В бесовском огне сгорает, ни других, ни себя не жалеет...
В сумеречную пору к душе подкрались печали, —
Они в этот вечер, казалось, туманами укрывали.

Отец вернулся со службы, суббота глядит обновой,
Виден отблеск молитвы на седой бороде отцовой.
Глаза впиваются в сумрак, тонет во мраке местность,
Ураган, как ведьма, терзает вздыбленную окрестность.
Ноги в грязи янтарной вязнут. Темень тупая.
В жухлых листьях осенних скрываюсь я, утопаю.

10 января 1916

Перевод Л. Озерова

ЦВЕТЫ ГОЛУБОГЛАЗЫЕ

И кажется, что из толпы выйдет
Прекрасная женщина с голубыми глазами.

Г. Табидзе

Асаргадон твоей упился плотью.
Умощены мускатом, руки пели...
О ты, напоминающая лотос,
Уже грешна от самой колыбели!

Сражений рог трубить не забывает,
Стрела стрелу целует... Зло и яро
Мысль о тебе предсмертно убивает
Раба, и воина, и спасалара...

Кто скажет, где любовь твоя зарыта,
В какой земле махина саркофага!..
Прах растоптали Времени копыта.
Ушла в песок серебряная влага.

Глаз голубой лишь светит в целом мире,
Как светлячок, игрой пленяет женской:
И молится в ночи бездомный лирик,
В том свете голубом узнав блаженство.

И долго-долго голубое око
Слепить поэтов одиноких будет,
И лирик пожалеть заставит Бога, —
Пускай за одиночество не судит.

Январь 1916

Перевод М. Шехтера



ПЬЕРО

Лукавым цветком расцвела сумасбродка-весна.
И розы, ничуть не робея, пунцовыми стали.
Гостей тамада умудренный спойл допьяна.
И ветреник сделал любовное сальто-мортале.

Ну, где же вы — Бесики, Саят-Нова, Теймураз?..
Хозяев напыщенных челядь в дверях ожидает.
Душа, успокойся! Навеки умолкнем сейчас.
Ведь бедный Пьеро в стороне чужедальней блуждает.

О, это не сон. Сон лишь наша лихая година.
Как царствует прошлое в этой обители сплина!
И плачет Пьеро: «Коломбина моя, Коломбина!»

Ноябрь 1916

Перевод И. Мельниковой

АВТОПОРТРЕТ

Профиль Уайльда. Инфанту невинную
В раме зеркала вижу в гостиной.
Эти плечи под пелериною
Я целую и не остыну.

Беспокойной рукой перелистывая
Дивной лирики том невеликий,
Зажигаюсь игрой аметистовой,
Точно перстень огнем сердолика.

Кто я? Денди в восточном халате.
Я в Багдаде в расстегнутом платье
Перечитываю Малларме.

Будь что будет, но, жизнь молодая,
Я объезжу тебя и взнуздаю
И не дам потеряться во тьме.

Ноябрь 1916

Москва

Перевод Б. Пастернака

МАГ-ПРАРОДИТЕЛЬ

Священнодействует доселе
Из века в век мой род.
Какое множество обеден
Он отслужить успел!

У нас и ныне на погосте
Храм врезан в небосвод:
Он — герб, что гордому поэту
Дан с первых дней в удел.

Смотрю я, как вечерню служит
Отец на склоне дня.
Псалом мне в душу залегает,
Чтоб лечь на самом дне.

На рясу черную пурпурный
Ложится блеск огня.
Мое томленье по Халдее
Уже понятно мне.

В свече мерещится мне солнце
С его теплом благим
И храм, воздвигнутый во славу
Слепительных щедрот:

Как будто каменные плавит
Колонны знойный гимн
И маг поет, собой начавший
Мой бесконечный род.

Астарте предок мой молился,
И в ладанном чаду
Отец возносит Приснодеве
Дар сердца своего.

Доныне не переводились
Жрецы в моем роду:
Обедни их состарят, право,
И Бога Самого.

Не сожалейте о потомке,
О прадеды мои!
Не верьте клевете, что робко
Я перед всем дрожу.

Пусть по себе не совершу я
И краткой литии —
Однажды панихиду миру
Я все же отслужу!

1916

Москва

Перевод Б. Лившица

БЕЗ ДОСПЕХОВ

Мне представляется порою,
Что мир — огромный сад,
Где всё — проклятье и отравы,
Где гибель — шаг любой.
И без доспехов, хмурия брови,
Три всадника летят:
Я узнаю в лицо Верхарна,
Эредиа, Рембо.

Я чувствую, что по ошибке
Сюда ввели меня.
За исполинскими тенями
Я с трепетом слежу.
И, как ребенок робкий, плачу,
Невольный страх кляня.
Тайком скорей смахнуть стараясь
Постыдную слезу.

О, как «цветами зла» дурманит
Мне душу пряный яд!
Как будто на меня кентавры
Напали табуном...
Сожженная пустыня манит
Все пламенной назад,
И твердь, объятая пожаром,
Горит, как ветхий дом.

Кто в этот сад впустил ребенка?
Кто душу городов
Исполнил ядовитым дымом,
Застлавшим все вокруг?
Зачем за всадником летящим
Тень вырастает в зов?
В пустыне я, но почему же
Я вижу свежий луг?

1916

Москва

Перевод Б. Лившица

«L'ART POÉTIQUE»

Из книги «Халдейские города»

В вазу Прюдома поставил я розу Хафиза.
Бесики сад я цветами Бодлера заполнил.
Все, чем пленяла чужбина, я с Грузией сблизил,
Так, как сумел, я свое назначенье исполнил.

Недолговечны безумные, знойные страсти.
Нежностью бережно душу твою отогрею.
Лира моя от стыда разобьется на части,
Если стихи под гитару исполнить посмею.

Жду я любимую — первого снега белее —
Что улыбается кротко и тихо смеется.
Я прочитаю стихи об ушедшей Халдее.
Нас ослепит красота восходящего солнца.

Я хладнокровно спектакль досмотрел и оплакал
Каждый антракт. Я любитель простых аналогий.
Чувствую рок древней магии чисел и знаков.
О, Сакартвело, прости этот лепет убогий!

1916

Москва

Перевод И. Мельниковой



ХАЛДЕЙСКОЕ СОЛНЦЕ

Далекий путь, и беспредельность,
Влекущая вперед,
И солнца яд, и песнопенья
О солнце — к солнцу взлет.

Во мне рыдает предков голос —
О прадеды-волхвы, —
Я к солнцу лестницу дострою.
Приду, куда и вы...

Слова священных заклинаний,
Забывтые в веках,
И городов, когда-то славных,
Ничтожество и прах!

Отчизна с нежностью старинной
Смягчает боль мою:
Я в золотых стихах величье
Халдеи воспою.

К Сидону путь, залитый светом, —
Один для всех пролег.
Воздвигнется алтарь победы,
Поправ пустынь песок.

Созрев для песнопений мощных,
Излиться жаждет дух, —
Теней величественных зова
Благоговейно жду.

Я буду одинок и плачу,
Предчувствием томим,
Но знаю, встретит смерть бесстрашно
Последний пилигрим.

Я слышу все и вижу. Видит
И Он... И вихорь мчит
Меня... Над кладбищем родимым,
Как ястреб, мысль кружит.

Всю жизнь томлюсь по беспредельным
Путям... Далек мой путь...
Под солнцем пламенным Халдеи
Хочу навек уснуть.

1916

Перевод Б. Лившица

ФАТЬМА-ХАТУН

Терзает душу девы отраженье.
Фатьма-Хатун, твой взгляд мне сны прожег!
О милый призрак, множащий мученья,
Когда бы прошлое вернуть я мог!

Певцы любовь поют. Всю ночь — их пенье.
Фатьма целует полный влагой рог.
Любовники спешат к ней в нетерпенье,
Пыль караванов вьется вдоль дорог.

Нет счета поцелуям. Счастлив пленный,
Хотя потом казнишь его изменой.
Кто б ни был — Чачнагир иль Автандил, —

Как не мечтать о жарких тайнах ложа!
Мышь в западне, иль с голубем ты схожа,
Душа? И ястреб голубя сразил.

Январь 1917

Москва

Перевод С. Спасского

КОРОЛЬ БАЛАГАНА

Я знаю, откуда пришел я сюда,
Чье солнце меня обожгло.
Предшественник мой был похож на Христа,
Мне жить на земле тяжело.

А если я пел не о том, что люблю,
То не современен для вас...
Забытого Бога, как прежде, молю,
Забытым заветам дивясь.



Как бедный жонглер, я бросаю звезду
Одну за другой в потолок, —
Внезапно проснусь, и в кабацком чаду
Блудница мне дарит цветок.

А в диком оркестре все трубы хрипят,
Все пьяные негры кричат.
Оборван и нищ с головы и до пят,
Кабацкий покину я чад.

Король балагана, пускай посрамлен, —
Умру, королевство храня.
Вы, солнцепоклонники давних времен,
Примите как брата меня!

Февраль 1917

Москва

Перевод П. Антокольского

ПЕТЕРБУРГ

Ветер с островов курчавит лужи.
Бомбой взорван воровской притон.
Женщины бредут, дрожа от стужи,
Их шатают ночь и самогон.

Жаркий бой. Жестокой схватки звуки.
Мокрый пар шинелей потных. Мгла.
Медный Всадник опускает руки.
Мойка лижет мертвые тела.

Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предрешен.
Ночь запомнит только имя «Ленин»
И забудет прочее, как сон.

Черпая бортами мрак, в века
Тонет тень Скитальца-Моряка.

В ночь на 25 октября 1917

Кутаиси

Перевод Б. Пастернака

ВАНКСКИЙ СОБОР

Край Наири... Твердокаменный Ванкский собор...
Воспоминания сердце мое бережат.
Берег Халдеи. Мираж, иссушающий взор.
А на арене жонглеры построились в ряд.

Если бедняга Пьеро в поминаньях ушедших
След не оставит — ну, что же, и это не горе.
Он Коломбиною будет сегодня утешен.
Роза литании вспыхнула в Ванкском соборе.

Может, две наши свечи догорят понемногу.
Что ж, еще ярче стихов засияет свеча.
Будем скитаться отныне. Тоска и дорога
Души нам ожесточат.

Жизнь — заклинаю! — даруй хоть на миг передышку
Паре нелепых коверных. Потом — твоя власть!
Клоун шуто панихиду справляет вприпрыжку.
Плачет лукавый паяц, над собратом глумясь.

6 января 1918
Тбилиси

Перевод И. Мельниковой

ХАЛДЕЙСКИЙ БАЛАГАН

О родина, смотрю я на тебя
Из сумерек партера.
Мой старый балаган, с тобою снова я —
Бродяга и актер.
От выцвета души твоей не защитили
Ни пестрая фанера,
Ни холст цветной — всё солнцем беспощадно
Расстреляно в упор.

Еще стекаются с актерами фургоны.
Раскрашенные, в блестках,
Сидят фигляры, фокусники, маги;
Борцы шагают в рост.
О братья милые, сегодня с вами я
Сыграю на подмостках.

Поставим «Душу» мы. Старинный этот фарс
Возобновим для звезд.

Пусть о Тамаре, Троице святой,
О благодати старинной
Расскажет летописца Грузии
Правдивое перо.
А я, склоняясь над плачущей моей
Подругой Коломбиной,
Лишь звездам расскажу о ней слезами,
Как преданный Пьеро.

Всегда с тобой рыдать я буду, Коломбина!
И правдой наших слез
Не смыть румян твоих, что положил жестокий
Гример — туберкулез.

22 апреля 1918
Боржоми

Перевод Л. Мальцева

ВТОРОЕ АПРЕЛЯ

Взяли Батуми, идут на Орпири татары,
Плачет апрель лепестками багряного цвета.
Гневный Сатурн, ты мне горем грозилсся недаром.
Горы горбаты и сгорблено сердце поэта.

Возраст поэта измерится четвертью века.
Старше веков его сердце и Грузии старше.
Красный колпак в роковую минуту ответа
Вскинет Пьеро, Гарибальди неистовым ставший.

Немилосердны слепящие звезды Халдеи.
В Ванкском соборе паду на колени во прахе,
Чтобы кошмары ночные мои поредели,
Чтобы расчесться с прошедшим хотя бы на плахе.

Изнемогаю при мысли о новом позоре,
Сам за себя и за Грузию в горькой тревоге.
Друга мои, вся душа моя в копоти горя,
Горем полны наши прежде веселые роги.

Апрель 1918

Перевод Ю. Михайлика

ВАЛЕРИАНУ ГАПРИНДАШВИЛИ

Мечта твоя варилась в кухне Гойи.
Ты бродишь в сумерках Эскуриала.
Лишь молния, бывало, озаряла
Полночный Кутаис перед тобою.

Офелия твоя или другое
Твое безумье — сколько матерьяла!
Ты укрощал стихами рев Дарьяла —
Сам весь в крови — в разгар ночного боя.

Там — трупы двойников твоих простерты.
Там жаждет боя тень Лотреамона.
Там я, твой друг, оружием владею.

Там за тобой пылает Запад мертвый.
За мной — Восток таинственной Халдеи.
Мы всех поэтов славим поименно.

Апрель 1918

Орпири

Перевод П. Антокольского

СВЯЩЕННИК И МАЛЯРИЯ

В малярийной испарине бредит больная луна.
И Орпири уже не скрывает рубцы и руины.
Хоть светла эта ночь, но халдейская месса черна.
И отцовский убрус оплетают силки паутины.
...Это сказ о безумном священнике и малярии...

Как раскашлялись хором лягушки окрестных болот,
Словно вправду чахотка сегодня их всех разобрала.
И озноб до рассвета луну пожелтевшую бьет,
Чтоб металась в горячке, сорвав облаков покрывало.
...Это сказ о безумном священнике и малярии...

Ну, какие созвездья терзают нас ночью такой?
Ну, к каким сатурналиям рвемся душой иступленной?
Что ж ты, родина, сердце врачуешь мне желчью сухой,
Что ж ты раны мои прижигаешь железом каленым?



Вот уже саранча налетает на пашни твои,
И проклятые нивы готовы к последней потраве...
Ах, в каком из трактатов теперь описать в забытии
Желтоглазое время монголов и дни Моурави?!
...Это сказ о безумном священнике и малярии...

Нынче небо Халдеи безжалостно, как эшафот.
Этой ночью в Орпири нельзя ни уснуть, ни забыться.
Ну так что однолюбю осталось от прежних забот —
Только боли свои собирать по слогам, по крупичам.
О, звезда Сакартвело, и впрямь ты отныне мертва.
И метания наши — всего лишь потуги пустые!..
И в псалом погребальный вползают те же слова —
Прежний сказ о безумном священнике и малярии...

Октябрь 1918
Тбилиси

Перевод И. Дадашидзе

СЕЗОН В ОРПИРИ

Река гниет, как труп Левиафана.
За родниками следом — не спеша
Уходят аисты. Сгибается душа,
Как ветвь орешины. И вечереет рано.

Лишь донкихоты пасмурных болот —
Худые аисты, да в разоренных гнездах
Лягушки зябкие... И никого. И вот
Октябрь приходит в воспаленных звездах.

На дилижансе прибыл он сюда.
Привез простуды, ухмыляясь едко.
О, родина моя, моя беда,
Ты замерзаешь, как зимой насадка.

И над вселенской грязью наших мест
Лотреамона жаба тонко плачет.
Орпирская земля несет свой крест.
Она — земля, ей не дано иначе.

Земля Орпири, окажи мне честь,
Прими меня, как я тебя приемлю.



..Всем пантеонам, что на свете есть,
Я предпочту болот орпирских землю.

Апрель 1919

Перевод Н. Соколовской

САТУРН И МАЛЯРИЯ

Я прежде других повторяю: — Какая беда
Терзает мне душу и гложут надежды пустые?
Минуты страданий судьбой сведены навсегда
В два круга стихов — о Сатурне и о малярии.

В сознании горячечном реквием тяжко гудит.
Лягушки, как звезды, на небе Халдеи дремучей.
И мертвая муха качнулась в паучьей сети.
Я — словно в рубахе — в глухой паутине паучьей.

Любовь и Отчизна... Не вспомню сейчас ничего
О вас,
 и в стихах не восславлю родные святыни.
Я вижу ослепшие очи отца моего.
По мне они плачут в ночи запредельной донныне.

Покоя и счастья, я помню, хотелось и мне.
О, Господи, как не поддаться тоске и сиротству?!
Пропавший бродяга, скитаясь в чужой стороне,
Я горб свой влачу, словно памятник злему уродству.

Август 1919
Тбилиси

Перевод И. Мельниковой

БИРНАМСКИЙ ЛЕС

Лес Бирнамский... Халдеи глубокие тени...
И у пьяного гостя на жестком колене
Леди Макбет нагая. Смертельно бело
Одеянье согбенного лорда Пьеро.

Вот Артур. С ним больные его бесенята.
Чианури звучит, в тонких пальцах зажата.



Как смычок, отсеченная напрочь нога.
Тотчас самоубийцы, наполнив рога
И бокалы, как будто к заветной отраве,
Припадают к ним — слава тебе, Моурави!

Круг павлиний замкнулся, и в нем, точно зайца,
Ярко-желтого гонит Паоло малайца.
И Офелия, быстро взглянув, замечает,
Как пощечину звонкую вдруг получает
Бедный Гамлет от дерзкой руки Валериана.

На большом эшафоте и зыбко и странно
Эфемерный возводится храм. Никому
Я не верю... Мучительны нежности Мери.

Коломбину бьет кашель чахоточный. Двери
Закрывает ноябрь, чтоб не слышать ему...

1919

Тбилиси

Перевод Ю. Ряшенцева

«СВЯЩЕННИК И МАЛЯРИЯ» В ГРОБУ

Прошла годовщина, как падал кармин октября
И слезы мои на отцовскую черную рясу,
На глиняный холмик... Раскаяньем жгучим горя,
Отец, над могилой твоею в ознобе я трясся.

Октябрь, желтизна, малярия... Священник в гробу —
Тогда и связалось в беспомощный лепет ознобный.
Мгновение было, когда я нарушил табу,
Наложенное на тайну печали загробной.

Година прошла. Я другого стиха не сложил,
И сердце мое очерствело, как камень точильный.
Священник в гробу, малярия... Твой сын пережил
Печали твои. Совершался агап благочинный

Уже за чертой немоты... Никогда не пойму
Видений своих, и солгать никогда не сумею:

Я видел огней ураган и крошечную тьму,
Накрывшую их словно рясой — так ныне Халдею

Накрыло беспамятство. Был я один на один
Со смертью, похожей на призрак отцовский, со смертью
Схватился черту заступивший безумец — твой сын...
Она победила... Всей тьмою и всей огневертью.

Так кто же остался во мне и меня победил —
Изгоя в отчизне, мечтателя, мономана —
Родителя чтобы рожденный не превосходил!
И не был я в трауре, папа, ты помнишь? Как странно!

Меня это мучит, однако случайностей нет...
Так что ж ты оставил в наследство слабейшему сыну,
Который судьбы изволением всего лишь поэт,
Бредовой строкой провожающий эту годину?

СВЯЩЕННИК В ГРОБУ. МАЛЯРИЯ.

СВЯЩЕННИК В ГРОБУ...

Умерший, ты справь обо мне, о живом, панихиду —
Я буду спокойней, чем ты, я осилю судьбу,
И слезы и строки глотая, как горькую хину.

Ноябрь 1920

Перевод В. Леоновича

ПАОЛО ЯШВИЛИ

Вот мой сонет, мой свадебный подарок.
Мы близнецы во всем, везде, до гроба.
Грузинский полдень так же будет ярок,
Когда от песен мы погибнем оба.

Алмазами друзья нас называют:
Нельзя нам гнуться, только в прах разбиться.
Поэзия и под чадрой бывает
Такой, что невозможно не влюбиться.

Ты выстоял бы пред быком упорно
На горном пастбище, на круче горной,
Голуборожец, полный сил и жара.



Когда зальем мы Грузию стихами,
Хотим, чтоб был ты только наш и с нами.
Будь с нами! Так велит твоя Тамара.

Август 1921
Тбилиси

Перевод П. Антокольского

ЗНАМЯ КИММЕРИЙЦЕВ

Словно знамя киммерийцев,
Небосвод изодран в клочья.
Стяг Халдеи багровеет,
Кровью, ядом напоен.

Скорпион мгновение выбрал —
Он себя ужалил ночью;
И над городом сожженным
Вихрь пылающий взметен.

Наша лирика сегодня
Зарыдать опять готова.
Ей о белых днях воскресных
Сердце помнить не велит...

Как паяц, на храм Лафорга
Влез паук, искавший крова,
И на тонкой паутине
Он под куполом висит!

У Христа теперь четыре
В мире есть евангелиста:
Гоги, Валериан, Паоло,
Я — четвертый, Иоанн.

Остров Патмос — мой Орпири,
Край нетленный, край лучистый,
А для нового крещенья
Топь Риона — Иордан.

Все уйдем мы. Будет сломан
Меч стиха у рукояти,

И поэзия пред смертью
Свой поднять не сможет взгляд.

И в агонии, чуть слышно,
Как последнее заклатье,
Наши имени четыре
Трубы скорбно протрубят!

Но архангельского гласа
Я не слышу рокового,
Патмос гибелью не дышит,
Не влечет его она...

А меня сегодня Демон
Наших дней тревожит снова.
Подливать не нужно в чашу —
До краев она полна!

1921

Тбилиси

Перевод С. Ботвинника

АНГЕЛ-ВСАДНИК

Поэма

1

Свет Апокалипсиса! Дальний путь —
Халдея, Киммерия, перевалы
Кавказа... Судьбы Грузии догнать
Возможно разве только на крылатом
Коне: но путь твой ныне к нам ведет,
И вся надежда наша ныне — ты,
Свет Апокалипсиса, ангел-всадник!
Легко ль осилить было дальний путь?
И если мы, поэты, существуем
Досель, то лишь благодаря тебе...

2

Легко ли было одолеть болота?
У нас, в Орпири, увязала в них
И цапля! Одиноко там стоит
Храм Белого Георгия, и грудь

Отца — опора для тугих копыт
Летящего коня... Каждую ночь
Меня терзало небо Вавилона:
Столбами из болот вставая, всю
Округу отравляла лихорадка —
Тогда-то в душу мне навек запал
Один напев, и Грузия его
Запомнит. В юности впервые мне
Явился юноша бессмертный, ангел
Надежды Апокалипсиса...
Все
Прошло пред ним: заря на Красном море,
Эскадры пьяных кораблей, матросы
Сидона, караваны с серебром
И золотом Халдеи, Золотое
Руно, меч Олоферна, копья Македонца,
Кривые сабли мусульман, Джалал-
Эд-Дин, кастрат и негодяй Ага-
Мохаммед-хан Иранский... И веками —
Долины Грузии, как зеркала
Великих азиатских плоскогорий:
Походы узкоглазых желтых орд,
Их оргии и резкий запах спермы
В гаремах. В реках крови, в языках
Огня теряется воспоминанье
О юном белом всаднике — бессмертной
Надежде Апокалипсиса.

3

Я,
Последний внук прославленных поэтов,
Царей смиренных, получил в наследство
Обломки сабли Саакадзе. Я
Узнал все в мире, кроме одного —
Статистики безвестных, безымянных
Героев Грузии. Но помню я
Грудь женскую в клещах у палачей,
Крцаниси, Цицамури, своды камер
Метехи, бесконечную дорогу
В Сибирь, в тайгу, и радостную весть
О Революции, о низверженьи
Царизма! И — поэзию Рембо,

Загадочные «Песни Мальдорора»,
Лафорга скоротечную чахотку
И смерть, кровь Карамазова-отца
И сифилис... А как забыть мне вас,
Красавицы Иверии? Царицы
Тамар и Русудан, все Нины наши,
В единственную слившиеся Нину,
Мадонна, Мерико, Мелита, Марта!
Евы без фиговых листков, гетеры
Халдеи древней... Но и вы уйдете,
Забудетесь! Останется одно —
Бессмертный юный всадник, белый ангел
Надежды Апокалипсиса...

4

Вот
Двойник Летучего Голландца — темный,
Тяжелый конный памятник в хинине
Санкт-Петербурга. Ржавчина разест
Коня; но, как бурдюк с вином, разбухнет
Наездник-император. И тогда-то
Погонит в путь перед собой другого
Евгения бессмертный ангел-всадник!
И дальний путь его не утомит,
И, как Иону, кит не умертвит,
И злые духи разбегутся в страхе
Пред ним. Вот стаи белых голубей
Летят средь белых облаков за Белым
Георгием... — Что ж дальше? — Ничего!
Эсхатология... бред, как обычно...

Но я, поэт, в пути далеком этом
Отстал и заблудился в зеркалах
Широких Грузии. И я слышал,
Как длинноусых карликов толпа
В Сиони пела «Аршин-мал-алан»...

— Эй, кто из вас похитил Амирани,
Который плакал здесь? А кто заставил
Вдруг замолчать поэта из Рустави,
Который плакал здесь? И кто из вас
Сломал меч Саакадзе, полководца,



Который воевал — не плакал здесь?
Хребет, поклонами не искривленный, —
Вот древко стяга киммерийцев, стяга
Георгия Победоносца; кто
Согнул его? Древнее семя — запах
Вина Эрети, кладезь без конца
И края; кто же иссушил его?
...Вдруг загорланят хриплыми басами
«Многая лета», и вино стекает
По их широким, словно океан,
Штанам с расстегнутыми поясами.
Хор карликов с огромными усами
Поет в Сиони «Аршин-мал-алан»...

1921

Перевод Б. Резникова

НИНЕ МАКАШВИЛИ

Словно с креста балаганного — красное платье.
Голос твой нежностью болен — могу ли молчать я?
Старый сонет навевает терцину упрямо...
Тьма опустилась, молчат на базаре духаны,
Месяц восходит, похожий на труп бездыханный...
Как ты смеялась под сводами Ванкского храма!
Мы на Мухранском мосту, над кипящей водою.
В Грузии жить — все равно что покончить с собою!
Самозабвенно мы любим ее, беспричинно —
Нравится нам заманившая нас паутина...
Ило, Зенон — орден смерти, старинный, кровавый...
Роги свои наполняем мы сами отравой.
Гибели демон отважно над нами взмывает —
Вижу я морг, что отравленных нас принимает.
Я заклинаю стихами, любовью печальной:
Пусть же Танит осенит нас молитвой прощальной!

15 июля 1922

Перевод С. Ботвинника

ЧЕМПИОН СЕЗОНА

О, это все темно и непонятно,
Как жизнь иероглифов темна.



Я — мальчик, чиркающий грифелем невнятно,
Когда душа другим увлечена.

Мадонна на базаре Дезертирском —
Не ново ли? Я холоден душой.
А «Западный диван» напишет с блеском
Какой-нибудь торговец небольшой.

Мне прежнее пристрастие к излишням
И слезы беспричинные смешны.
Ведь лира — гусли, лирика — кривлянье,
Когда надежды в прах сокрушены.

О сожаленье, а не о спасенье
Молю. Скрипичной мессой мне в ответ
Лафорговское плачет воскресенье —
И просит мира проклятый поэт...

Орпири... Дождь... Потоп... Добыт волною,
Ихтиозавр в ревущей тьме исчез...
И мнится: я — в порфире, надо мною
Нашептывает страсти мокрый бес.

Бегу за уходящим днем, едва ли
Не как ребенок. Моего отца
Священники — двенадцать! — отпевали,
Ни одного — в час моего конца!

Господь приемлет душу. В целом свете
Он ведает: не для земли она...
Так малярия плакала в поэте.
Сумбурна речь Табидзе и темна.

18 октября 1922
Тбилиси

Перевод Ю. Ряшенцева

МЕЛИТЕ

Александрия... Карабулах...
Звездная гончая, нимфа Мелита...
Стих подступает, как конь на рысях,
Ярость Мадонны, нимфа Мелита!

Долго поэта терзали мечты;
Вот, заставляя прохожих молиться,
Взор Клеопатры скользит с высоты.
Сердце распорото, стих мой дробится...

Видится мне: тень за тенью идет, —
Что рассказать им, поэзия, сможешь?
Первой мечты окрыленной полет!
Ты красоту открываешь и множишь...

Лирика душу сегодня влечет.
Разве Пиндаров у нас не бывало?
Как этот стих неровно течет, —
Новых стихов он залог и начало.

Пусть, королева сезона, с тобой
Мчит, как гарольд, до Парижа афиша...
Сложит в кафе тебе песню другой,
Встретим стихами возврат из Парижа!

Звездная гончая, ярость Мадонны...
Кахетии сломанная корона.

1922

Перевод С. Ботвинника

ГИОН САГАНЕЛИ

Давай-ка припомним в стихах и помянем вином
Тебя, наш лукавый чертенок, Гион Саганели.
Наверное, вскорости все, как один, мы умрем,
Так круто и зло раскачались лихие качели.

Кто стал бы сегодня в поэзию верить, как ты,
Кто стал бы, как ты, перед смертью томиться стихами?..
Вот, кажется, мы и дошли до последней черты —
И стих цепенеет, и слово твердеет, как камень.

Еще до конца дочитаем мы твой манифест.
Еще мы поймем, что стихи без тебя потускнели.
И словно очнемся: так вот он — отчаянья жест
И знак обреченности! Бедный Гион Саганели!..



Мешаются мысли... Чего ж я твержу, как заклятье:
— Чертенюк и молния... Маленький гробик...
Большое проклятье...

1922

Перевод И. Дадашидзе

23 АПРЕЛЯ 1923 ГОДА

Снилось кафе «Монпарнас» мне под утро сегодня:
Шумный сенат суеты, словословия, прений...
Сон моим грезам несбыточным — лучшая сводня.
Я и сегодня напьюсь в честь своих сновидений.

Ты, мой Тифлис, красоты и веселья столица.
В солнце твоём растворяются прошлого тени.
Бесики песнь колдовскою рекою струится.
Душу сжигает апрель ликованием весенним.

Я не хочу умереть патриархом в постели.
Вольно ж мне было считать дорогие утраты!
Там, где родные могилы цветами пестрели,
Канатоходцы с утра натянули канаты.

В жизни чудак, и в стихах начудил я довольно.
Ах, это правда, и все ж я прощенья не кляну!
Костью игровой служу я судьбе своевольной,
Но эта скачка страшна лишь заезженной кляче.

Нынче меня отпустили разбойники с миром.
Это и впрямь день поэзии. В праздничном гуле
Передо мною в толпе прошлогодним кумиром —
Астра-Астарта-Мелита опять промелькнула.

23 апреля 1923

Перевод И. Мельниковой

ОРПИРСКИЙ ЗЛАТОУСТ

Не путай с златоустом-окропири
Лягушку, надрывающую горло!
Легко узнать и в царственной порфире
Болтунью, выступающую гордо.



Я сам ее воспитанник, наследник,
Поэт Табидзе — сквернослов... О, Боже!
На Рождество, на Пасху и в Сочельник
Я говорю всегда одно и то же.
С амвона церкви, церкви улетевшей,
Читает квакша проповедь, поди ж ты!
Так в казино крупье: «Вот карта ваша!»
Так в баккара: «Все ваши карты биты!»
А прямота какая! А публичность!
(В речах не столько пыла, сколько пыли.)
В поэзии, увы, исчезла личность...
Жива лишь в Рафаэле Эристави!
Вот это праздник! (Если вы читали
Его стихи и чудом не забыли.)
О, если бы поэзию любил я
Или хотя бы Грузию, как, скажем,
Любила моя мать свою корову!
(И ты, кому смешно все это слушать,
Так собственных детей любить не можешь.)
Кому где квакати — судьба, кому где пети...
Еврею Даниэлу — в Имерети,
В Кахети — пети Дедасу Левану...
(Все ждут стихов небесных, словно манну!)
А вот невесты, горлицы мои,
В ночь, страшную для них, поют стихийно?
Стихи Акакия поют, стихи Ильи.
(Я все отдам, чтоб стать хрестоматийным!)
Георгий Саакадзе — снова с нами.
И в небольшом приданом, говорят,
Был непременно «Вепхвисткаосани».
У нас стихами вас благословят.
(Но дадаисты в чохах и папахах!
Джавахишвили Иванэ — в Плутархах!)
Все ходят в гениях. У нас любой — поэт.
(Лишь о Табидзе диссертации все нет!
Воистину, прелестна левизна
В поэзии, где древность — новизна.)
К поэзии огромен интерес.
Иметь единоличного поэта
Всем хочется... И в Грузии он есть!
Да у любой веснушчатой девчонки
Был собственный поэт. В обычьях — это.

Спустись сегодня Богородица с небес,
Боюсь, она б осталась невоспета!
Все квакает орпирский златоуст,
Ораторствует жаба, раздуваясь:
«Кому писать стихи здесь трудно, пусть
Об этом скажет прямо, не смущаясь.
Смелей! Смелей! Воды набрали в рот?
Смешней ваших стихов — смешней вы сами!
В век электрификации и НОТ —
Не человек, кто занят лишь стихами!»
Спросите у любого, кто к вам вхож,
Поэта, тонко знающего дело...
От чьих стихов его охватит дрожь?
Стефана Малларме или еврея Даниэла?

Май 1923

Перевод А. Ахундовой

МЕЛИТА

Дадаистический мадригал

Имя мое — Тициан, — как ни странно,
Больше всего опозорено
Сравнением с бархатом Тициана
На старинных полотнах разодранных...
Ведь не предвидел, честное слово,
Ты, Тициан, двойника такого!

Мери Шервашидзе висит портрет,
Вырван из журнала Диасамидзе —
Художник писал его несколько лет.
Глядит на мой стих с улыбкою дама,
Лицо Богоматери у нее —
Издrevле таким воздвигали храмы...
И сверху глядишь на меня ты, Мери, —
Я из журнала Сандро Канчели
Вырвал этот портрет —
Художник писал его несколько лет...

А ты, Мелита, смотришь на чистое
Небо Тютчева — небо Рима.



В Италии, думаю я, футуристы
Сейчас от тебя в восхищении...

Тбилиси ж идет на убыль незримо,
Всё медлит и медлит землетрясение.

Май 1923

Перевод С. Ботвинника

ТБИЛИСИ

Ода

О землю посохом ударил Горгасал,
И город мой восстал на горе и на муки.
Он голосами павших лиру мою звал,
Бесчисленных крестов протягивая руки.

Сказаньем песенным хотел бы в высоту
Над Картли взмыть в заоблачные выси.
От смертной жажды изнывая на лету,
Подобно соколу в легенде о Тбилиси.

В Куру потоками стекала кровь с полей,
Врагом растоптанных и кровью напоенных;
Катились наземь купола твоих церквей
В те дни с плеч каменных, как головы казненных.

Меч Саакадзе на врагов за взмахом взмах
Тогда обрушивал разящие удары;
И, как снопы на окровавленных токах,
Детей расплющивали досками татары.

Навек с душой царя Ираклия ушла
Печаль, окутанная сумеречной правдой,
Когда над Картли дымно розовела мгла
От моря крови и от зарев над Марабдой.

О том поэты нам не смеют рассказать,
Листая летопись измученной столицы,
И даже Руставели отводил глаза
От крови, склеившей шафранные страницы.

И если чья-то песнь, как стих Саят-Нова,
Как лебедь, крылья над тобою распростерла,
То знай, что эти полумертвые слова
Текут из насмерть перерезанного горла.

Ты — город-мученик, и вечный твой гранит
Мне стал уже давно источником мучений, —
Певец твой легендарным соколом сгорит
В неопалимости купины поколений...
Так жди, когда, тобой сраженный влет,
Поэт к ногам твоим, как сокол, упадет.

1923

Перевод Л. Мальцева

СКВЕРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Шесть лет собиралась,
А ныне исторгла
Душа моя стихотворенье...
Его назову «Воскресеньем Лафорга», —
Скверней я не знал воскресенья!
Не слышится звона колоколов,
Стоят, как призраки, храмы.
Ах, если бы я не сказал этих слов,
Желчь в сердце б мне хлынула прямо!

Похвастать могу, что даже во сне
Являюсь я истинным богом лени;
А если прибавить, что вижу в вине
Родную стихию, исток вдохновенья, —
То в Грузии нашей могу при этом
Самым великим прослыть поэтом!

Теперь сюда, пожалуйста, гляньте:
Котэ Марджанишвили,
Шалва Дадиани,
Ушанги Чхеидзе,
Сандро Ахметели
Восседают в цирке братьев Танти
На юбилее Кула Глданели.
У карачохелов сих, в самом деле,
Откуда такой темперамент возник?

Стоит на арене бедняга Глданели,
Как прогоревший купец-оптовик;
А перед нами — его прежний портрет,
Но силы железной — в помине нет.

Как самоубийцы, бредут по проспекту
Гаприндашвили и Надирадзе, поэты...
Потом — от жары шумит в голове —
Задыхаемся мы на «Веселой вдове».

Описано в этом стихотвореньи
Одно упраздненное воскресенье.
Потом — ведь время летит вперед —
Уж так не смогу развлекаться я...
Пора настает, начало берет
Стиха электрификация.

*Июль 1924
Тбилиси*

Перевод С. Ботвинника

МУХАМБАЗИ, КОТОРОЕ НЕ ПОЕТСЯ

Из Ортачалы плыл Орбелиани
С уловом рыбы в легком челноке,
Зурна звенела в утреннем тумане,
Как будто бы подъем в татарском стане
Пронзительно трубили вдалеке...
И зурначами встрепанное утро
Уже грузилось в сливах на мулов,
В корзинах отливая перламутром
Росы коджорских утренних лесов.
Саят-Нова словами поутру
Трясет за косы сонную Куру, —
Там песнь его вовсю Каро горланит:
«Где прогремят стихи Саят-Нова,
Там гром гремит и клонится трава!»

И вот проснулся мой Тбилиси,
Спросонья потянулись цепи гор.
Ущельями зевнув, поднялись выси
И вызывают сердце на простор.

На двух горах с зарею над Кабахом
Необычайно снег порозовел,
Как на щеках сестер, которых замуж
Орбелиани выдать не успел.
С зарей еще прекрасней храм Кашвети.
В такое точно время, на рассвете,
Орбелиани плыл в родные дали,
Туда, где тамаду уже давно
Рога, вином наполненные, ждали
И подносили с криками вино:
«А ну-ка, парень, пей до дна смелее!»
Я — Тициан. Пусть знают, как я пью...
Но я в стихах во много раз сильнее:
Не только гром гремит под песнь мою —
Она под шум кладбищенской травы
Рассыплет в щепы гроб Саят-Новы.

Май 1925

Перевод Л. Мальцева

РАСТЯНУТЫЙ МАДРИГАЛ

М<арте> М<атабели>

Ты вся отточена, как сабля Мачабели.
Ты — выше виселицы! Взор твой — это взор
Мадонны в час, когда от белой колыбели
Падет на Картли он, и светел, и нескор.
То мне река Лиахва снится... То не спится...
А лишь засну: и бой! И мчится атабек!
Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза
В Куру засмотрится отныне и навек...
Опять в грузинских погребах играют вина,
И рыцарь к рыцарю спешит, и к рогу — рог.
Бессмертно солнце наше! Нет еще грузина,
Чтоб перед смертью он забыть об этом мог.
Не быть мне мастером, стыдливым и невинным —
Пусть он царицын лик во фреске сохранит, —
Но надо стыд забыть, чтобы пером гусиным
Махать настойчиво, когда клинок звенит.
Вот сердце! В Картли ты — последняя царица!
Возьми себе — да из него не пожалей



Корону вырезать. Пусть побледнеют лица
Других поэтов от гиперболы моей.

Июль 1925
Тбилиси

Перевод Ю. Ряшенцева

МАТЕРИ

Я был похож на Антиноя,
Но все полнею, как Нерон.
Я с детства зрелостью двойною
Мук и мечтаний умудрен.

Я вскормлен топиями Орпири,
Как материнским молоком.
Будь юношею лучшим в мире —
В два дня здесь станешь стариком.

В воде ловили цапли рыбу,
И волки резали телят.
Я людям говорю «спасибо»,
Которые нас возродят.

Я лить не стану слез горючих
О рышущих нетопырях.
Я реющих мышей летучих
Не вспомню, побери их прах.

Ты снова ждешь, наверно, мама,
Что я приеду, и не спишь;
И замер в стойке той же самой,
Как прежде, на реке камыш.

Не движется вода Риона
И не колышет камыша,
И сердце лодки плоскодонной
Плывет по ней, едва дыша.

Ты на рассвете месишь тесто —
Отцу-покойнику в помин.
Оставь насиженное место,
Край лихорадок и трясин!

Ты тонешь вся в кручине черной.
Чем мне тоску твою унять?
И рифмы подбирать позорно,
Когда в такой печали мать.

Как, очевидно, сердце слабо,
Когда не в силах нам помочь.
А дождь идет, и рады жабы,
Что он идет всю ночь, всю ночь.

Отцовскою эпитрахилью,
Родной деревнею клянусь,
Что мы напрасно приуныли,
Я оживить тебя берусь.

Люблю смертельно, без границы
Наш край, и лишь об этом речь.
И если этих чувств лишиться —
Живым в могилу лучше лечь.

Июль 1925
Тбилиси

Перевод Б. Пастернака

ТАМУНЕ ЦЕРЕТЕЛИ

Никогда не бывало так радостно мне,
Как сегодня. Не знаю, в чем дело.
Не хочу я, чтоб сердце горело в огне,
А искусство мое охладело.

Из ворот Ташискари летит ураган,
Блещет пламенем шлем Моурави.
Серп луны изогнулся, прорезав туман, —
Скорбный месяц в холодной оправе.

Замирая, не в силах я глаз отвести
От развалин старинного стана.
Опоясан мечом, я стою на пути,
Но не видно нигде басурмана.

И стихи Гуриели похожи на стон:
«Кто прославит Тамарины чары?»



Жизнь моя — только миг, но разрублен и он
Соименницей дивной Тамары.

Кто прославит Тамару? И этой другой
Кто споет, распростершись во прахе?
Светозарная Картли горит надо мной,
И в плену я у стен Моды-Нахе...

Июль 1925

Боржом

Перевод Н. Заболоцкого

ИЛАЯЛИ

Посвящается Али Арсенишвили

В Скифии я... Киммерийские сумерки
Испепеляют.
Слышишь, Али, твоим голосом
Пушкина снова читаю.

Слезы фонтана Бахчисарая меня
Обливают...
Старым фонтанам оплакивать нас
Не мешаю.

Спрашивал я и у ночи — у скифской,
Дремучей:
Где наша юность? Блаженство?
Восторг, упоенье?

Кто запечатал сердца наши
Кровью сургучной?
Кто так и не дал взрасти, возмужать
Вдохновенью?

Скоро в Тбилиси, как некогда
Важа Пшавела,
Я привезу новых песен
Тугие хурджины...

Все-таки больше, чем песен,
Везу я тоски и кручины,

Вот уж в чем родина
И без меня преуспела.

Духом печальным Овидия
Мог бы поклясться,
Мы еще ближе друг к другу,
Чем некогда были.

По Руставели мечтаю с тобою
Пошляться,
Мы бы забытые строки стихов
Воскресли.

Припоминаю, *он* шел Лоэнгрином
Навстречу...
Яблони к Белому мосту и лебеди
Так выплывали...

Рыцарем помню тебя и поэзии
Данником вечным...
Ах, в Кутаиси какие рассветы
Мы не замечали!

Вспомнил Тбилиси... Молочное утро
На Вардисубани,
Речи сумбурные, пар от стихов,
Илаяли...

Бредит духан, погружаясь в Саят-Нову,
Как в омут...
Все-таки что-то, Али, от огня, от того,
Не могло не остаться!

Год восемнадцатый. Год восемнадцатый!
Будь же он проклят!
Все мы — гусары, Али! Летучие все мы —
Голландцы!

Плачет душа моя, плачет бессмертная,
Праведность — завтра!
О, в светлячка воплотившийся
Дух Илаяли!

Буэнос-Айрес... Кастилия
И Алехандро!
Вот и малайцы!.. Они одеялами белыми
Головы все обмотали.

Этим мучительным дням
Отошла панихида.
Их Сабанеева нежно оплакала
И Провиденье.

Что же и нынешней ночью
Я колокол слышу Давида?
Все — сновиденья. И Скифия эта моя —
Сновиденье.

14 августа 1925
Анапа

Перевод А. Ахундовой

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЧУЖЕСТРАНКЕ

Стих не прочтешь ты этот, и о нем
Ты не услышишь. Говорил тогда я:
«Лишь о Тифлисе вспомнишь ты ночью,
Лишь он останется, не увядая».

Был исцарапан я, изранен. Что ж?
Тифлис и тигра помнит посещение.
И разве розу без шипов найдешь?
Кто строгости твоей придаст значенье?

Сперва тебя Фатьмой хотел я счесть.
Сам выдавал себя за Автандила.
Перчатками, оберегая честь,
Словно кинжалами, меня ты била.

Зачем поведал я про случай тот?
Олень не станет восхвалять поляны
И травы их. Но если воспоет
Тебя другой — припомни Окроканы.

Октябрь 1925
Тбилиси

Перевод С. Спасского

ИЗ ПОЭМЫ «ЧАГАТАР»

Как бы я ни был покорен, я смею
Голос возвысить и требую слова.
Что мне идея! — люблю идею
Память позором одернет сурово.

Гумна тбилисские. Здесь, может статья,
Гибли под цепом невинные дети.
Мне не дадут в стороне оставаться,
О мой Тбилиси, страдания эти!

Я на себя призываю побои.
Дайте мне слово, я слышу донине,
Как Александр горевал над Курою,
Плач Шамиля различаю в теснине.

Кто-то сталь сабли без усталости точит,
Рвется к Дарьялу, неистово лая.
Каджи над Тереком в бубен грохочут,
Вот и Казбек, как свеча восковая.

Голос мой с голосом гордым животных —
Льва и орла — не сравнить, слишком тонок.
Поскрип слышит досок эшафотных,
Заверещу, как на бойне теленок.

Смерть подступила к Ага-Мамед-хану.
Хватит, довольно топтал он Тбилиси.
В строй ратоборцев марабдинских встану,
Чем я не ровня героям Крцаниси!

С доблестью званье поэта сравню я, —
Званье воителя доблестней вдвое.
Как я люблю эту землю святую —
Грузию объединили герои!

И завещаю я в ночь невезенья,
Самую страшную ночь моей жизни:
Будь Александра-царевича рвенья
Вечным — ведь это печаль об отчизне!



И, как мюрид, я клянусь бородами
Славных — Шамиля седой бороною
И Александра — они наше знамя:
Пусть я призванья поэта не стою,

Пусть же оно от меня отвернется
Безоговорочно, без сожалений,
Если и мне совершить не придется
Дела, достойного ваших свершений!

Ноябрь 1925

Тбилиси

Перевод С. Гандлевского

* * *

Жить легко и свободно хочу я, несвязанный атом.
И у нас можно делать добро без страстей и огня...
На персидском ковре я лежу азиат-азиатом,
И овчарка моя беспокойно глядит на меня.

Деловитый поэт-стишок свой в трактире запишет.
— Мы не ровня с тобой! — крикну я. — Брось перо и свечу!
Лучше «Ангела-всадника» ты отыщи — хоть афишу:
Я короны обломанной тоже, голубчик, хочу...

1925(?)

Перевод Б. Резникова

* * *

Вспомнилось детство, топи Орпири,
Крыши в соломе, таянье дня...
Мальчик я самый неистовый в мире —
Лучше и пальцем не трогать меня!

Чудится: в чаще прибрежной возводит
Башню за подвиг красавица мне...
Я с Саакадзе в военном походе,
Персов сражая, несусь на коне...

Середина 1920-х гг.

Перевод С. Ботвинника



ОРПИРИ

Да где ж они, все эти двадцать лет?..
Опять лежу ребенком на подворье.
Еще своих не оставляли мет
На лбу моем ни радости, ни горе.
В озера опускается закат.
Как Саваоф, застыла Нарикала.
И вид окрестностей замысловат:
В нем узнает ошеломленный взгляд
Тамары достопамятный наряд —
Над этим платьем десять лет подряд
Сто мастериц голов не подымало.

Поэзия, втяни меня, втяни
В могучее свое коловращенье.
...Как я люблю глаза открыть в тени,
Как женственно листвы прикосновенье.

Меня терзает неба высота!
Холодный блеск светил изводит зренья!
Стихи со мной лукавят неспроста
И вызывают вновь сердцебиенье.

Чем безыскусней скажешь, тем скорей
Твои слова другим придут на помощь.
...И яблоневою белизной своей
О грудь мою уже разбилась полночь.

В прожилках небо. Ни души на свете.
Под утро непременно будет ветер.

*20 февраля 1926
Тбилиси*

Перевод Н. Соколовской

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Так жить — одному Чагатару под силу.
Свободен ты был, словно конь на скаку.
Скорблю я. Возьми за собою в могилу
Вот эти стихи за строкою строку.



Степная печаль за тобою по следу
Гналась и гнала до Дарьяльских высот.
Мы плачем. Кружи хоть по целому свету —
Что толку? Душа от себя не уйдет.

Нет счета слезам и конца угрызенью
Безжалостной совести, меры стыда.
Но разве из тех, кто не рад был спасенью,
В живых ты один оставался тогда?

Стихи твои кровью сердечной стекали
Из раны пожизненной, капали вновь.
Но разве ты смертью спасешься? Едва ли.
Лишь кровь приумножит пролитую кровь.

Светало. И с пьяною удалью кепку
В котле из-под хаши Паоло варил.
Светало. И смерть обняла тебя крепко,
На улице кровли мороз серебрил.

Поэзия не изменилась. И зори.
Как встарь, словно двери, откроет она.
Но мне все сдается, прикончат нас вскоре —
Такие внезапно пришли времена.

Верны твоему завещанью, отныне
Мы в каждом застолье тебя помянем.
Ты кровью исходишь в глухой мешковине,
Как хлеб, пропитавшийся красным вином.

Ей-Богу, мы родичи были друг другу —
Монгольскую кровь разгоняли сердца.
Взяв душу, стервятники в небе по кругу
Парят, чтоб и падаль склевать до конца.

Давно Амиран изнемог здесь от пыток —
Подобная участь и нам суждена.
Как мирро, ты выпил смертельный напиток —
И нам допивать это зелье до дна.

Взревел по тебе, так что треснул от рева,
У Чопурашвили орган заводной.

Скрываю я даже от брата родного,
Какой в моем сердце спекается гной!

Вовек потому не избуду печали,
Что верности клятвы, признанья в любви
При жизни, Есенин, тебя не застали,
Ты не отзовешься — зови не зови.

Друзья, если головы наши в канаву
Покатятся разом, пусть знает любой,
Что, как бы то ни было, братом по праву
Есенина Орден считал Голубой!

28 февраля 1926

Перевод С. Гандлевского

ТАНИТ ТАБИДЗЕ

Саламбо, босоногая, хрупкая,
Ты привязанною за лапку
Карфагенской ручною голубкою
Ходишь, жмешься и хохлишься зябко.

Мысль моя от тебя переносится
К Карфагену, к Танит, к Ганнибалу.
Он на меч свой подставленный бросится
И покончит с собой, как бывало.

Сколько жить мне, про то я не ведаю,
Но меня со второго апреля
Всю неделю тревожат, преследуя,
Карфагенские параллели.

Я в Тбилиси, но дерево всякое,
Травка, лужица гонят отсюда,
И лягушки весенние, квакая,
Шлют мне весть с деревенского пруда.

Спи, не подозревая ни малости,
Как мне страшно под нашею крышею,

Как я мучусь тоскою и жалостью
Ко всему, что я вижу и слышу.

2 апреля 1926

Тбилиси

Перевод Б. Пастернака

НЕ УДИВЛЯЙСЯ

Не удивляйся, если вдруг услышишь,
Что Тициан молчит уже давно.
Я раб мечты. Когда мечтою дышишь,
Все прочее забыть немудрено.

Сегодня я не стану лицемерить:
Мне нравился когда-то дадаизм.
Терзался я. И можешь мне поверить,
Что в этом раздвоенъи был трагизм.

Как эшафот — Халдея... Наважденье!
Плач неба надо мною не затих.
Невозбранимы сердцу заблужденья.
И я поддался одному из них.

Вихрь пролетел у нас над головами.
Я только нынче начинаю жить.
Нельзя огонь пересказать словами,
Как пригоршнею море осушить.

О, детский мир былых стихотворений:
Где истина, где фарс — не разобрать...
Под натиском внезапных откровений
Я начинаю новую тетрадь!

15 июня 1926

Перевод Н. Соколовской

* * *

Мне свеча святая Алаверди,
И трехсот арагвинцев сраженье,
И сионский колокол до смерти
Душу мучают, как наважденье.



Хватит снова видеть грудь царицы,
Синюю от пыток и побоев,
Знать, что под Марабдой кровь струится —
Страшен остров из костей героев.
Хватит, говорю, нет больше мочи
Слышать тихий плач Светицховели,
Видеть Богородицыны очи,
Изрешеченные при расстреле.
Как мне слез не лить о каждой ране,
Как не горевать от произвола!
Пусть воскреснет внук у Дадиани
И на Картли не придут монголы!
Но беда видна, беда слышна мне, —
Вновь царевич Александр рыдает,
Вновь убийство в Цицамури камни
Кровью праведною обагрят.
Горе родины взывает к мести.
Новой песни не просите, бросьте.
Где возьму я сил для новой песни,
Если в прошлом кости, кости, кости!
Не жалейте о моем бессилье,
Жалости не надо мне, поверьте.
Прахом стал я, пеплом стал я, пылью,
И пою, как накануне смерти.

5 августа 1926

Перевод С. Гандлевского

НАДПИСЬ НА КНИГЕ «АНГЕЛ-ВСАДНИК»

На новый стадион спешит столица,
И белый ангел мчится на коне...
Одною хоть строкой своей хвалиться
На памяти твоей случалось мне?
Пусть это ведают отчизны дали,
Но и тебе, родная, нужно знать,
Как тяжело мяч в игре вести годами,
Чтобы в аду поэмы сочинять...
Вы знаете, кто этот Ангел Сечи
На скакуне, летящем над землей.
Легко ль всю Грузию взвалить на плечи?
Но я — поэт в засаде боевой.



Внук славных мастеров, я против слова
Сражаюсь, из корней могучих пьющего.
Собой, как тканью сумрака ночного,
Укрой поэта Грузии грядущего.

21 августа 1926

Соги

Перевод Б. Резникова

СКИФСКАЯ ЭЛЕГИЯ

1

Очи выплакивал тут
Овидий о детях и Риме.
Рим и время падут
Перед стихами стальными.

Так же о дальней столице
Пушкин сгорал на чужбине.
Было вчера это, мнится, —
И нет Петербурга в помине.

Рать амазонок здесь гнал
Македонский, но сам стал добычей.
Лев свой доспех променял
Львиный на пояс девичий.

Скифы прошли здесь, коням
Хребты с перепояю ломая.
Саблей дорогу ислам
Здесь проложил до Дуная.

К морю несли свое семя
Народы одни и другие,
Но миновало их время —
В сумерках днесь Киммерия.

Мне-то здесь что, пришлецу?
В сердце стихов трепетанье.
Бьют, не щадя, по лицу —
Пой, лебедь, с пронзенной гортанью!

Здесь, может статься, опять
Пройдут племена вереницей.

Понт Эвксинский, как знать,
Высохнет, дно обнажится.

Все прорастет быльем,
Но до скончания света
Стих пламенеет клеймом
Прямо на сердце поэта.

Здесь, где Овидий навзрыд
Плакал о Риме и детях,
Мне продолжать предстоит
Стих, непрерывный в столетях.

2

Душою не криви, в изгнание не играй:
В своей отверженности ты один виновен.
Я видел Скифию, далекий дикий край,
Но мало проку мне от всех его диковин.
Да, я и впрямь люблю тебя, моя страна,
Но в искренность мою уже не верят ныне.
Когда там в ход пошли и плуг и борона,
Тень папоротника искал я на чужбине.
Плач пушкинской строки звучит во мне опять,
И Киммерия вновь стоит перед глазами.
Мне слова ласкового не от кого ждать —
И сердце обливается слезами.
На участь сетуя, с собакою слепец,
Бродячий бандурист пройдет, клюкою шаря.
И этот тихий плач заставит наконец
Расплакаться Христа на нищенском базаре.
Мне плакать хочется, не знаю почему.
Как быть, любой замок на сердце мне навесьте,
Но только обернусь я к детству моему
Заветному — и вновь глаза на мокром месте.
Скончание времен печалит старика —
Еще бы мне не знать, я рос под это пенье.
И скифы на море, и прошлые века
Мне тоже застыт взор слезою сожаленья.

Сентябрь 1926
Анапа

Перевод С. Гандлевского





Иду со стороны черкесской
По обмелевшему ущелью.
Неистойой морского плеска
Сухого Терека веселье.

Перевернувшееся небо
Подперто льдами на Казбеке,
И рев во весь отвес расщепа,
И скал слезящиеся веки.

Я знаю, от кого ты мчишься.
Погони топот все звончее.
Плетями вздувшиеся мышцы...
Аркан заржавленный на шее...

Нет троп от демона и рока.
Любовь, мне это по заслугам.
Я не болтливая сорока,
Чтоб тешиться твоим испугом.

Ты — женщина, а кто из женщин
Не верит: трезвость не обманет,
Но будто б был я с ней обвенчан —
Меня так эта пропасть тянет.

Хочу, чтоб знал отвагу Мцыри,
Терзая барса страшной ночью,
И для тебя лишь сердце ширю
И переполненные очи.

Свалиться замертво в горах бы,
Нагим до самой сердцевины.
Меня убили за Арагвой.
Ты в этой смерти неповинна.

5 декабря 1926

Тбилиси

Перевод Б. Пастернака



КАРМЕНСИТА

Ты налетела хищной птицей,
И я с пути, как видишь, сбит.
Ты женщина или зарница?
О, как твой вид меня страшит!

Не вижу от тебя защиты.
В меня вонзила ты кинжал.
Но ты ведь ангел, Карменсита,
Я б вверить жизнь тебе желал.

И вот я тлею дни и ночи,
Горя на медленном огне.
Найди расправу покороче, —
Убей, не дай очнуться мне.

Тревога все непобедимей,
К минувшему отрезан путь,
И способами никакими
Былого мира не вернуть.

В душе поют рожки без счету,
И звук их жалобно уныл,
И точно в ней ютится кто-то
И яблоню в ней посадил...

И так как боли неприкрытой
Не утаить перед людьми,
Пронзи мне сердце, Карменсита,
И на небо меня возьми.

16 декабря 1926

Перевод Б. Пастернака

* * *

Привозит дилижанс
И письма и газеты,
И лошади бредут, забрызганы до грив,
Промерив на пути все лужи и кюветы.



За три версты слышать,
Когда взывает кучер:
— Вот «Цнобис пурцели», вот знания листок...
А ну-ка, детвора, набрасывайся кучей!

А я того и жду.
На голову — потуже —
Платок.
Через плетень! Канава позади!
И с пачкою газет обратно — через лужи.

Уже народ притих.
Уже сырой, нехрусткой
Бумагой я шуршу, чтоб гордо прочитать
Народу о войне —
Войне японо-русской.

Отец глазами слаб.
Но все село считает,
Что пусть бы даже он и вовсе был здоров, —
Нет лучше, если сын
Вот так отцу читает.

Крестьяне смотрят в рот,
Качают головами,
Превыше новостей они поражены:
Малыш, а не смущен мудреными словами...

1926(?)

Перевод Ю. Ряшенцева

АПРЕЛЬ В ОРПИРИ

Солнечным жаром Орпири наполнен,
А над садами, где персик с айвою,
Солнце качает цветущие волны,
Пенное кружево над головою.

И, помогая цветенью, кипенью,
Будто бы марш над зеленой дорогой,
Птицы гремят по садам, словно пеньем
Май призывает себе на подмогу.

Поле, набухшее в солнечном свете,
Гонит по мышцам силу земную,
Словно уже прочитало в газете
Передовую про посевную.

Так от Орпири гулким простором
До Чаладиди плывет величанье.
Если обрушатся гордые горы,
Их этот воздух поддержит плечами.

И Арсианский хребет небывалый
В льдистой короне сияет до срока,
Ждет лишь сигнала, чтоб грянуть обвалом,
В пену цветения пеной потока.

Так и не ведаю, что означало
Вечное пение «Чарирами»,
Но Имеретия мне зазвучала
Близким созвучием — чая и рами.

1926

Перевод Ю. Михайлика

ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ

Нико Пиросмани

Привыкли мы славить во все времена
Нико Пиросмани за дружеским пиром,
Искать его сердце в бокале вина —
Затем, что одним мы помазаны мирром.

Он трапезы нашей почтил благодать:
Бурдюк и баран не сходили с полотен.
А поводов к пиру недолго искать —
Любой для приятельской встречи пригоден.

Следы нашей жизни, о чем ни пиши,
Изглядятся лет через десять, не боле,
А там на помин нашей бедной души
Придется сходить поклониться Николе.



Заплачет в подсвечниках пара свечей,
В трактире накроется столик с обедом...
Прошел он при жизни сквозь пламя огней,
За ним и другие потащатся следом.

Жил в Грузии мастер... Он счастья не знал!
Таким уж сумел он на свет уродиться.
Поднимем же, братья, во здравье бокал, —
Да будет прославлена эта десница.

1926

Тбилиси

Перевод Н. Заболоцкого

* * *

Высоким будь, как были предки,
Как небо и как гор венец,
Где из ущелья, как из клетки,
Взлетает ястреба птенец.

Я тих, застенчив и растерян.
Как гость, робею я везде,
Но больше всех поэтов верен
Земле грузинской и воде.

Еще над бархатом кизила
Горит в Кахетии закат,
Еще вино не забродило
И рвут и давят виноград.

И если красоте творенья
Я не смогу хвалы воздать,
Вы можете без сожаленья
Меня ногами растоптать.

Высоким будь, как были предки,
Как небо и как гор венец,
Откуда, как из темной клетки,
Взлетает ястреба птенец.

1926

Перевод Б. Пастернака



* * *

Трижды существуя,
Я крещен втройне,
Смерть придет впустую
В первый раз ко мне.

Я в конец плачевный
Верить не могу,
Вида ежедневно
Выси гор в снегу.

В третье посещение
Буду я — полей
Сжатых совершенней,
Яблока спелей.

1926

Перевод Б. Пастернака

ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Сиони рядом был —
Вблизи от Вавилона,
И кедра аромат
На крыльях ветра реял,
И сторожил Кавказ
Надменно, непреклонно
Народов и племен
Затворенные двери.

Да, плач — всегда есть плач,
А плач о доме — вдвое;
Так мы рыдали там,
Где Вавилона реки,
Сто сотен лет назад
В тоске надсадной воя
По мертвому,
От нас ушедшему навеки.

Рыдаю, как Аракс,
Мне глухо вторит Мтквари,



Придет с восходом свет,
Уйдет с закатом снова,
О, Боже, силы дай
Дрожащей, слабой твари,
Когда казнит людей
Свирепый Иегова!

Да, Библия в крови
И все же ищет крови,
И песня все течет
Сквозь сомкнутые веки,
И Байрона напев
Грознее и суровой,
И Гейне слезы льет,
Просаливая реки.

От иудейских слез
Куда поэту деться?
Спешу, спешу, душа,
За сердцем поспевая!
Ко мне приходит вновь
Утраченное детство,
Я слышу: вот струна
Давида огневая.

Яфета дочь — рабу
Протягивает длани,
Сидония идет,
Вперед шагая смело...
Дворовый пес в углу,
Надсаживаясь, лает,
И у подъезда ждет
Клиента Даниэла.

Хлопочет Исаак,
Добро продать стремится —
Товар открыт для всех,
Как выставлен на блюде:
— Есть мыло, шпильки, соль,
Гвоздика и корица,
Неужто никому
Не нужно это, люди?!

А ну-ка, подходи —
Парча-мануфактура!..
За ним галдеж и визг,
Мальчишьи крики звонки.
Такая уж судьба,
Такая уж натура —
А где ж, бедняга, хвост
Несчастной лошаденки?

Божится, плачет он, —
И все ж ему нет веры.
Он Бога сто раз в день
Окрутит и обманет.
Кто ведает, что он
Изведал и измерил?
Ходить, бродить, хитрить —
Таким он делом занят.

О, не торгуйся, мать, —
Не знает сам, о чем он
Бубнит, когда твердит
О соли и о мыле...
Был слышен свист кнута
Над ним, над обреченным,
Когда неправый суд
Над Бейлисом творили.

Рыдала и рвалась
В огне душа студента,
Но что он мог свершить,
Что сделать в этом громе?
В смятенье и пожар
Душа была одета,
Когда впервые я
Услышал о погроме...

1926

Перевод Ю. Даниэля

ИСЕ НАЗАРОВОЙ

Эту память с весенними бурями
Не отдам я прошедшим годам.



Я читаю «Восстание в Гурии»,
Приближаясь к гурийским горам,
К самой первой любви, к той непрошеной,
К той, терзавшей меня по ночам.
И чем дальше мы ветром отброшены,
Тем бездомней, бездомней печаль.
Там, в безгрешном твоём сновидении,
Два поэта, лишённые сна.
И любовь неподвластна забвению,
Ибо может проснуться она.
Ты с Паоло. А третьему лишённому
Выпал сумрак гурийских дорог,
Где рукою подать до Всевышнего,
Что утешить влюбленного смог.
Ты, как прежде, чужая и близкая.
Нет, как прежде, отрады в стихах,
Что же делать с горами гурийскими
И ночными огнями в горах.

1926

Перевод Ю. Михайлика

В АНАНУРИ

Тамуне Церетели

Ты здесь не бывала. И все-таки мне суждено
Запомнить тебя перед сводами этой твердыни.
Два тока Арагвы сливаются в русло одно,
Меня же с тобой разлучают навеки отныне.

О, если бы даже не знал я тебя никогда,
Я б грезил тобою — так Врубелю мнилась Тамара.
Ты над Модии-Нахе сгораешь в ночи, как звезда.
Ты облаком таешь в горниле полдневного жара.

Душа цепенеет, как будто и впрямь на лету
К ней Демон безумный на миг прикоснулся крылами.
Раздай же подругам оленью свою красоту —
Теперь ничего уже больше не сбудется с нами.

Пускай им поэты слагают стихи о любви.
Пускай стороной их обходят терзанья и бури.



А мы навсегда погребаем надежды свои
Безумною ночью, в потемках, у стен Ананури.

Смотри же, я гибну. Так бьется форель среди камней,
Бока обдирая на суше горячей и пыльной.
Разорваны жабры, и с каждой минутой трудней
Глотать этот воздух — тяжелый, сухой, непосильный.

Вот так и уходят поэты в последнюю тьму,
Где больше уже ни страстей, ни стихов, ни витийства.
Где больше не надо сквозь слезы себе самому
Слагать в забвении колыбельную самоубийства.

1926

Перевод И. Дадашидзе

ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ

Нине Макашвили

А влажный звук неотделим от плоти —
Лениво набегающей волны.
Зажмурься и шепчи: Э в к с и н и с п о н т и...
М е д е я... Эти звуки — эти сны —

Твои. Но почему опять Медея?
От страха то горя, то холодея,
За звуком следую, за языком.
Глотает пламя мой камин-дракон,

И, багровея в отсветах камина,
Дрожит руно. Успеешь сердце сжечь,
Пока судьбина медлит, как лавина.
Пока немоту не расторгнет речь.

Но то, что я скажу — пребудет Словом.
В нем будешь — Ты. А древний будет миф
Прохладным облаком — Твоим покровом,
Полуденное солнце притемнив.

Слова — укронней монастырской кельи.
Нежнее, чем понтийская волна...



Строфа — как крепость! Как Саргис Джакели!
И в каждом слове — Ты. Лишь Ты одна.

Гляди: взлетает Гагра-лебедица
И правит на Эльбрус. Свежеет Понт...
Мне и ему — так радостно трудиться —
Бить в берег и лохматить горизонт!

Сполна сказаться в грохоте и вое,
Встречая августовский звездопад —
Скала — волна и слово — все живое —
И Ты — всему гармония и лад...

1926
Гагра

Перевод В. Леоновига

ИЗДРЕВЛЕ

Издrevле дня каждодневной вершиной
В Грузии вина сердца веселили,
В руки из рук те спешили кувшины,
Как от Дербента до Никопсии.

С собственной кровью смешав, как причастье,
Пил удалец их у смерти порога,
Резал, сшибаясь, татар он на части,
Шашке доверив и битве дорогу.

Сгнули в бурях те крестоносцы,
Нет и красавиц, что в башнях томятся.
Кто их вспомянет? Кто в них разберется?
Кто за них выпьет? Нам ли стараться...

Пел на Арагве Бараташвили,
«Химерион» меня душит доселе,
Коршуном вглубь взметнулся, и взмыли
Ветры — еще холодней, чем в ущелье.

Что же мне слезы любимой и милой?
Вихрь не прошу рыть могилу я с визгом.
Пусть же сгорят мои кости и жилы
И в крематории новом тбилисском.

Братцы, струею прекрасного света
Пенятся роги и в ветер и в стужу,
В Грузии трудно бранить нам поэта
За то, что с вином так издревле он дружен.

7 января 1927

Перевод Н. Тихонова

ШАРМАНЩИКИ И ПОЭТЫ

В Белом духане
Шарманка рыдает,
Кура в отдаленье
Клубится.
Душа у меня
От любви замирает.
Хочу я в Куре
Утопиться.

Что было — то было,
Пирушка-забвенье.
Принесите из Арагвы
Форели!
Оставляю о милой
Одно стихотворенье:
Торговать мы стихом
Не умели.

«Нина, моя Нина,
Замуж не пора ли?» —
«У тебя не спрошусь,
Если надо...»
Играй, мой шарманщик,
Забудь о печали!
Для меня мухамбази —
Отрада.

Танцор на веранде
Плывет, приседает.
Любовь за Курой
Устремилась...
«Сначала стемнеет,
Потом рассветает.

Тамрико от любви
Отравилась!»

Неправда, шарманщик!
Забудь это слово!
Ей зваться Тамарою
Сладко.
Но только красавица
Любит другого:
В поклонниках нет
Недостатка.

Играй же, шарманщик,
Играй пред рассветом!
Один я ей дорог,
Не скрою.
Как быть ей со мною,
Гулякой-поэтом?
Розы в Грузии
Сеют с крупую.

Но коль ты задумал
Потешить грузина,
И твое, видно, сердце
Томится.
Знай, найдет себе мужа
Черноокая Нина,
Не захочет Тамрико отравиться.

Есть для женщин закон:
Их девичество кратко.
Скоро съест девица
Супруга.
Мы же гибнем, шарманщик,
Жизнь отдав без остатка,
Нам и пуля сквозь сердце —
Подруга!

16 февраля 1927
Тбилиси

Перевод Н. Заболоцкого

ВСТРЕЧА С КОНСТАНТИНОМ БАЛЬМОНТОМ БЛИЗ МОСКВЫ В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

Мы полем шли... Доверчивей ребенка,
Волшебник, за тобой я поспешал.
Ты — легкий шаг, походка, как поземка —
Ветрами, как Христос, повелевал.

«Я был в России. Грачи кричали.
Весна смеялась в мое лицо».

Носился ветер с прошлогодним сором
И прядь волос медовых развивал,
И каркал ворон, или плакал ворон,
Твои стихи картаво повторял.

«Я был в России. Грачи кричали.
Грачи кричали: зачем, зачем?»

И у тебя я был... И плакал ворон,
О чем он плакал, разве угадать?
Но родина вставала перед взором,
И слез горячих я не мог унять.

Десятилетье огненное это
Из памяти не выжгло прошлых дней.
Но сколько же в то лето было света,
Что до сих пор светло в душе моей!

— «Важа Пшавела в это лето умер», —
Сказал и сам не поднял головы.
В предсмертной жажде он как обезумел
И словно бык просил: травы, травы...

С тех пор меня не покидало чувство,
Что на два солнца я взглянуть успел.
Фантазии ли, нежности ли буйство,
Но с этим я бы умереть хотел.

«Собачья» ли «площадка», где я маюсь?
Никольская ли церковь? Все, как встарь...



Но позвонить у двери не решаюсь, —
Здесь прежде был престол, сиял алтарь.

Здесь Скрябин день и ночь со смертью бился,
Звучал здесь Руставели... Я читал
Оригинал... и пот с меня струился.
Здесь Грушко, наш декан, тогда живал.

И ты читал... Нет, так берут аккорды,
Так мед из сотов пьют, так льют свечу!..
И я родной земли почуял корни,
Цветущую увидел алычу.

Что, Балтрушайтис дремлет? В самом деле?
Хорош Волошин, с головою льва!
И вдохновенный голос Руставели
Покрыли зимней нежности слова.

Тебя, великолепного поэта,
Ждут с голубыми рогами друзья,
Второго «Витязя в тигровой шкуре» где-то
Тбилиси ждет, ждет Грузия моя.

Уже тогда, и порознь и вместе,
Пытались футуристы мир менять...
Но мы, мы данники одной, старинной чести,
И нам с любовью в сердце умирать!

Февраль 1927
Тбилиси

Перевод А. Ахундовой

ТБИЛИССКАЯ НОЧЬ

Как будто умирающая, ночь
Вся изнывала, как певец в ударе.
Иль вправду помогли ей изнеможь
Там, за Курой, рыдающие тари?

И на плоту сосновом пел старик.
И песни незапамятная старость,
Преобразив его гортанный крик,
На что-то там надеяться старалась.

А я чем жив и до чего дошел?
Как Шавнабада, черен я и гол.
О чем же сердце плачет человечье.
Сжигаемое известковой печью?

Зачем мне стол, накрытый на плоту,
И то вино, что бражники глушили?
Схватить бы лучше в руки бомбу ту,
Что некогда швырнул Джорджиашвили.

Вот чем я стал и до чего дошел.
Как Шавнабада, черен я и гол.
Клянусь вам честью, я бедней и жальче.
Чем тот обугленный загаром мальчик.

Я буду петь индустриальный вихрь
И старый мир крушить, как плот дощатый.
Икар взлетел на крыльях восковых,
Но не крылам, а сердцу нет пощады.

Прости мне, если сердце залито
Еще слезами о заре весенней.
Я сам ревную к нищему за то,
Что он поет и плачет об Арсене.

Я сам на загнивающем плоту,
На том дощатом лебеде сосновом,
Но я не кончил. Я еще расту.
Еще надеюсь: все начнется снова.

16 марта 1927

Перевод П. Антокольского

В КАХЕТИИ

1

Слушайте зов Алазанской долины,
Гости далекие, голос старинный.
Пробуйте, пейте вина Кварели,
Чтобы сердца на пирах потеплели.

Всех приведите: певцы здесь желанны,
Стол им открытый лозы обвили,

В Шильде споем вам Дедас Левана
Или в Артанах — Каралашвили.

Пусть по селеньям прокатится громом
Мравалжамиер — чужим и знакомым,
Пусть им послышится град в Цинандали, —
Где еще сердце так песни вмещали?

Стол задохнется от песен застольных.
Будь же названия зятя достойным,
Рог подымай, не смущаясь, почаще,
Вылей здоровье Кахети сладчайшей.

2

Знаю, стреляли семь братьев... Но где же
Их попаданье? — Промазали вместе.
Только единожды выстрелил дед наш, —
Тур вниз ногами повиснул на месте.

Пусть семь поэтов пустят, как стрелы,
Семь своих песен — все мимо промчатся.
Путь пересек им Важа Пшавела,
Обвалом над ними повис Чавчавадзе.

Герои Кахетии, эти — другие...
Где состязаться достанем мы силу?
Поднимем же чашу, друзья дорогие,
И выпьем за ту, что на свет их родила.

Ведь рвется, как оползень, песня в привете,
Когда проезжаешь долину Кахетии...

17 апреля 1927
Тбилиси

Перевод Н. Тихонова

* * *

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.



Под ливнем лепестков родился я в апреле.
Дождями в дождь, белея, яблони цвели.
Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.
Как слезы глаз моих — они мне издали.

В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то
Случайно нападут на строчек этих след,
Замолвят без меня они в мою защиту,
А будет то поэт — так подтвердит поэт:

«Да, скажет, был у нас такой несчастный малый
С орпирских берегов — большой оригинал.
Он припасал стихи, как сухари и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу брал.

И до того он был до самой смерти мучим
Красой грузинской речи и грузинским днем,
Что верностью обоим, самым лучшим,
Заграждена дорога к счастью в нем».

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Апрель 1927

Перевод Б. Пастернака

ТОГО СКРЫВАТЬ НЕ НАДО

Дезертиры палят из ружей.
Рыжей кровью течет Лиахва.
Проступив из души наружу,
Прожитое тленом запахло.

Десять лет — будто рябь сквозная,
Страшных снов обугленный свиток.
Как я выдержал, сам не знаю,
Столько горечи, столько пыток.

Для страдающего поэта
Все слова потеряли цену.

Пусть расширилась сцена эта,
Мертвецом я вышел на сцену.

Так в грузинской сказке: бедняга
Набредает на ключ бессмертья.
Он домой воротится с флягой —
Тут ему и крышка, поверьте!

Так с поэтами происходит,
Что, видать, от рожденья хилы.
Если слава их и находит,
То лежит на плитах могилы.

Их стихи — словно кубки яда.
Им отравы скрывать не надо.

16 мая 1927

Перевод П. Антокольского

ГУНИБ

Я прошел по Дагестану, как мюрид,
Не считал себя гяуром-иноверцем.
Пусть со мной клинок лезгинский говорит,
Забавляется моим пронзенным сердцем.

В облаках, в снегах предвечной белизны
Цепи гор — как окровавленные плахи.
И таких громов раскаты там слышны,
Будто мчатся ископаемые в страхе.

Выше гнезд орлиных скученные там
Очаги людские, нищие селенья.
Со стыдом бреду я нынче по следам
Совершенного отцами преступленья.

Всех вповалку упокоила земля, —
Где грузины, где лезгины? — нет ответа.
Но одним джигитам смелым Шамиля
Рай отверзся, суждена обитель света.

Наших братьев истлевают костяки.
И когда вопит ночная непогода —

Это голос бесприютной их тоски,
Это песня их бесславного похода.

Не стрелял я из кремневого ружья,
Не лелеял, не ласкал глазами сабли.
Светом жизни, мирным братством дорожа,
Никогда войны кровавой не прославлю!

17 июля 1927

Тбилиси

Перевод П. Антокольского

ЗАПОЗДАЛЫЕ СКАЧКИ

Все мне кажется, будто на скачки
На хромом я явился коне...
Стихотворная накипь, горячка,
Посрамленье приносишь ты мне!

Я не рыцарь, сражавшийся смело,
Да и поля тут нет для атак...
Ты же знаешь: мечта улетела.
Не пугай — я напуган и так.

Этой крови горчайшей потоки
Не с мечом — так со словом пройди!
Ждет нас бой роковой и жестокий,
Будь же стоек, борьба — впереди...

Возле нашего ясного моря
Море крови уносит сердца...
Разве язву смятенья и горя
Мы не сможем отмыть до конца?

Гибель
Словом прекрасным и гордым
Встретит лебедь с разрубленным горлом!

23 июля 1927

Кобулету

Перевод С. Ботвинника



ЛИКОВАНИЕ

Как кладь дорожную, с собою
Ношу мечту грузинских сел.
Я — к Грузии губам трубою
Прижатый тростниковый ствол.

Я из груди бы сердце вынул,
Чтоб радость была через край.
Чтоб час твоей печали минул —
Свободно мной располагай.

Поют родные горы хором, —
На смерть сейчас меня пошли —
Я даже и тогда укором
Не упрекну родной земли.

С поэта большего не требуй,
Все пули на меня истрать,
И на тебя я буду с неба
Благословенье призывать.

24 августа 1927

Кобулетти

Перевод Б. Пастернака

ШАПКА ГАРИБАЛЬДИ

Я еще безусый был мальчонка,
Во мне сердце ласточкино билось,
Бой гремел, и пули пели тонко, —
Воевать мне не досталась милость.
В восемнадцатом году, в апреле,
Насмеялись турки над Батуми.
Без оружия воины старели,
От позора стали мы угрюмей.
Но кипела кровь желаньем мести
В злую пору светопреставленья.
Стар и млад мечтал, чтоб честь по чести
Турок опрокинуть на колени.
Как стена, молчало наше войско.
Мокрый ветер бил наотмашь злобно.

Лишь сердца, исполнившись геройства,
Неприступной крепости подобны.
...Молодые яростные годы
Сгинули, исчезли, отшумели.
Душу клонят новые невзгоды,
И как свечи в час отходный — ели.
Сердце, не дробись на сто осколков,
Той весны верни знакомый искус.
Пусть тебя навек привяжет к долгу
Пламень шапочки гарибальдийской!

10 сентября 1927

Перевод М. Шехтера

ВСХОДИТ СОЛНЦЕ, СВЕТАЕТ

Солнце первыми лучами метит
Склоны гор, очнувшись ото сна.
Из-за тучи светит и не светит
В ней заночевавшая луна.

Сверху Терек набегаёт, воя,
Снизу слышится Арагвы рев,
Солнце незаметною киркою
Разбивает льдины ледников.

По Казбеку вихрь метет с вершины,
В пурпуре зари его висок.
Стыд тому, кто пред такой картиной
Смерти бы ещё бояться мог.

Я стою внизу, оцепенелый,
И себя совсем не узнаю,
Точно вдунул сам Важа Пшавела
Жар Химикаури в грудь мою.

7 декабря 1927

Перевод Б. Пастернака

ИЗ СОГАНЛУГА

А Кура — колыбельного тише напева.
Только здесь, у Метехи, разгуляться не прочь.

И луна разлеглась безмятежно, как дева,
На плотях облаков, уплывающих в ночь.

Татарчонок оборванный из Соганлуга
Погоняет ослов и протяжно поет.
Залитая сияньем ночная округа
Допоздна разговоры со мною ведет.

Я беспечен и гол, как гора Шавнабада.
Только мысли — и судьбы мои, и родня.
Я не баловень этой судьбы — и не надо.
Лишь одно до глубин уязвляет меня:

Что и времени минуло вроде не мало,
Но Крцаниси еще потрясает озноб,
Что — простреленная — замерла Нарикала
И стоит в темноте напряженно, как гроб.

...А Кура колыбельного тише напева.
Только здесь, у Метехи, разгуляться не прочь.
И луна разлеглась безмятежно, как дева,
На плотях облаков, уплывающих в ночь.

1927

Перевод Н. Соколовской

БРАТУ ГАЛАКТИОНУ

Двое братьев, почти близнецы,
Там, в Орпири, мы выросли оба.
Там зарыты и наши отцы,
Да истлели, наверно, два гроба.
Там дома наши рядом стоят.
Мы в одной малярии горели
У разлива Риона в апреле,
И одни нас истоки поят.

Ты томишься по лаврам, а мне
Любо вспомнить о той стороне,
Слушать хриплую жалобу жабью
Или ржавое хлюпанье хляби.
Дилижанс, приближаясь, скрипит,
Чаландари бредет и вопит,

Босоногий певец, и проселок
Полон песен его невеселых.

Моя песня лишь отзвук глухой
Той трясины, где прошлое тонет.
То в ней волчий послышится вой,
То как будто бы колокол стонет.
Наши матери сгорбились, ждут,
И поминки справляют старухи.
Да соседи в проклятой округе
Никогда уже к ним не придут.

1927

Перевод П. Антокольского

В ГОМБОРАХ

С. Шаншиашвили и Г. Леонидзе

Распыляется, гибнет Уджарма. Но свой
Облик все ж сохраняют упорные глыбы.
О, хотя бы до нашей доски гробовой
Вы, стихи о любви, сохраниться могли бы!
В ночь такую Вахтангу послышался звон
С темных высей. И я различаю: несмелы,
До сих пор еще плачут, смотря в небосклон,
Остролисты и верески Важа Пшавелы.
В Саргичалах играет на тари Сако,
Напеваает для нас «Сулико» Церетели.
Что ж, и наши возлюбленные далеко,
Для потерь, для разлук мы любимых имели.
Да, умел себя высказать прежде ашуг!
Речь должна быть сейчас у поэтов иною.
Но пока еще словом владеет недуг,
Поступь говора нашего стала больною.
Нина, и Суламифь, и Мелита...

Чиста

Прелесть склонов Кахетии. Будто смиряя
Нрав свой, женщиной сделался тигр. Иль с моста
Из волос — нам открылось сияние рая?
Ночь Кахетии сладостнее молока
Материнского. Негу колеблет Иори.



Над Гомборами всплыла луна. И рука
Горгаслана мечом ее сдвинула вскоре.

Январь 1928
Тбилиси

Перевод С. Спасского

* * *

Брат мой, для пенья пришли, не для распрей,
Для преклоненья колен пред землею,
Для восклицанья:
— Прекрасная, здравствуй,
Жизнь моя, ты обожаема мною!

Кто там в Мухрани насытил марани
Алою влагой?

Кем солнце ведомо,
Чтоб в осиянных долинах Арагви
Зрела и близилась алавердоба?

Кто-то другой и умрет, не заметив,
Смертью займется, как будничным делом...
О, что мне делать с величием этим
Гор, обращающих карликов в дэвов?

Господи, слишком велик виноградник!
Проще в постылой чужбине скитаться,
Чем этой родины невероятной
Видеть красу и от слез удержаться.

Где еще Грузия — Грузии кроме?
Край мой, ты прелесть
и крайняя крайность!
Что понукает движение крови
В жилах, как ты, моя жизнь, моя радость?

Если рожден я — рожден не на время,
А навсегда, обожатель и раб твой.
Смерть я снесу, и бессмертия бремя
Не утомит меня... Жизнь моя, здравствуй.

Январь 1928

Перевод Б. Ахмадулиной



СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Май всюду есть май. Повсеместное чудо.
Но все же в Батуми в нем нежность иная.
И понял я нынче — вовек не забуду —
Что нет красоте ни предела, ни края.

В смятении память: «А было ли, было?»
Так кротко морское пространство дышало.
Семь дворец высокое небо раскрыло
И радужным поясом небо сковало.

И лучшая занавесь ирисов белых
Колелется в такт лакированным кронам.
И стай уснувшей птиц меловотелых —
Так розы рассыпаны в глянце зеленом.

Один перед райскими медлю вратами,
Что настезь открыты и манят отрадой.
Быть может, поэт обречен небесами
На поиски края, где рая не надо.

Воскликнуть готов: «Гибель вашему роду!»
Так мучит сознание любимое имя.
Сияют врата, что венчают свободу.
Мне стыдно, что я без тебя перед ними.

*1 мая 1928
Тбилиси*

Перевод И. Мельниковой

ЯРАЛИ

Судьбою ты нам послан, Ярали,
И, верно, музы милость нам явили —
Поэт грузинской солнечной земли
Наш верный брат Сандро Шаншиашвили.

Вгляни, сомкнулся тесный круг друзей.
Мы пленены звенящими словами.
Покорены отвагою твоей.
Веселие повелевает нами.



О, пойте, пейте пряное вино,
Еще полнее наливайте чаши.
Мы молоды, нам праздновать дано,
Так выпьем нынче за удачи наши.

«Сюда, Нино, вино
И тари и Тамари.
Хорошее вино
И толумбаш в ударе.
Веселый толумбаш,
Нам послужи примером.
Пей крепкое вино,
Не уступай имерам».

Мы молоды, и ты еще не стар.
И с колыбели нас, неискушенных,
Обворожил твой несказанный дар, —
Нас, в музыку поэзии влюбленных.

Ты поднимался с нашим веком в рост
И магию нашел в обычном слове.
Поэт-олень, ты снял покров со звезд...
Ну как не выпить за твое здоровье!

Когда зажглась любовь в твоей крови
И закружила душу круговертью,
Ты словно ранил нас ножом любви,
Себе и нам завоевав бессмертье.

Не для никчемных песен торжество,
О Ярали, а ты дружил с мечтою.
И только пламя сердца твоего
Для нас затеплит солнце золотое.

8 августа 1928
Тбилиси

Перевод К. Арсеновой

СЕЛЬСКАЯ НОЧЬ

Дворняжки малые «тяв-тяв» на месяц в небе,
А он к земле — и шмыг от них в овражек.



Мешая в шапке звезды, точно жребы,
Забрасывает ими ночь дворняжек.

Дворняжки малые «тяв-тяв» на новолунье,
А я не сплю, не спится, как ни силюсь.
Что-то другое б сцапали брехуни, —
Унесть в зубах покой мой умудрились.

Все ближе день, все ниже, ниже месяца.
Все больше гор, все явственней их клинья.
Все видимей за линией предместьиц
Тифлис с горы, открывшийся в низине.

О, город мой, я тайн твоих угадчик
И сторож твой, и утром, как меньшая
Из твякующих по ночам собачек,
Стихами с гор покой твой оглашаю.

Из Окрокан блюду твои ворота.
А ведь стеречь тебя такое счастье,
Что сердце рвется песнью полноротой,
Как лай восторга из собачьей пасти.

Ноябрь 1928
Окроканы

Перевод Б. Пастернака

РОАЛЬД АМУНДСЕН

Поэма

— Проснись, —
Человеческой совести сонной
Твержу я, —
Пусть носит Амундсена имя
Звезда эта,
Первенец утренней сини
У солнца во лбу,
На краю небосклона.
Декабрьская пятница.
Колокола
Трезвон погребальный

Разносят по свету.
От горя сжимается
Сердце планеты —
Так было
Четырнадцатого числа.
Одних опечалит
Торжественный звон
Лишь на две минуты,
Но станет кому-то
Смерть эта
Утратой до смертной минуты.
Отныне
Я заново горем рожден.
Себе говорю я:
— Нельзя, чтоб умолк
Твой голос
И скорбное сердцебиенье.
Не сдерживай речи:
Спасти от забвенья
Отвагу — не право поэта,
А долг.
Коснись славословием
Слуха людского,
Дай волю словам,
Но достаточно двух:
Лишь имя
Роальда Амундсена
Вслух
Произнесено —
И поэма готова.
Всю жизнь,
Сколько помню себя, это имя
Прекрасное
Было моим наважденьем.
Прислушайтесь к памяти
Со снисхожденьем,
К рассказу,
Рожденному днями былыми.
Ребенком с Риони,
Глаза закрывая
И делая вид,
Что не слышу, как мать

Зовет меня в дом,
Я часами мог ждать
Саней золотых
Из заветного края.
Обычное судно
Вблизи берегов
Казалось триремой
В бушующей пене.
О, как я хотел
Превратиться в оленя
И мчаться стрелой
Среди вечных снегов.
Не спится,
И вертишься ночь напролет
В горячей постели,
Дыша еле-еле.
Мой стих оттого только
Стих в самом деле,
Что в памяти этой
Начало берет.
Теперь, хоть я сам
Обзавелся семьей,
Ребенком себя
Ощущаю спросонок.
Так конь без поводьев
Находит проселок,
По памяти зная
Дорогу домой.
Закрою глаза —
Проплывают опять
Олени и сани
Пред мысленным взором.
Но сколько сиротства
Есть в детстве, в котором
Могилы Амундсена
Не отыскать!
Взывай
К человеческой совести сонной,
Чтоб дали
Роальда Амундсена имя
Звезде этой —
Первенцу утренней сини,

У солнца во лбу,
На краю небосклона.

Я рос и я вырос,
Но топи Риони
Душе, как и в детские годы,
Сродни.
Волнуя меня,
Как и в прежние дни,
Оркестр лягушачий
Играет в затоне.
Здесь Тютчева
Демоны глухонемые
Зловещий ведут
Меж собой разговор.
Пленяет меня
Этот гул до сих пор,
Как слова грузинского
Звуки родные.
Пусть нынче
Подобная грусть не нужна,
Но разве могу я
Расстаться с мечтами?
Скажите,
Какими такими сетями
Свои корабли
Подыму я со дна?
А сколько мучений,
Терзаний и слез,
Бессонных ночей —
Напролет, до рассвета!
Пусть станут уделом
Другого поэта
Слова, что при жизни
Я не произнес:
«На полюс!
На полюс!
Вперед, смельчаки,
Чтоб новые тайны
Внезапно открылись!»

А мне
Корабли затонувшие снились,
Мерещились
Парусники, ледники.
Мерещился полюс
В далекой дали.
Он был моей тайной,
Схороненной в льдинах,
Моей Атлантидой
В огромных руинах,
Он был перерезанным
Горлом земли.
Припомнит мой каждый
Бессонный ночлег —
Бездонная пропасть,
Мечты обитанье, —
Того,
Кому сердце свое мирозданье
Открыло, —
Такой это был человек.
Бок о бок на поиски
Оси земной
Мы вышли.
Амундсен взял первенство сходу
И шел,
Уподобив несчастному Скотту,
Меня самого
И идущих со мной.
Мечте этой,
Ревности детской моей
Я верен
И не посрамлю этой чести.
Мы вместе искали,
Мы умерли вместе —
Бок о бок в торосах
Ледовых морей.
Внемли, —
Человеческой совести сонной
Твержу я, —
Пусть носит Амундсена имя
Звезда эта —
Первенец утренней сини,

У солнца во лбу,
На краю небосклона.

Нет больше Амундсена.
Из-за кого,
Какого-то Нобиле
В черной рубахе,
Погиб человек
И, не знавший о страхе,
Пал викингов отпрыск,
Прямое родство!
Весть скорбная
Землю от края до края
Стремглав облетит,
Чтоб услышал любой.
И Дидерихс в смертный свой час
И Гильбо
Скорбели о нем,
О себе забывая.
И скорбному плачу
Всемирному в лад
Над Оперным театром Тбилисским
Наклонно
Осовиахима
Повисли знамена —
И вот Самойлович
Читает доклад.
Звучат ли сейчас Самойловича или
Чухновского речи —
Тоски не унять.
Я «Пьяный корабль»
Вспоминаю опять,
Который сказал по-грузински
Яшвили:
«Не страшно ли —
Сбившийся напрочь с пути
Скелет корабельный
Несется к утесам?
Корабль, не подвластный
Ганзейским матросам,
Его мониторам —

И тем не спасти.
И вместо волны
Европейского моря
Холодная топь,
Где бумажный фрегат,
Как бабочку,
Мальчик пустил наугад
И на воду смотрит
В предчувствии горя».

Герой,
Покоритель полярных широт,
Чухновский,
Из камня он высечен, что ли?
Живых мертвецов
Из ледовой неволи
Он спас
И прославил советский народ.
Живых он,
Живых, а не мертвых искал.
Не надо Чухновскому
Трупа Мальмгрена
И славы стервятника,
Он не гиена,
Не ровня другим,
Не полярный шакал.
Вплотную
Голодная смерть подходила.
Но с белым медведем
Средь гибельных льдин
Чухновский сразился
Один на один
И всех накормил
Шашлыком Автандила.

Театр,
Не выдавший еще никогда
Таких представлений,
Сегодня прекрасен.

Здесь слышно,
Как дышат «Малыгин» и «Красин» —
Дыханье сквозь стены
Доходит сюда.
Чухновского, Бабушкина
Расспросите —
Врагов нашей Родины
Этот поход
Лишает покоя,
Уснуть не дает,
Пугает
Ледовой лавиной событий.
События эти —
Одна из причин,
Дающих Литвинову
Полное право
Отстаивать мир.
Про геройство и славу
Все знают.
Не знает Амундсен один.

Когда бы я
Гахою был Циклаури,
Который, как крышу,
Казбек утоптал,
Узнав о несчастьи,
Я плакать бы стал.
Мы все
Циклаури сродни по натуре.
Мечтатели мы.
Вот и Гахе поют
Прощальную, зауспокойную.
Верьте,
Когда бы он мог
Выбирать место смерти,
Казбек бы он выбрал
Как вечный приют.
Отсюда
И Гудамакари отроги,
И Гаха несчастный
Предстанут очам,

Носилки,
И мохевцев
Водочный чан,
И выпитые
Поминальные роги.
И память Казбек
Сохранит навсегда
О доблестном Гахе —
О волчьем колене.
Амундсен,
Я знаю о том,
Вне сравнений,
Но Гаха останется
В памяти льда.
И надвое
Я расколю ледяной
Подсвечник —
Мои отвердевшие слезы.
Схоронят Амундсена
Льды и морозы, —
И встанут все мохевцы —
Шапки долой!
Наш долг
К человеческой совести сонной
Воззвать,
Чтобы дали Амундсена имя
Звезде этой —
Первенцу утренней сини,
У солнца во лбу,
На краю небосклона!
Декабрь 1928
Перевод С. Гандлевского

ОКРОКАНЫ

Если впрямь ты поэт, а не рохля,
Будь как день в окроканской глуши.
Пусть и руки б, чесавшись, отсохли,
Воздержись и стихов не пиши.

Кто взошедшее солнце, как бомбу,
На рассвете огнем набивал?



Что ты скажешь похожего, в чем бы
Не сказался болтун-самохвал?

Если можешь, чтоб грудь не издрогла,
Стереги Марабды голыши.
Висни в небе, как крепость Кёр-Оглы.
Стой века и стихов не пиши.

Чуть толкнуть — ты не тверже тростинки,
А она — точно грома раскат, —
Оттатакала все поединки
И стоит — как столетья назад!

Если ты не хвастун, если трижды
Наши дни средь веков хороши,
Жди поры настоящей и выжди.
Но, как все, второпях не пиши.

И тогда, если все ж ты не шляпа,
Покажи себя впрямь молодцом
И такое украдкой состряпай,
Как вчера соловей из Удзо.

Если мужества в книгах не будет,
Если искренность слез не зажжет, —
Всех на свете потомство забудет
И мацонщиков нам предпочтет.

Июль 1929
Окроканы

Перевод Б. Пастернака

ОСЕННИЙ ДЕНЬ В ОКРОКАНАХ

Рабле и Калмасоба

В простом стихе вместить мне хочется,
Что до сердца меня пронзает
Листвой лесов, опавшей дочиста,
Осенней ласкою терзанья.

Кто с Окрокан Тифлис не видывал,
Не знает, что же он такое.



Монгол отсель ему завидовал,
Поэт свой взгляд на нем покоил.

Отсюда весь Казбек в сиянии,
И облака от стад отстали.
Во мне бушует лед нечаянный,
Снега на плечи мне упали.

Заходит в комнату лохматая
Соседская собака Цузрия,
Пятью щенятами богатая,
И худоремая, и хмурая.

Орех последний на орешнике
Сорока ищет развеселая.
Мечтает кляча неутешная,
Чтоб сеном стали скалы голые.

Спускаются стада с Манглиса,
Дорогу полнит их стенание,
И запах лаваша стремится
К хлебам работы Пиросмани.

На школьном двореке ребята,
Бой барабана заглушенный,
А небо, ясностью богатое,
Ясней их глаз неискушенных.

Курсанты после дней маневренных,
С лицом, железным от загара,
То песни гул несут уверенной,
То Чан Кай-ши бранят недаром.

Опять засяду за Рабле я,
Пантагрюэлем в Окроканах.
Когда ж от ветра ошалю,
С Рабле грузинским — Иоанном —

Я встречусь — ста лет не бывало,
Проснулся путник, как родился,
Каликой переходим стал он —
Лежат дороги впереди все.

Но кто сказал: хлеб горек в Грузии?
На правду это не похоже.
И вот без посоха, без груза я
Один пройду весь край, что ожил.

4 октября 1929

Окроканы

Перевод Н. Тихонова

Из цикла «ВСЕМ СЕРДЦЕМ»

* * *

Это меня удивляет — стих
У новых поэтов беден.
Если сказать по совести, их
Словесный ковер так бледен.

Вглядываюсь тревожно в стих...
Вот моей мысли основа:
Безграничны возможности
Мускулистого слова.

Когда у поэта почва тоща,
Он ругает другого жестоко
И, жаждущий, ждет —
Не дождетя дождя,
Лирического потока.

А вся вина его, мне поверь, —
Про то говорю открыто, —
Он ищет героя времени,
Но смотрит вокруг сердито.
Проходит придиричиво стороной...

Сетями отживших традиций
Поэты опутаны, стариной.
Боязно им обратиться
К воспеванию словом
Жизни в цветении новом.

Перевод Л. Озерова





Друзья, старинный облысел Парнас.
Сегодня тысячи таких нагорий.
Когда про наше время да про нас
Не будешь петь —
Тогда — себе на горе —
Ты душу живу высушишь до дна,
Иссякнут родники, как будто сами
Твои глаза наполнятся слезами...

Кому, скажи, печаль твоя нужна,
Рыданья, зазвучавшие стихами?
Стих — это клич.
Он рубит наповал.
Как верно Чавчавадзе написал:
«Что пользы плакать над давно забытым,
Жестокой дланью времени убитым?
Что проку над былой грустить бедою?
Пора идти нам за иной звездой.
Пора глядеть нам в будущие годы,
Ковать судьбу грузинского народа».
И Голиаф всех силою потряс...

Мы сами брали будущность
Для нас.

Итак, за нами, братья, наша песня.
Прошли те времена, когда народ
Ценил сладчайший щебет в поднебесье, —
Теперь колес он ценит цепкий ход.
Каналами соединились реки.
Сегодня на примете каждый миг.
Все старые свои грехи, огрехи
Оставь, скорей освободись от них!
Себя ты уважать заставишь сам —
Народ не верит сладким словесам...

Пусть будет стыдно тем, кто бестолково
Высушивал свой стих из года в год,
Кто пожалел бы истинное слово
Для наших братьев,
Верно и сурово



Сложивших головы за свой народ.
Позор поэту, если он в испуге
Пойдет, изменника увидев, вспять
И не сумеет песню спеть о друге,
И кровь и пот народа в песню взять.

Перевод Л. Озерова

Тапараванское сказанье

«Парню одному с Тапаравани
Нравилась аспиндзская девица.
Вот зажгла свечу она в тумане,
Чтоб ему во тьме не заблудиться.

Плыл он к ней бушующей рекою,
И душа у парня ликовала.
Нес он жернов левою рукою,
Правой греб, покуда сил хватало.

А свеча во мраке пламенела,
И у парня прибывала сила.
Но одна колдунья то и дело
Ту свечу у девушки гасила.

И погиб тот юноша несчастный,
Потонул, ушел из этой жизни,
И стервятник труп его безгласный
Рвал потом, как водится, на тризне...»

Эту я историю когда-то
Услыхал у вод Тапаравани.
Но не сгинул парень без возврата,
Как об этом говорили ране!

Возвратила нам его судьбина!
Вот плывет он снова, черноокий:
На одном плече его турбина.
На другом — железный бык высокий.

И восходит свет его гигантский,
И отныне нет ему запрета,

И ведь парень тот тапараванский —
Грузия, воскресшая для света!

Перевод Н. Заболоцкого

1929

ТАМУНЕ ЦЕРЕТЕЛИ

В той памяти весна черна, как ночь.
Хоронят заживо истерзанную музу.
Как тень за катафалком, проволочь
Меня хотят по каменному брусу...

Видениям я верю, как Рембо.
И, отрыдав над девой неповинной,
Встаю перед враждебной судьбой,
Как перед медлящей лавиной...

«Иди-смотри». О, нет, я ученик
Иного опыта, иного зренья.
Едва лепечет о заре тростник —
Совсем как я в минуту озаренья.

И там, где спорит с берегом река,
Где вешнее растение коренится,
Мне вырежут свирель из тростника,
Проросшего сквозь темные глазницы.

«Иди-смотри». Придут, недолго ждать.
...Сквозь адов жар, мой пламень одинокий...
Прости, я не успел тебе сказать
Всего, что мне сказал Рембо безногий.

1929

Перевод В. Леоновича

В АРМЕНИИ

Камни говорят

Будто ожил древний миф.
И циклопы скалы рушат,

Разметав их, разгромив,
Все ущелье страхом душат.

Большевицкая кирка
Бьется в каменные лавы,
Труд, что проклят был века,
Превратился в дело славы.

Города, что твой Багдад,
Не халифам ныне строят,
Человек свободный рад
Сбросить бремя вековое.

Если друг ты — с нами ты,
Если враг — уйди с дороги.
Для исчадья темноты
Суд готов народа строгий.

Серп и молот на гербе, —
То не зря изображенье,
То с природою в борьбе
Мира нового рожденье.

Точно скалы поднялись,
И, как волны, камни встали.
Слава тем, кто эту высь
И стихию обуздали.

Сам с походом этим рос,
За него болел я сердцем,
И взамен ширазских роз
Стал я камня песнопевцем.

Я сложил на этих склонах
Песнь камней освобожденных!

Перевод Н. Тихонова

Лазурь в лазури

Растворив лазурь в лазури,
Стал Севан небес синее...



Горы — в самоистязанье,
Горы — в день Шахсей-Вахсея.

Войско туч покрыло доли,
Тишина вокруг коварна.
Встали горы-минареты
На защиту Аль-Корана.

Пусть обвалы и лавины,
Пусть потоп во тьме кромешней,
Светит клинопись поэмы
Во спасенье Гильгамеша.

Перевод А. Ахундовой

И автодор большой пустыни...

Скала лишилась плоти, кожи,
Нагой костяк — и тот трясется.
Так пал Ленинанкан, таков же
Удел великого Звартноца,
Так загорелся Зангезур.

Но разве этим катаклизмам,
Лавинам и землетрясениям
Соревноваться с большевизмом,
Сравниться с летоисчисленьем
По имени социализм!

Себя, как зяблика, жалею.
Но чем и как себя утешу,
Раз суждено в долине этой
Пасть Библии и «Гильгамешу».

Как будто дэвы — из ущелья
Утес убрали за утесом.
Ворота рая на запоре —
Я над зеленым Алагезом.

Я верю: здесь, у араратских
Вершин, подобных белым копнам,

Бессмертные слова звучали
В начальном мире допотопном.

Второй потоп воочью вижу,
Второй ковчег, отплыть готовый,
Но разве отжил я? — Неправда.
Я подпеваю песне новой.

Вдруг был среди голубей ковчега
И старый голубь одичалый?
Скорее песню, чтоб Седаном
Для нас поэзия не стала.

Пусть Библией и «Гильгамешем»
Отныне будут наши стройки. —
Ты, брат, опять с дороги сбился, —
Мне замечает критик строгий.

Да, мне известно, что дашнаки
Несли народу разоренье,
Но с клинописью ассирийской
Еще не разлучилось зренье.

У Армаиса Ерзикяна
Осанка Асур-Банипала.
Я понял это на Севане,
Вблизи разглядывая скалы.

Чужой народ. Но, как ни странно,
Он стал родным для иноземца.
Мне любы живопись Сарьяна,
«Эпический рассвет» Чаренца,
Поэзия Исаакяна
Мне внятна, как родная речь.

И автодор большой пустыни
Смог породниться с Араратом.
Ревет и Занга, что отныне
Поэт поэту будет братом.

Перевод С. Гандлевского



Сбылась мечта поэтов

Ованесу Туманяну

Хоть вовсе о прошлом не думал ты тут,
Оно оживет на мгновение,
И вот из ущелья, ты видишь, идут
Навстречу могучие тени.

Я вижу твою седину, Ованес,
Ожившими в вечер румяный
Биенье бездонного сердца и блеск
Улыбки в волненьи Севана.

Исчез, как мечтали, раздор вековой,
Брат брата не губит войною,
И тот, кто вчера был пастух кочевой, —
Сегодня он правит странюю.

Народы Кавказа в единстве живут,
Поют они песни иначе,
В стране нашей мирный господствует труд,
Ануш твоя больше не плачет.

Пришли мы как братья, и каждый мечтал
Сказать про единство поэтов
Тебе, кто впервые об этом писал, —
И песню продолжить про это.

Ты сладость дорийского меда впитал
В свое неповторное слово,
И тот, кто, прозрев от тебя, не признал
Тебя, пусть ослепнет он снова.

Ты знаменем дружбы, сказать без прикрас,
Быть должен под родины небом,
Ты ожил сегодня вторично для нас,
Хоть мертвым для нас ты и не был.

И ржавчине времени не переесть
Цепь дружбы сердечной и новой,



Незримый хозяин в Армении, здесь
Прими наше братское слово.

Перевод Н. Тихонова

Здравица

Здесь когда-то Григол Орбелиани
Начал здравицу давних дней,
Или «Пир возле стен Еревана»,
После битвы победной своей.

«Там, где битва гремела, бушуя,
Тихий сумрак вечерний лежит,
У костров бивуачных, пируя,
Победившее войско сидит».

Ереванская крепость упала,
И турецкий сардар убежал,
Долго пламя войны полыхало,
Над руиною черной дрожа.

И лежали под каменной кручей
Трупы беженцев, втоптаных в грязь,
Ливни мыли их, щебнем колючим
Ветер их засыпал, торопясь.

И в Аракса неистовом шуме
Вопль сиротский к Араксу приник,
И отец проклинал, обезумев,
День рожденья детей-горемык.

В горных дебрях зима их кончала,
Враг в долине приканчивал их,
Волчья стая по следу рычала
И бросалась на еле живых.

Стала яма в ущелье знакомом,
Словно зверю нора, дорога,
Человек называл ее домом,
От ужасного прячась врага.

Разоритель крестьянского мира,
Поджигатель и деспот большой,



Назывался он Карабекиром,
За жестокость был прозван «пашой».

Но не только здесь турки сжигали,
И не надо искать за горой,
И свои здесь своих убивали,
Брату брат рыл могилу порой.

Чтобы крови поток этот лился,
Верно, кто-то на небе решил,
Вот тогда человек и явился,
Человек этот Лениным был.

Нынче курд с армянином не в ссоре,
Тюрк в грузинах не видит врагов,
О вражде, как о прошлом позоре,
Пионер рассказать вам готов.

Пионерская дробь барабана,
Слышен в поле пастуший рожок.
Сон веков над грозой Еревана
Над Иракли-тапа глубок.

Нет, мы Карса, как предки, не брали.
Новым людям дан новый удел,
Но зачтутся им в будущих даях
Героических тысячи дел.

Вот оно, столкновение классов,
Поколение вступает в борьбу,
Мы с ним вместе, и сборище масок
Темных происков будет в гробу.

Вот то место, где сам Орбелиани
Свою здравицу написал,
Или «Пир возле стен Еревана»,
Где он с войском своим пировал.

И вблизи Еревана мы тоже,
Сад Сардарский нам пир украшал,
В новой здравице сад этот ожил,
Но новее всех здравиц — ваша!

Мы поэты Кавказа! Не книзу —
Путь наш в гору и только вперед,
Где фундамент социализма
Так уверенно строит народ.

Кто видал разоренные страны,
Где в ущельях из трупов редут,
Превращенные в хаос поляны
И долины, где царствовал труд?

Это кладбище — крик без ответа,
Сотни верст, где пустыне лежать.
Да, друзья, это долг наш — об этом
Поколениям о всем рассказать.

Здесь не здравицы гордое слово,
Тут и слезы и дрожь! А потом —
Кто светлей нас, нежней и суровой,
Лучше нас скажет миру о том!

Пусть и голос свирели чудесной
Для народа звучит до конца,
А за нами, товарищи, песня,
Что надежду вселяет в сердца!

Перевод Н. Тихонова

Поездка в Агзевань

И не так уж далеко от Агзевани!
Оказался здесь впервые, как ни странно!
Нет у нас, грузин (невольное признание),
Любопытства открывать чужие страны.

Но в печально-голубином воркованье
Тихой песенки аробщика-грузина
Голосов золотиносных залеганье
Мне открыли эти скалы-исполины.

«В Агзевань поехать, что ли!
Привезу хрустальной соли.
Мать сначала обниму,
После сына и жену».



А от песни небеса поголубли.
Сердце — радостью, как радугой, прошли...
Словно песню не один, не двое пели,
Сразу тысяча Вано Сараджишвили.

Оттого, что в песне соль была — хрустальной,
И слезинка тихой радости — утешной,
И жена была красивой и желанной,
Переполнилась душа водою вешней.

Где владенья моурави-исполина,
Простирающиеся до Вавилона?
Пели тысячи свирелей в лад единый,
И заря зарю смещала с небосклона.

В Агзевань бы! Для поэзии! Ну что же!
И в ярме бы я поднялся буйволином!
Ну, скажите, разве есть такая ноша,
Чтобы нам — да оказалась не по силам?!

Перевод А. Ахундовой

Май-июнь 1931

* * *

Во веки веков не отнимут свободы
У горных вершин и стремительных рек,
Свободны Арагвы и Терека воды,
Свободен Дарьял и могучий Казбек.

И облако в небе не знает границы,
В горах о свободе не грезят орлы,
Туман без приказа в ущельях клубится,
И молния бьет без приказа из мглы.

Но помнит народ, по какому приказу
Ковалось железо для первых оков,
Но ныне слагает он песни и сказы
О тех, кто сорвал их с последних рабов.

В тех песнях поется, как грозная буря
Смела эриставства и княжеский гнет.



Про иго Шиолы Гудушаури
Все помнит народ мой и песни поет.

«Шиола, Шиола, ты долгие годы
Сидел в эриставстве на троне своем.
За землю Ачхоти, за слезы народа
Утробу твою мы землю набьем...»

В руках, от цепей и борьбы онемелых,
Нелегкое счастье родимой земли.
Мы помним Мтрехели и тысячи смелых,
Что ныне герою на смену пришли.

Свобода искрилась на высях снегами
И буйно бурлила бурунами рек,
Теперь она всюду, теперь она с нами,
И запросто с нею живет человек.

Пускай же свобода былым эристам
За горе поруганной ими земли
Вернет им с избытком весь долг их кровавый.
Накормит землей и растопчет в пыли.

*Август 1932
Новый Афон*

Перевод Л. Мальцева

СТИХИ О МУХРАНСКОЙ ДОЛИНЕ

В Мухрани трава зеленой изумруда
И ласточки в гнезда вернулись свои.
Форели прорвали решетки запруды.
В обеих Арагвах смешались струи.

И воздух в горах оглашают обвалы,
И дали теряются в снежной пыли,
И Терека было б на слезы мне мало,
Когда б от восторга они потекли.

Я — Гурамишвили, из сакли грузинской
Лезгинами в юности схваченный в плен.
Всю жизнь вспоминал я свой край материнский,
Нигде ничего не нашел я взамен.

К чему мне бумага, чернила и перья?
Само несравненное зрелище гор —
Предчувствие слова, поэмы преддверье,
Создателя письменный лучший прибор.

Напали, ножом полоснули по горлу
В горах, на скрещенье судеб и стихов,
А там, где скала как бы руку простерла,
Мерани пронесся в мельканьи подков.

И там же и так же, как спущенный кречет,
Летит над Мухранской долиной мой стих.
И небо предтеч моих увековечит
И землю предшественников моих.

*Август 1932
Новый Афон*

Перевод Б. Пастернака

ЗА ЛАВИНОЙ — ЛАВИНА

Гром, в вершину скалы громовой ударяя,
Оголяет скалу, и сверкает скала,
Что сама — как гроза и сама — как седая
Борода Шамиля, неприкрыто бела.

Есть ли где на земле человек, чтобы просто
Перед этим бессмертьем сумел устоять?
Я единственный среди живущих апостол —
В час геройства, ушедшего вспять.

Я — как тетерев, хищником схваченный хмуρο, —
Нет, молиться не пробую и не начну.
Я — кольцо, что сорвали с кольчуги хевсура...
Сам священную я объявляю войну.

Я как бурею сбита бурка лезгина,
Все суставы свои перебить не успел.
Но отважный, осмелившись, станет лавиной, —
Так и вы мне ссудите отвагу в удел.

Для чего на чернила нам тратить озера,
А тончайший хрусталь — на простое перо,

Если в гневе сердца согреваются скоро,
Если дрожь по суставам проходит порой.

За лавиной лавина, обвал за обвалом,
И скала на скалу — ни дорог, ни пути.
Небеса надо мною склонились устало,
Так что даже не жаль мне из жизни уйти.

Август 1932

Новый Афон

Перевод Л. Озерова

* * *

Поэты, безутешно плача, пели,
Но безнадежно лет тянулась лента,
О том твердит всем школьникам доселе
И. Чавчавадзе с сумкою студента.

Тут и оплакивал Бараташвили
Печаль свою и мира неотступно,
И Софью, мудрую супругу Леонидзе,
Что более, чем канцлер, неприступна.

Досель видны на Тереке, в Дарьяле
Следы от шпор Григола Орбелиани,
Все та ж река и грохот, как вначале,
И плач такой, как вечности заданье.

Важа Пшавела чудится мне ночью,
Вот черный конь, Арагвы плески злые,
Он помогать поэтам хочет
И мечет в реку глыбы стиховые.

И на Казбек опасно восхождение,
И не всегда Ягор — наш друг — надежен.
Кто ледников освоил громожденье?
Здесь время гроб Сандро Казбеги гложет.

Форелями разорваны ловушки,
И ласточки по гнездам упорхнули,
Трава Мухрань пленительную душит,
И две Арагвы повстречались в гуле.



Так в сквозняке и в вихре ледниковом
Горам казалось средь ущелий-братьев:
Хоть Терек вдвое вод наполнись громом —
Для слез воды вовеки в нем не хватит.

1932

Перевод Н. Тихонова

* * *

Лежу в Орпири, мальчиком, в жару,
Мать заговор мурлычет у кровати
И, если я спасусь и не умру,
Сулит награды бесам лихорадки.

Я — зависть всех детей. Кругом возня.
Мать причитает, не сдаются духи.
С утра соседки наши и родня
Несут подарки кори и краснухе.

Им тащат, заклинанья говоря,
Черешни, вишни, яблоки и сласти.
Витыми палочками имбиря
Меня хотят избавить от напасти.

Замотана платками голова,
Я плаваю под ливнем роз и лилий;
Что это — одеяла кружева
Иль ангела спустившегося крылья?

Болотный ветер, разносящий хворь,
В кипеньи персиков теряет силу.
Обильной жертвой ублажают корь
За то, что та меня не умервила.

Вонжу, не медля мига, в сердце нож,
Чтобы напев услышать тот же самый,
И сызнава меня охватит дрожь
При тихом, нежном причитаньи мамы.

Не торопи, читатель, погоди —
В те дни, как сердцу моему придется



От боли сжаться у меня в груди,
Оно само стихами отзовется.

Пустое нетерпенье не предлог,
Чтоб мучить слух словами неживыми,
Как мучит матку без толку телок,
Ей стискивая высохшее вымя.

Май 1933
Кутаиси

Перевод Б. Пастернака

КАРТЛИС ЦХОВРЕБА

(Вступление к поэме)

Говорят, что раз в сто лет колышет
Небо языки такого пламени.
То не старец-летописец пишет —
То моя бессонница сожгла меня.

С каждым, кто назвал себя поэтом,
Только раз такое приключается.
Черноморье спит. Под легким ветром
Зыбь трепещет, парусник качается.

Пароход «Ильич» причалил к Сочи,
Словно Арго, воскрешенный заново.
В золотом колодце южной ночи
Дивный след преданья перевозданного.

И сладка мне, так сладка навеки,
Как ребенку ласка материнская,
Соль морская, режущая веки,
Ширь твоя, прародина эвксинская!

Родина! К твоей ли колыбели
Прикасаюсь, за былым ли следую, —
Человек я или Кахабери,
Сросшийся корнями с почвой этою?

Кем бы ни был, но, мечте покорный,
Напишу поэму бедствий родины.

Что мне жизнь? Пускай лавиной горной
Сметены пути, что раньше пройдены!

Словно речь Овидия Назона
О себе самом или о римлянах,
Речь моя — пускай в ней мало звона —
О путях забытых и задымленных.

Часто их меняли. Так меняют
Лед на лбу страдальца госпитального.
Правнуки и ныне поминают
Пропасти у перевала дальнего.

В пламени небесные ворота.
Брошен якорь у высокой пристани,
Мне приснился белый сон народа —
Снег Эльбруса, еле видный издали.

1933

Перевод П. Антокольского

АКАКИЮ ВАСАДЗЕ

Экспромт на исполнение роли Франца

Боги удачи тебя не боятся —
Был ты прекрасен сегодня на сцене —
Страстный, как резкие струны паяца,
Страшный, как масок дрожащие тени.
Франц ты? Актер? Или нечто иное?
Вот и пишу в раздвоении жутком,
Чтобы понять — что ты сделал со мною,
Иль не понять — и лишиться рассудка.

1933

Перевод Ю. Михайлика

НАДПИСЬ НА КУБКЕ

«In vino veritas!»
Пословица верна.
Кто лжет, что Тициан
Не признает вина?

Смерть не страшна, лишь раз
Всего-то умереть.
Всех поджидает нас,
Без исключенья, смерть.

Ах, от любви сто раз
Я умирал, так что ж?
В сердце моем застрял
По рукоятку — нож.

Все-таки я узнал,
Что «истина — в вине».
Я, Тициан, в остальном
Неразумен вполне.

29 ноября 1934

Перевод А. Кушнера

РОДИНА

Горы и доли твои ненаглядные
Издавна слыли подобием рая.
Взглянешь — пылают сады виноградные.
Взглянешь — и глаз не достигнет до края.
Ночь — молоко голубое оленью.
День позолочен кизиловой ягодой.
Где-то черкешенки жнут в отдаленье.
Сладко тучнеют могучие пахоты.

Азбуке нашей, плодам нашей родины
Много похвал на пергаменте ветхом.
Так, славословя и радуясь, бродим мы
С лаской по всем твоим листьям и веткам.
Там, где туман на гомборской дороге,
Где остролистник и куст можжевельный,
В каждой тычинке цветка, в недотроге,
Капля слезы еще блещет Пшавеловой.

Нет крутизны, не отыщется выступа,
Пяди такой, чтоб сверкнула впервые.
Всюду каналы прорыты неистово,
Подняты все целины яровые.

Нет человека, чтоб не был в работе,
В битве, и в стройке, и в музыке огненной.
Озеро Палеостомы у Поты
С древних трясин окончательно прогнано.

Все летописцы когда-то лукавили —
И Гиппократ, и царевич Вахушти.
Как бы они это время прославили!
Повесть такую могли бы подслушать?
Топи Риона, где слухи глухие
Некогда шли о Колхиде загадочной,
Ныне лежат перед нами сухие.
Изгнан оттуда озноб лихорадочный.

Ставят плотины, чтоб цитрусам вырасти,
Чтобы дышали сады в апельсинах.
Квохчут насадки, не чувствуя сырости.
Плавится небо в промоинах синих.
Здравствуйте, други-соседи! Не счесть их —
Первенцев в Грузии новой,
Верных в работе и преданных чести,
Даже не знающих чувства иного.

Глянь на Эльбрус, запрокинувши голову,
К пику Мкинвари лицом обернись ты —
В тучи, не зная подъема тяжелого,
Цепко врубаясь, идут альпинисты.
В каждом дыханье, что вьется, бушуя,
Цепкой и гибкой лозою родимую,
Ленина душу узнаешь большую,
Волю народную, неколебимую.

Родина! Лес Чиаури задебренный.
Воды Энгури, ширакские дали.
Сердце Кахетии — в неге серебряной,
В розовых купях совхоз Цинандали!
Эхо за Ушбой и за Ушгулом,
Синь ледников над могучими сванами
Песне моей откликаются гулом,
Вышли к столу домочадцами зваными.

Сорок мне стукнуло. Если пригнать еще
Новых мучительных сорок на старость —

Не остановит поэта и кладбище —
Молодость той же безусой осталась.
Родины участь — как матери участь,
Заново к сердцу пришла, позвала меня.
И без кремня, не стараясь, не мучась,
Сердце охвачено песней, как пламенем.

Помнишь ли старую повесть, краса моя?
Будь она вдвое древнее Кавказа, —
Слушай же! Я расскажу тебе самую
Черную из незапамятных сказок.
Двое детей твоих брошены в бурю,
К мачте канатами крепко прикручены
И бороною пророка, в Стамбуле,
Клятвой турецкою клясться приучены.

Много дорог с мамелюками пройдено,
Долго тянул янычар свою песню.
Все-таки, все-таки снится им родина,
Где же на карте она? Неизвестно.
Тщетно кривой ятаган был наточен,
Тщетно храпели арабские кони: им,
Проданным в рабство, голодным и тощим,
Нет избавленья в притоне драконьем.

Если же мы позабыли их, ты-то ведь
Помнишь и слезы, и кровь, и невзгоды!
Станешь ли, родина, вновь перечитывать
В книге гаданий о днях непогоды?
Разве мы раньше работали мирно —
Правды, труда и свободы сторонники?
Вырви хоть день из неволи всемирной.
Перелистай наши древние хроники.

Был Вавилон, воевали халдеяне.
Дальше не ясен твой путь и не светел.
Миропомазанных ждало рассеянье.
Прах твой развеял скитальческий ветер.
Землю меняли. В больничной палате
Так же меняют подушки горячечным.
Если не в саване смертном, а в платье
Ты подвенечном, о чем же ты плачешь нам?



Сорок мне стукнуло. Если пригнать еще
Новых мучительных сорок на старость —
Не остановит поэта и кладбище —
Молодость той же безусой осталась.
Сорок мне стукнуло. Только бы выстоять
Сорок еще с ремеслом стихотворца.
Лишь бы страну освещало лучистое
Счастье и слава ее ратоборцев.

Эти слова неожиданно выпелись.
Песня не ждет оседания мути,
Чтобы, как оползень горный, осыпались
Чувства, огромные в первой минуте.
В день Конституции мною воспета
Слава ударников — знамя огня.
Я не играю в большого поэта,
Школьник-отличник сильнее меня.

День разукрашен кизилowym золотом.
Ночь — молоко голубое олень.
Чувство, когда оно сильно и молодо,
Перерождает сердца поколенья.
Смеешь ли ты, свою песнь обрывая,
Спрятать за пазуху и не запеть ее,
Если орава гремит хоровая —
«Лилео» в горных отгулах Сванетии.

Не вспоминаю о сказочных женщинах,
О Кетеване, Медее и Нине,
С песней великих поэтов обвенчанных,
Царственных, мирно почиющих ныне.
Слушай, Рукайя! Мы сделаем сказкой
Новые нас обступившие облики —
Нашу ударницу с красной повязкой,
Парашютистку, летящую в облаке.

Древних монахов, отшельников грамотных,
Двух Теймуразов, Тмогвели, Арчила —
Всех, чье старание с дней незапамятных
Нашу грузинскую речь отточило,
Саба-Сулхана и Гурамишвили
И Руставели семивекового —

Всех я зову, чтобы милость явили
И помогли бы мне песню выковывать.

Верных свидетелей ныне зову я.
Я не стыжусь, что в таком-то году,
Слушая времени речь грозovou,
С бедной волынкой на праздник иду.

6 июля 1935

Перевод П. Антокольского

БАГДАДСКИЕ НЕБЕСА

Владимиру Маяковскому

Я
в долгу
 перед Бродвейской лампионией,
Перед вами,
 багдадские небеса.
Перед Красной Армией,
 перед вишнями Японии —
Перед всем,
 про что
 не успел написать.

(В. Маяковский

«Разговор с фининспектором о поэзии»)

Много не сделано — вижу воочью.
Долг у нас общий, и нужен возврат.
Мне вспоминается днем и ночью
Синее небо твоих Багдад.

В душу нам песня могучая веет,
Буйволу шерсть шевеля на спине.
Кто ее силой вполне овладеет?
Кто ее меру постигнет вполне?

С юности сердце вздымавшая птицей,
Слабый язык превращавшая в меч, —
Этого не достигнут тупицы
Под лампионией в тысячи свеч.

Слово встает над корой ледниковой,
Камнем летит из пращи сквозь века.

Если не выскажешь новое слово,
Дверь оно силой снесет с косяка.

Да, но когда наконец напоследки
С жизнью в упор беседует смерть —
В Токио на вишневые ветки
И на поля, что бегут в Саирме,
Падает ровно большое сиянье,
Холод, и трепет, и содроганье.

Много не сделано — вижу воочью.
Долг у нас общий, и нужен возврат.
Мне вспоминается днем и ночью
Синее небо твоих Багдад.

Вновь захотел напомнить тебе я
Тихих Багдад колыбельную песнь.
Нынче апрель. А апрель умеет
В облаке яблонь душу унести.

Матери ртом и губами младенца
Лопнул бутон над бутонем. Во тьме
Сыплются яблони. Некуда деться.
Слушай — олени кричат в Саирме.

Дубом огромным средь чащи багдадской
Ты бы в апрельское утро возник.
Вновь дилижанса звонков дожидаться
Вышел бы школьником с сумкою книг.

Снова с тобою, над партой склоненным,
Голые ноги я ставлю рядком.
Виселица царя Соломона —
Пятисотлетний платан за окном:

В небо ушел, окунаясь в грозы
Ночью несокрушимым стволом.
Катит Рион обломки утеса.
Мы, словно рыбы, плещемся в нем.

Нас ожидая, от полного сердца
Птицы свистят и крепчает весна.

...Снова доносится новых марсельцев
Песня, как буря, гневна и грозна.

В бешеном свисте нагаек казачьих
Вновь Алиханов рубит сплеча.
...Митинг за митингом! Стачка за стачкой!
Смерть и проклятие палачам!

...Многое, многое вспомнить бы надо.
Радугой стих упадет за леса.
Всё языком трехъярусных радуг
Скажут багдадские небеса.

В Грузии юноши выросли тоже,
Видишь, как смена твоя велика!
В бой они выйдут, не ведая дрожи,
Если к нам сунется войско врага!

Ты нам не должен. И ради Багдады,
Что к грозной лире твоей одну
Накрепко прикрутили когда-то
Поющую по-грузински струну.

...Снова по тихим Багдадам повеет
Петая здесь колыбельная песнь.
Нынче апрель. А апрель умеет
В облаке яблонь душу унести.

Матери грудью и ртом ребенка
Лопнул бутон над бутоном. Во тьме
Сыплются яблони... Слушай, как звонко
Нынче олени кричат в Саирме!

Апрель 1936

Перевод В. Державина

РОЖДЕНИЕ СТИХА

1

С неба на землю огромным мостом
Был перекинут Эльбрус-великан.
Сдвинулись горы с подножий кругом
В час, когда дэва разил Амиран.



Тополь высокий, стройный и резкий,
Дал на примерку ты деве черкесской.
Трудно сарматского князя сыскать,
Бурку его нелегко разорвать.

Небо в кизиле и горы в кизиле,
Пурпуром залит Эвксинский Понт.
Точно гигантский вздымается грифель —
Старый Эльбрус, заслонив горизонт.

Волны бушуют вокруг исполина,
К горлу стихов подступает лавина.
Солнце взойдет и растопит ее.
Что ж ты печалишься, сердце мое?

С неба на землю огромным мостом
Был перекинут Эльбрус-великан.
Сдвинулись горы с подножий кругом
В час, когда дэва разил Амиран.

Сердце поэта — Эльбрус вековой —
Ждет, когда ветер повеет чудесный.
Сели стихи, как голубки, над бездной —
Знак, что окончен потоп мировой.

8 июня 1936

Перевод Н. Заболоцкого

2

Слова ни разу я не обронил
Для сочинения стихотворенья.
Пульс-сочинитель отверст и раним,
Страшно: не выдержу сердцебиенья.

Если не высказал то, что хотел
Выговорить во мгновеньях последних,
Наспех скажу: не повинен я в тех
Таинствах, чей я отгадчик, посредник.

О, дорогие мои, никакой
Силой не вынудить слово и слово,
Сердце и сердце к согласью. Строкой
Стройною стал произвол небосвода.



Вкратце твое — а потом нарасхват
Кровное, скрытное стихотворенье.
Слово — деянье и подвиг. Раскат
Славы — досужее слов говоренье.

Стих — это стих, это он, это огонь,
Вчуже возжегшийся волей своею.
Спетога мной я услышать не мог.
Спето — и станет бессмертной свирелью.

Мнится мне: ночь этот стих соткала.
Бывший ее рукоделием малым,
Он увеличится сам — и тогда
Хлынет и грянет грозой и обвалом.

Прянув с вершин, устрасив высотой
Чести, страдания и состраданья, —
Выстоит слабой свечой восковой,
Светом питающей мглу мирозданья.

10 июля 1936

Перевод Б. Ахмадулиной

ДВЕ АРАГВЫ

Это потоп заливает долины,
Молния в горные блещет вершины.
Ветра стенанье и ливень в горах,
В музыке той просыпается Бах.
Все здесь возможно, и самоубийство —
Здесь не пустое поэта витийство:
В буре он слышит напев колыбельный,
Гибель надежду ему подает.
Этот клинок безысходно-смертельный
Демон под руку Тамаре сует.
Это шатается Мцыри отважный,
Барсовой кровью заляпан, залит.
Траурный ворон на падали страшной
В устье Арагвы, хмелея, сидит.
Две тут Арагвы, две милых сестрицы, —
Белая с Черной, — как день и как ночь,

Вровень идут, чтобы вдруг устремиться
Прямо в Куру и в Куре изнемочь...

9 июля 1936

Тбилиси

Перевод Н. Заболоцкого

ПРАЗДНИК АЛАВЕРДЫ

Нате Вагнадзе

Огромные арбы покрыты ковром.
Здесь буйвол пугается собственной тени.
Кончают бурдюк с кахетинским вином
Герои Важа из нагорных селений.

Нацелившись боком, влюбленный Кавказ
Простер свою длань к алавердской святыне,
Но церковь сияет и смотрит на нас,
Как голубь, привязанный к этой долине.

И вот к Алазани пробрался рассвет,
Недолго он странствовал в море туманном.
«Не гасни, о день мой, сияньем одет,
А если погас, не свети никогда нам!»

На том берегу, приведенная в дол,
Хмельная отара лежит без движенья,
Как будто накрыли для Миндии стол
Кудесники-дэвы на поле сраженья.

И, кончив свой танец, кистин-акробат
Застыл у костра в молчаливом экстазе,
И люди толпятся, и песни шумят
Под звуки шарманки и стон мухамбази.

А что ж не споют нам о белом гусе,
И белый кабан не вспомнят доселе?
И новым Леваном любят все,
И песни его умножают веселье.

Здесь жертвенный бык прикольцован к столбу,
Он вырвал бы дзелкву с ее корневищем,



А ныне он жалок: клянет он судьбу,
Испуганный пиром и старым кладбищем.

Седая весталка и нищий юрод
В такое пускаются здесь причитанье,
Что спрыгнул бы сам Вседержитель с высот,
Имей Он в высотах Свое пребыванье.

Народу здесь надобно столько вина,
Сколь может воды в Алазани вместиться,
А сколько он мяса тут съест и пшена —
Никто на земле сосчитать не решится!

Да будут обильны, Кахетия-мать,
Сосцы твои, полные млечного сока!
И тучи выходят на небо опять,
И ночь, словно буйвол, встает одиноко.

Костры с шашлыками горят над рекой,
Слезятся от дыма веселые лица.
Олень угощает оленя травой,
Вином кахетинец поит кахетинца.

Здесь сам Пиросмани, и кистью его
Набросаны арбы и гости на пире.
Важа восхваляет его мастерство,
И туры рога погоняют шаири.

И «Шашви-какаби», и Саят-Нова,
И песни Бесики — для сердца отрада,
И жажда веселья в народе жива,
Когда наступает пора винограда.

*Сентябрь 1936
Тбилиси*

Перевод Н. Заболоцкого

КОЛХИДА ЖДЕТ НОВОГО ОРФЕЯ

Над сыростью древних болот
Сгибались плакучие ивы.
Но верилось мне, что народ,
Упорный и вольнолюбивый,

О будущем счастье поет.
Я видел Колхиду счастливой.

Еще не причалил Язон,
Медея спала без движенья.
Что ж, детские сны не резон,
Но детское воображенье
Рисует во весь горизонт
Троянцев и греков сраженье.

Как сердце ребенка горит,
Как каждая книга на благо,
Как старый бродяга Майн Рид
Воинственной пышет отвагой,
Как пена Риона бурлит
Морскою соленою влагой!

Поэт не такой уж мудрец,
Хоть людям и кажется мудрым.
Я все еще тот сорванец
И вышел рыбачить под утро,
И южного зноя багрец
Еще золотит мои кудри.

И кажется ярче парчи
Холщовой рубахи заплатка,
Сладка кислота алычи,
И райская птица, в ночи
Поющая дико и сладко, —
Как все это хрупко, как шатко!

И образы богатырей,
Пленных монгольской ордою,
Встают по ночам у дверей,
Теснятся в мечтах чередою,
И с каждой весной щедрей
Рассвет над разливной водою.

Танцуют в кустах светлячки.
Под струны старинной чонгури
Читает Натела стихи,
И в бездне рассветной лазури
Алеют вершин ледники.

Озноб продирает по коже:
Негаданно ты наступил
На муравейник. Но кто же
Напасть на тебя напустил?
Ползут и ползут, и похоже,
Что дьявола ты потревожил!

Ты милой не видел в глаза,
Влюбленный в нее, как в Этери,
Но вот в благодатном доверьи
Глаза тебе застит слеза,
И больше очнуться нельзя.

Пусть слезы твои безнадежны,
Ты все-таки плачешь навзрыд.
Волынка, поющая нежно,
С тобой о любви говорит.
Ты тянешь к ней руки, — и это,
Наверно, рождение поэта.

Не ведали мы отрезвленья
И счастливы лишь оттого,
Что с отрочеством поколенья
Совпало страны торжество.

Мы молодости благодарны,
Мы низко поклонимся ей
За этот рассвет легендарный,
За гордое званье людей.

Не снами, а жизненной явью
Долина Риона живет.
В цветущем обильи и славе
Колхида Орфея зовет.

Декабрь 1936

Перевод П. Антокольского

* * *

На судьбу человека глядит с высоты
Алавердский высокий собор,
Словно книг летописных раскрылись листы —
Беды Грузии видит мой взор.



Колокольня и врезанный в небо монах,
Звон тревожен, и плачет народ.
Близ Кварели — лезгинское войско в горах,
Алазань оно перейдет...

Кахетинцев сломили в решительный час.
Бахтриони в багровом огне, —
Словно дань позабыл захватить Шахабаз
И примчался назад на коне!

Плач младенцев не молкнет, погибель их ждет,
На гумне избивают детей...
В Чиаурской дубраве укрылся народ
От неожиданных кровавых гостей.

Долго-долго в печали глядит Теймураз
На измученной матери труп.
Как бы сердце свое ни замкнул он сейчас —
Слово скорби срывается с губ.

Он встречает степенных российских послов.
Боль за землю свою велика,
Край грузинский в беде, но за горечью слов —
Свет надежды в душе старика.

Царь над книгой склоняется, верой согрет...
Как мудры Низами и Хайям!
Слезы долго не высохнут, плачет поэт
По родным разоренным краям.

1936

Перевод С. Ботвинника

* * *

Уже сломал и растопил Казбек
Январской чистоты своей оковы,
И вновь он слышит, как из века в век:
— Мы в будущем году вернемся снова!

И снова надо Богу доказать,
Что все Тамары — лишь одна Тамара.



...Друг друга сочной травкой угощать
На пастбище оленьи любят пары;
Лишь хмурый Терек средь разбитых льдин
В своей постели бесится один.

Охотник я, и лань убил зимой.
Потом кому-то и меня пришлось
Убить. Я вижу деву: ледяной
Взгляд, гладь расчесанных льняных волос...

1936

Перевод Б. Резникова

* * *

Раздастся крик предсмертный у ворот
Абдушахилом пораженной лани,
И эта рана рану распахнет —
Чем ты поможешь, если сам ты ранен?

И кончиком ножа Баши-Ачук
Полет коня ускорил в нетерпенье,
Как будто в твой тысячесердный стук
Добавил сердца своего биенье.

А облакам белеющим идти,
Им с синевой вовек не расставаться,
Не с ними ли сегодня по пути —
Двум близнецам, двум сестрам Чавчавадзе?

Там, за рекой, подстерегает хан,
Добычу ждет — угоды Цинандали.
И если он удачей осиян,
Его преграды устршат едва ли.

Как эта сказка нынче далеко,
Ей лишь на миг пришлось с мечтою знаться,
Когда под лунный бубен Верико
Плясала вместе с Натюю Вачнадзе.

Зажег мечты горячий звездопад,
Рожденье мира пели звезды эти,



Сияло небо тысячами Нат.
В ночи стоял сияющий Кахети.

1936

Перевод Ю. Даниэля

* * *

О, Мкинвари когда проснется
Под гром, вернувшийся сюда,
То в вечной верности клянется
Сползающему морю льда.

Но, застоявшись над тобою,
Мчат ливни, пенясь и звеня.
Ты — друг? Нет, больше. Брат? Нет, больше.
Не знаю, кто ты для меня.

И к двум Арагвам — Белой, Черной —
Арагва слез моих течет.
И мир, еще не нареченный,
Господня взгляда молча ждет

1936

Перевод Ю. Ряшенцева

АЛЕКСАНДРУ ПУШКИНУ

На холмах Грузии играет солнца луч.
Шумит Арагва, как бывало.
Здесь, на крутой тропе, среди опасных круч,
Мысль о тебе — как гул обвала.

Мы знаем счастье. Мы помним этот миг,
Когда любимой обладали,
И, полный песнями, изнемогал тростник,
И млели розы Цинандали.

Сто лет уже прошло, и тысяча пройдет,
Но пред тобой бессильно время,
И слава звонкая по следу путь найдет
От Эльбруса до Ванкарема.



Погибельный Кавказ! Его живой красоты
Ты не узнал бы в наши годы,
Счастливых этих гор не раздирают псы,
Насильники людской свободы.

Ты не услышишь вновь печальной песни той, —
Ее красавица допела.
Протяжный гул работ владеет высотой,
Жизнь молодая закипела.

Пройди мою страну всю из конца в конец,
Куда лишь может свет пробиться,
Везде отыщется горячих пуль свинец
Сразить жандармского убийцу.

Я встану, как хевсур старейший, у котла,
Чтоб в чашу первую, запенясь, потекла
Струя кипучего веселья.
И слово я скажу заздравное над ней
В честь храбрых прадедов
и в честь советских дней,
О Пушкине и Руставели.

Два гения войдут в один могучий сплав,
Два мощных первенца народа,
Чтоб зазвучал напев, крылат и величав,
И неподкупен, как свобода.

Пусть, как созвездия, горят они вдвоем
Над родиной счастливой нашей.
Мы в память Пушкина и Руставели пьем
И чокаемся звонкой чашей.

20 января 1937

Перевод П. Антокольского

МАТЬ И СЕСТРЫ ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО

— Что скажу им — Оле и Люде?
Слез своих сестры никак не осушат.
Нет им покоя и больше не будет!

Нет утешенья женщине этой,
Вижу ее со слезами во взоре,
Как всескорбящую мать поэтов,
Всех матерей безутешное горе.

Помню его я с первого шага —
С дней революции в Кутаиси.
Той же решимостью, той же отвагой
В зрелые годы полнились мысли.

Он не в долгу пред своею страной,
В битвах поэзии первый воитель.
Там, на вершинах, над крутизною
След богатырский остался в граните.

Снежный февраль на московском просторе.
Вьюга ночная пути замедляет.
Где-то сверкают Кавказские горы,
В ту же мелодию ветер влетают.

Так светлячки из стихов Церетели,
Так паруса облаков над горами
В строки его навсегда прилетели,
Так водопады стали стихами.

Сестры и мать его, горько и немо,
Плачут над вечной землею Багдада.
Здесь он увидел высокое небо
И сохранил эти выси во взгляде.

Пел Революцию, Красную Пресню,
И со стихом его, гордым, могучим,
Перекликались древнею песней
Наши — грузинские — горные кручи.

Здесь, под багдадскими небесами,
Бронзовый мальчик встанет навечно.
Так я сказал его плачущей маме.
Так я и нашей печали отвечу.

2 апреля 1937
Дербент

Перевод П. Антокольского



И вдруг он заметил, поднявшись из гроба:
Илья и Акакий на кладбище оба, —
Покоятся рядом их славные тени...
И он преклонил перед ними колени...
Поклона его мы не видели сами,
Арагва шептала о нем со слезами.

23 сентября 1937

Перевод Н. Заболоцкого

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Абашели Сандро (1884–1954) – поэт, литературовед, общественный деятель.

Абдушахил (Абдушагиль) – герой повести А. Церетели «Баши-Ачук».

Автандил – герой поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Ага-Мохаммед-хан (Ага-Мамед-хан) – шах Ирана (конец XVIII в.).

Алаверди – храм X в. в Кахетии. Также название храмового праздника (*Алавердоба*).

Алагез (груз. Агзевань; арм. Арагац) – гора в Армении.

Александр – царевич (XVIII в.); после присоединения Грузии к России остался приверженцем независимости своей родины.

Алиханов-Аварский Максуд – генерал, начальник карательной экспедиции по подавлению гурийского революционного движения (1905 г.).

Амиран (Амирани) – герой грузинского эпоса; подобно Прометею, похитил небесный огонь для людей.

Ананури – селение и крепость на Военно-Грузинской дороге.

Аракс – река в Восточном Закавказье.

Арсенишвили Али – критик, друг Т. Табидзе.

Артани – деревня в Грузии.

Аргил II – сын картлийского царя Вахтанга V, грузинский государственный деятель, поэт, литератор и историк.

Аспиндза – город на юге Грузии.

Атабек – феодальный правитель юго-западной части Грузии.

Ахметели Сандро (1886–1937) – режиссер.

Агхоти – селение в Грузии.

Багдади – деревня в Западной Грузии, где родился В. Маяковский.

Бараташвили Николоз (1817–1845) – выдающийся поэт-романтик.

Батонишвили Иоанн (1768–1839) – грузинский царевич, автор книги «Калмасоба» («Хождение по сбору»), где изложение основ ряда отраслей науки и искусства сочетается с показом широкой картины нравов, быта, истории и культуры грузин на рубеже XVIII–XIX вв. Энциклопедичностью напоминает роман Ф. Рабле.

Баши-Азук – герой одноименной повести А. Церетели.
Бэсики – псевдоним выдающегося грузинского поэта Бессариона Габашвили (1749–1791).

Ванкский собор – армянский собор в Тбилиси, построен в 1580 г., снесен в конце 1930-х годов.

Вардисубани – улица в Тбилиси.

Васадзе Акакий (1899–1978) – известный актер и режиссер.

Вагнадзе Ната (1904–1953) – грузинская киноактриса.

Вахушти (ок. 1696–1772) – грузинский историк, географ и лексикограф.
Сын царя Вахтанга VI, дед П. И. Багратиона, героя Отечественной войны 1812 г.

Вепхвисткаосани – «Витязь в тигровой шкуре», поэма Шота Руставели.

Верико Анджапаридзе (1900–1987) – знаменитая актриса.

«*Восстание в Гурии*» – исторический роман Э. Ниношвили.

Галактион Табидзе (1893–1958) – известный поэт, двоюродный брат Тициана Табидзе.

Гаприндашвили Валериан (1889–1941) – поэт, теоретик грузинского символизма и активный член группы «Голубые роги».

Гильгамеш – правитель шумерского города Урука в начале III тыс. до н. э.

Глданели Кула – известный борец.

Гоги – Григол Робакидзе (1884–1962), поэт, прозаик, теоретик группы «Голубые роги».

Горгасал (Горгаслан) *Вахтанг* – прозвище царя Вахтанга I (буквально: волколев), который, согласно преданию, основал в V в. Тбилиси.

Гуниб – старинный аварский аул, последний оплот Шамиля.

Гурамишвили Давид (1705–1792) – известный поэт.

Гуриели Мамиа (1836–1891) – поэт, часто воспевавший в стихах старую Грузию и царицу Тамару.

Гур – так мусульмане называли иноверцев.

Давид (Давид Строитель) – царь (XI в.); во времена его правления произошло объединение Грузии.

Дадиани Шалва (1874–1958) – писатель, драматург.

Дашнаки – члены армянской националистической организации «Дашнакцутюн».

Дедас Левана – кахетинский народный певец.

Дезертирский базар – один из тбилисских базаров, расположенный вблизи вокзала, где в те годы солдаты часто продавали свои вещи.

Джавахишвили Иванэ (1876–1940) – академик, историк.

Джакели Саргис – знаменитый полководец XII в., владетель Месхетии.



Джорджиашвили Арсен — революционер, убивший в 1906 г. тифлиского генерал-губернатора.

Дзелква — каменное дерево, разновидность вяза с очень крепкой древесиной.

Дэвы — сказочные персонажи, олицетворяющие злые силы природы.

Зангезур — название юго-восточной части Армении.

Звартноц — древний город в Армении, ныне разрушенный.

Илаяли — имя, придуманное героем романа К. Гамсуна «Голод».

Ило, Зенон — братья Н. А. Макашвили (Табидзе), жены Т. Табидзе.

Иракли-тапа (гора Ираклия) — гора близ Еревана, названная в честь Ираклия II.

Ираклий II (1720—1798) — царь, выдающийся государственный деятель и полководец, в 1762 г. объединил Кахетинское и Карталинское царства.

Кабахи — район Тбилиси, где был ипподром, а позднее — сад князей Орбелиани.

Каджи — сказочное существо: бес, дьявол.

Казалишвили Ягор (ум. 1935) — народный поэт-горец и отважный альпинист-проводник.

Казбег Сандро (1848—1893) — прозаик, писавший о жизни грузин-горцев.

Карабекир-паша — командующий турецкой армией на закавказском фронте во время Первой мировой войны.

Каралашвили — грузинский народный певец.

Карагохели — уличные торговцы, разносчики.

Карс — крепость в турецкой Армении.

Картлис цховреба («Житие Грузии») — свод исторических хроник.

Картлос — легендарный прародитель грузин.

Кашвети — церковь, памятник древней архитектуры на проспекте Руставели.

Кахабери — прославленный грузинский витязь Средневековья.

Кварели — село в Грузии, расположенное в долине реки Алазани. Родина И. Чавчавадзе.

Киммерийцы — древнейшие из известных науке племен, населявших Северное Причерноморье.

Кистины (кисты) — грузинское название ингушей.

Короглы (Кёроглы) — развалины средневекового замка в окрестностях Тбилиси.

Крцаниси — местность недалеко от Тбилиси, где в 1795 г. произошло сражение между войском Ага-Мохаммед-хана и грузинскими войсками под командованием царя Ираклия II.

-
-
- Леонидзе Георгий* (1899–1966) – известный поэт, академик.
- Леонидзе Соломон* – канцлер Ираклия II. Он и его жена Софья противились решению царя отдаться под покровительство России.
- Макашвили Нина* (1900–1964) – девичья фамилия Н. А. Табидзе, жены поэта.
- Марабда* – местность возле Тбилиси, где в 1624 г. произошла битва между грузинским и персидским войсками.
- Марджанишвили Котэ* (1872–1933) – выдающийся режиссер и актер.
- Медея* – дочь колхидского царя Аэта, колдунья, помогла Язону завладеть золотым руном.
- Мелита Чолокашвили* – знакомая Т. Табидзе.
- Мерани* – крылатый конь (Пегас).
- Метехи* – сначала крепость и дворец грузинских царей, позднее – тюремный замок, сейчас – храм на высоком левом берегу Куры.
- Миндия* – герой поэмы В. Пшавела «Змеед», наделенный сверхчеловеческой мудростью и способностью понимать язык зверей.
- Мкинвари* – Казбек.
- Моди-Нахе* (*Приди – посмотри*) – старинная крепость в Западной Грузии над рекой Квирила, принадлежавшая некогда феодалам из рода Церетели.
- Мохевы* (мохевцы) – наименование грузин, населяющих Хеви, одну из горных областей Грузии.
- Моурави* – высшая административная должность в феодальной Грузии.
Зд.: Георгий Саакадзе, бывший моурави при дворе царя Луарсаба II.
- Мравалжамиер* («Многие лета») – заздравная песня.
- Мтацминда* (Святая гора) – там, у монастыря св. Давида, расположен пантеон писателей и общественных деятелей Грузии.
- Мтквари* (Кура) – река, на которой стоит Тбилиси.
- Мтрехели* – грузинский революционер.
- Мухамбази* – форма восточного стихосложения, которую использовали многие кавказские поэты.
- Мухрани* (Мухрань) – Мухранская долина.
- Мцхета* – древняя столица Грузии.
- Мери Шервашидзе* – бывшая фрейлина императорского двора, ее рисовал художник С. Сорин (1878–1953).
- Мюрид* – послушник, последователь имама у мусульман.
- Надирадзе Колау* (1894–1990) – поэт, участник группы «Голубые рога».
- Наири* – в ассирийских клинописях название союза племен, населявших Армянское нагорье во 2-й половине II в. до н. э. Около 860 г. до н. э. из этого союза выделилось самостоятельное государство Урарту (Халдея).

Нарикала — старинная крепость в Тбилиси.

Нина — святая, принеся в IV в. христианство в Грузию.

Нина — одна из дочерей поэта князя Александра Чавчавадзе, впоследствии жена А. С. Грибоедова.

Одзелашвили Арсен — возглавил в 30-е годы XIX в. восстание грузинских крестьян. Герой сказаний и песен.

Окроканы — селение в окрестностях Тбилиси.

Орбелиани Григол (1804—1883) — известный поэт-романтик.

Орбелиани Сулхан-Саба (1658—1725) — знаменитый писатель, ученый, лексикограф.

Ортагалы — район на окраине старого Тбилиси, знаменитый фруктовыми садами.

«*Пир возле стен Еревана*» (точнее — «Пир после Ереванской битвы») — подзаголовок «Заздравного тоста» Гр. Орбелиани, написанного в честь победы русских войск над персами в Армении.

Пиромани (*Пироманишвили Нико*) — выдающийся грузинский народный художник-самоучка (ум. 1921).

Понт Эвксинский — Черное море.

Пшавела Важа (1861—1915) — псевдоним выдающегося поэта Луки Разикашвили.

Рами — особая китайская крапива, которую разводят для выработки прочных тканей.

Рукайя — героиня пьесы А. И. Сумбатова-Южина «Измена».

Саакадзе Георгий (ок. 1580—1629) — полководец и политический деятель.

Саганели Гион — один из поэтов-голуборожцев, умерший молодым.

Саирме — местечко в Западной Грузии недалеко от Багдади.

Сарадживили Вано (1879—1924) — знаменитый певец, народный артист Грузии.

Сарданопал (Асур-Банипал) — последний ассирийский царь (VII в. до н. э.). Его библиотека содержала большое собрание клинописных исторических хроник.

Сардар — звание персидских сановников.

Сартагалы — деревня в Кахетии, заселенная немецкими колонистами.

Сартигалы — местность недалеко от Тбилиси.

Саят-Нова — литературный псевдоним Арутина Саядяна (1712—1795), крупнейшего поэта Закавказья, писавшего на армянском, грузинском и азербайджанском языках.

Светицховели — храм Столпа Животворящего. Древний кафедральный собор во Мцхете.

Сиони — кафедральный собор в Тбилиси.

Соганлуг — местность к юго-востоку от Тбилиси на левом берегу Куры.

Соломон — грузинский царь Соломон вступил на престол в Имеретии и возглавил борьбу за объединение Западной Грузии и освобождение ее от турецкого господства.

Спасалар — военачальник, воевода.

Тамара (Тамар) — царица Грузии (1184—1213), при которой страна достигла высокого культурного, политического и экономического развития.

Тамара (Тамара Яшвили) — жена поэта Паоло Яшвили.

Танит Табидзе — стихотворение посвящено дочери Т. Табидзе — Ните (р. 1921).

Тапаравани — озеро на юге Грузии, в Ахалкалакском районе.

Тари — восточный струнный музыкальный инструмент.

Ташискар — местность в окрестностях Боржоми, где Великий Моурави Георгий Саакадзе разгромил войско крымских татар.

Теймураз — имя грузинского царя и поэта XVII в. (возможно, Табидзе имел в виду другого царя и поэта, Теймураза II, жившего в XVIII в.).

Тмогвели Саргис — грузинский писатель XII в.

Толумбаш — тамада.

Туманян Ованес (1869—1923) — классик армянской литературы.

Убрус — деталь головного убора священника.

Удзо — гора в окрестностях Тбилиси с руинами старой церкви на вершине.

Ушба — труднодоступная гора в Верхней Сванетии.

Ушгул — горная вершина и селение в Верхней Сванетии.

Фатма-Хатун — персонаж поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Хевсур (хевсуры) — наименование грузин, населяющих Хевсурети, высокогорную область Восточной Грузии.

«*Химерион*» — артистическое кафе в Тбилиси, где собирались поэты. Стены кафе были расписаны художниками С. Судейкиным, Д. Какабадзе, Л. Гудиашвили.

Химикаури — хевсур, герой поэмы В. Пшавела «Сон Ираклия».

Цертели Акакий (1840—1915) — крупнейший поэт и общественный деятель.

Циклаури Гаха — знаменитый альпинист, погибший в горах.



Цинандали — имя князей Чавчавадзе.

Цицамури — место, где в 1907 г. был убит И. Чавчавадзе.

Цнобис турцели (груз. «листок знаний») — газета «Вестник».

Чавчавадзе Илья (1837–1907) — выдающийся грузинский поэт и общественный деятель.

Чагатар — сын Чингисхана.

Чаладиди — заболоченные места в Колхиде.

Чаландари — погонщик вьючных лошадей.

Чаргали — деревня в Грузии, где родился и умер Важа Пшавела.

«*Чарирами*» — народная западногрузинская песня.

Чагнагир — герой поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Чонгури — народный струнный смычковый инструмент.

Чхеидзе Ушанги (1898–1953) — драматический актер.

Шавнабада (груз. Черная бурка) — гора около Тбилиси, потухший вулкан.

Шамиль (1798–1871) — возглавил борьбу горцев Дагестана и Чечни против колониальной политики царизма.

Шаншиашвили Сандро (1888–1979) — поэт и драматург.

Шахабаз (*Шах Аббас*) — персидский шах. В середине XVII в. между его войском и войском царя Теймураза I произошла битва.

Шахсей-Вахсей — мусульманский религиозный праздник, отличавшийся особым изуверством и дикостью.

Шашви-какаби (груз.) — дрозд-куропатка.

Шильда — деревня в Кахетии.

Эристави — титул полунезависимого феодального властителя старой Грузии.

Эристави Рафаэл (1824–1901) — известный грузинский поэт и краевед.

Этери — героиня грузинского народного сказания «Абесалом и Этери».

Ярли — грузинский поэт из рода Шаншиашвили, друг Г. Орбелиани.

Яшвили Паоло (1894–1937) — поэт, близкий друг Т. Табидзе.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абашели (Чочия) С. (А. В.) 231, 313, 444
Абашидзе В. А. 49
Аббас I Великий, шах 436, 450
Абдушелишвили, тамада 132
Ага-Мамед (Мохаммед)-хан 95, 177–181, 341, 358, 444, 446
Агура-Мазда (Ахурамазда) 72
Акакий – см. *Цертели А. Р.*
Александр, царевич 358, 359, 364, 444
Александр Македонский 95, 199, 341, 365
Александр, бакалейщик 221, 222, 357
Али – см. *Арсенишвили А. И.*
Алиханов-Аварский М. 429, 444
Альберти Р. 279
Альтенберг П. 234
Альтман Н. И. 83
Амундсен Р. 223, 394–402
Анакреон 30
Анджапаридзе В. И. 250, 437, 445
Андреев Л. Н. 234, 310
Андроников (Андроникашвили) И. Л. 142, 247
Анненский И. Ф. 26, 32, 44, 45, 72, 73, 143, 159, 228
Антиной 48, 353
Антокольский П. Г. 12, 14, 60, 93, 105, 109, 113, 158, 178, 179, 182, 197,
200, 203, 211, 212, 220, 224, 236, 246, 264, 276, 277, 298, 331, 334, 339,
382, 385, 386, 390, 422, 427, 435, 439, 440
Антонов, полицмейстер 24
Ануш – см. *Туманян О. В.*
Апхаидзе Ш. Н. 70, 144, 146, 282, 284
Арсен – см. *Джорджиашвили А.*



-
-
- Арсенишвили А. И. 55, 56, 83, 99, 164, 198, 199, 355, 356, 444
Арсенева (Арсенева-Букштейн) К. С. 46, 393
Арчил II, царь 426, 444
Асур-Банипал — см. *Сарданпал*
Атласка, беженка 99
Ахмадулина Б. А. 391, 431, 442
Ахматова (Горенко) А. А. 83, 247
Ахметели А. В. 138, 350, 444
Ахундова А. Н. 348, 357, 381, 410, 416
Ашукин Н. С. 84
Ашхен, беженка 99
- Бабель И. Э.** 148
Бабушкин М. С. 401
Багратион П. И. 445
Багрицкий (Дзюбин) Э. Г. 268
Бажан М. (Н. П.) 248, 250
Байрон Дж. Н. Г. 78, 269, 373
Бакрадзе Е. Ф. 80
Балтрушайтис Ю. К. 70, 71, 381
Балушвили В. И. 247
Бальзак О. де 32, 50, 262
Бальмонт К. Д. 5, 44, 50–52, 57, 59, 68–76, 79, 87–89, 93, 107, 250, 380
Бараташвили Н. М. 62, 78, 219, 234, 269, 301, 377, 419, 444
Барнов (Барнови) В. З. 133, 244
Батонишвили И., царевич 404, 444
Бах И. С. 431
Беатриче — см. *Портинари Б.*
Бебель А. 24
Бедный Д. (Придворов Е. А.) 270
Бежашвили А. 241
Безыменский А. И. 270
Бейлис М. М. 43, 374
Белиашвили А. И. 141
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 5, 25, 42, 43, 51, 57, 58, 59, 84, 90, 124, 159–170,
185, 214, 223, 229, 262, 263, 280
Берггольц О. Ф. 288
Беришвили Н. 92
Берия Л. П. 281, 283, 285, 286
Берлиоз Г. Л. 46, 322
Бесики — см. *Габашвили Б.*
Блинова Е. М. 76

-
-
- Блок А. А. 26, 29, 31, 32, 42–46, 51, 53–57, 60–64, 67, 72, 76, 79, 89, 91, 103, 104, 116, 143, 153, 159, 180, 185, 247, 269, 279, 281, 323
- Бодлер Ш. 35, 60, 72, 77, 79, 156, 328
- Борис Леонидович — см. *Пастернак Б. Л.*
- Борис Николаевич — см. *Белый А.*
- Ботвинник С. В. 47, 59, 64, 101, 118, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 179, 320, 340, 343, 345, 349, 351, 359, 386, 436
- Брик Б. И. 218
- Брюсов В. Я. 26, 32, 42, 44, 51, 52, 57, 59, 65, 79, 80, 83, 91, 139, 161, 229
- Бубнов А. С. 277
- Бугаева (урожд. Алексеева) К. Н. 165, 168
- Буйнакский У. Д. 240
- Бурлюк Д. Д. 157
- Вакели (Мегрелидзе И. Л.) 241**
- Валериан — см. *Гаприндашвили В. И.*
- Валишевский З. 111
- Васадзе А. А. 422
- Вахвакишвили Т. Н. 151
- Вахтанг I Горгаслан, царь 176, 213, 214, 349, 390, 391, 445
- Вахтанг V Шахнаваз, царь 444
- Вахтанг VI, царь 445
- Вахтангов Е. Б. 264
- Вахушти Багратиони, царевич 15, 424, 445
- Вачнадзе Н. Г. 199, 432, 437, 438, 445
- Вашапидзе Гр. 55
- Вергилий Марон Публий 16
- Верико — см. *Анджапаридзе В. И.*
- Верлен П. 35, 46, 67, 79, 170, 323
- Верхарн Э. 42, 44, 61, 327
- Веспасиан Тит Флавий 211
- Вечорка (Толстая, урожд. Ефимова) Т. В. 105, 111
- Вийон (де Монкорбье) Ф. 42, 78
- Виталий — см. *Тренёв В. К.*
- Водкин — см. *Петров-Водкин К. С.*
- Волошин (Кириенко-Волошин) М. А. 70, 83, 121, 381
- Воронцов-Дашков И. И., гр. 23
- Врубель М. А. 41, 55, 166, 169, 192, 230
- Вяземский П. А., кн. 159
- Габашвили Б. (В.) 48, 60, 78, 136, 137, 141, 142, 177, 181, 325, 328, 346, 433, 445



-
-
- Гавриил (в миру Кикодзе Г.), еп. 18
Галактион – см. *Табидзе Г. В.*
Галилей Г. 155
Гамсахурдия (Гамсахурдиа) К. С. 76, 92, 141
Гамсун К. 29, 32, 55, 199, 234, 263, 446
Гандлевский С. М. 359, 362, 364, 366, 402, 411
Ганнибал Барка 201, 202, 362
Гаприндашвили В. И. 41, 54, 55, 68, 69, 73, 79–84, 106–108, 111–114, 116, 120, 134, 139, 146, 148, 154, 156, 157, 164, 244, 261, 267, 334, 337, 339, 351, 445
Гарибальди Дж. 101, 333, 387
Гаха – см. *Циклаური Г.*
Гачичеладзе Д. 141
Гветадзе Р. М. 284
Гейне Г. 373
Генрих Густавович – см. *Нейгауз Г. Г.*
Геродот 198, 227
Герцен А. И. 42
Гёте И.-В. 42, 44, 269, 299
Гильбо Р. 399
Гиппократ 224, 228, 424
Глданели К. 138, 350, 351, 445
Гогешашвили Я. С. 135, 240
Гоги – см. *Робакидзе Г. Т.*
Гогла – см. *Леонидзе Г. Н.*
Гогоберидзе Н. 223
Гоголь Н. В. 159
Гойя Ф. Х. де 113, 334
Гольбейн Г. 206
Гольцев В. В. 228, 245, 273, 276, 278
Гомер 227
Горгаслан – см. *Вахтанг I Горгаслан*
Городецкий С. М. 5, 89, 120, 131, 160
Горький М. (Пешков А. М.) 245
Готье Т. 244
Грах Гай (Кай) Семпроний 24
Грибоедов А. С. 143, 145, 151, 163, 181, 182, 237, 239, 245, 246, 269, 448
Грибоедова (урожд. Чавчавадзе) Н. А. 163, 237, 239, 304, 437, 448
Григорий – см. *Робакидзе Г. Т.*
Гришашвили (Мамулаишвили) И. Г. 83, 309
Грушко А. А. 43, 70, 381
Гудиашвили Л. (В.) Д. 6, 99, 114, 120, 142, 163, 242, 449

-
-
- Гудушаури Ш. 417
Гурамишвили Д. 78, 177, 213, 217, 235, 417, 426, 445
Гуриели М. Д. 191, 354, 445
Гурмон Р. де 35, 47, 76
Гутнер М. Н. 276
- Давид IV Строитель, царь 357, 445
Дадашидзе И. Ю. 335, 346, 376
Дадиани Д., кн. 237, 364
Дадиани Ш. Н. 138, 350, 445
Даниэль Ю. М. 295, 298, 301, 303, 305–307, 311–313, 316, 318, 374, 438
Д'Аннунцио Г. 27
Данте Алигьери 16, 72, 78
Дарвин Ч. 24
Дарьяни (Дариани) Е. – см. *Яшвили П.*
Двали П. 166
Деметрадзе Д. 283
Деметрадзе Ш. Г. 183, 243
Демирчян Д. К. 231
Державин В. В. 70, 75, 98, 221–223, 429
Джавахишвили И. А. 347, 445
Джавахишвили М. (Адамашвили М. С.) 283
Джакели С. 195, 377, 445
Джалал-Эд-Дин (Джелал ад-Дин Менгуберди) 341
Джапаридзе Л. 81, 82, 98, 119, 137, 146
Джапаридзе С. 166
Джованьоли Р. 24
Джорджиашвили А. 156, 212, 382, 446
Диасамидзе Г., кн. 88, 140, 348
Дидерихс 399
Добролюбов Н. А. 18
Достоевский Ф. М. 26, 29, 32, 41, 49, 159
Дункан А. 146, 147
Дюма А. 15, 17
- Екатерина II, имп. 237
Ерзикян А. 411
Есенин С. А. 5, 51, 100, 105, 144–154, 157, 158, 160, 164, 178, 360–362
Есенина-Толстая С. А. 148
- Жаров А. А. 270
Жгенти Б. (В. Д.) 141



Женя — см. *Пастернак Е. В.*

Жордания Н. Н. 110

З. Н. — см. *Пастернак З. Н.*

Заболоцкий Н. А. 46, 189, 191, 203, 204, 215, 248, 250, 264, 276, 323, 355,
371, 379, 408, 430, 432, 433, 443

Зданевич К. М. 114, 134, 135

Зина — см. *Пастернак З. Н.*

Ибаррури Д. 278

Иванов А. А. 169

Иванов Вс. В. 148

Иванова А. Н. 69

Ингороква П. 99

Ионов И. И. 169

Ираклий II, царь 177, 179, 349, 446, 447, 449

Исаакян А. С. 229, 231, 232, 411

К. Н. — см. *Бугаева К. Н.*

К. С. — см. *Петров-Водкин К. С.*

Казалишвили Я. 419, 446

Казбеги А. 235, 242, 419, 446

Какабадзе Д. Н. 114, 449

Кальдерон Г. В. 226

Каменский В. В. 73, 74, 115

Кант И. 44

Канчели С. 88, 96, 140, 348

Карабекир К. М. (Карабекир-паша) 414, 446

Кармели Ш. 81

Картвелишвили Ш. И. 80

Кассо Л. А. 43

Катаев В. П. 184, 185

Катюша, подруга Н. А. Табидзе 89

Качалов (Шверубович) В. И. 148

Керженцев (Лебедев) П. М. 270

Кикодзе Г. Д. 109

Кин Э. 103

Кир Старший 60, 297, 298

Киров (Костриков) С. М. 284

Клдиашвили Д. С. 21

Клдиашвили С. 23

-
-
- Клдиашвили С. Д. 32, 34, 41, 44, 45, 94, 146, 173, 245, 264, 276, 285
Клеопатра 30, 73, 345
Ключевский В.. О. 43
Коломбина — см. *Табидзе Н. А.*
Комиссаржевская В. Ф. 43
Коонен А. Г. 44
Корнилов Б. П. 270, 288
Королевич (Королев) В. В. 83
Кочерга Л. 99
Красин Л. Б. 401
Красная девушка — см. *Табидзе Н. А.*
Крупп Г. 44
Кузмин М. А. 32, 51, 76
Кузьмичев И. С. 288
Кушнер А. С. 293, 294, 296, 297, 299, 300, 304, 310, 314, 315, 423
- Лагиашвили И. 18
Лагидзе М. В. 27, 32, 191, 192
Лазарева Н. 103
Лаура 72
Лафорг Ж. 35, 94, 112, 116, 129, 130, 137, 138, 180, 339, 342, 344, 350
Лели — см. *Джапаридзе Л.*
Ленин (Ульянов) В. И. 90, 91, 284, 331, 414, 424
Леон М. Т. 279
Леонидзе Г. Н. 123, 133, 134, 143, 146, 148, 154, 157, 164, 174, 185–187,
239, 241, 250, 261, 262, 265, 267, 284, 390, 447
Леонидзе Соломон 419, 447
Леонидзе Софья 419, 447
Леонов Л. М. 274
Леонович В. Н. 338, 377, 408
Лермонтов М. Ю. 6, 145, 152, 166, 211, 236, 246, 257, 259, 269, 283
Лившиц Б. К. 61, 62, 65, 67, 90, 201–203, 246, 264, 276, 327, 328, 330
Липскеров К. А. 174
Лисашвили (Хомерики) Я. Б. 241
Литвинов (Баллах) М. М. 401
Лопатин Л. М. 43
Лордкипанидзе Н. М. 21, 84
Лотреамон (Дюкасс И. Л.) 35, 94, 113, 116, 180, 234, 334, 335
Луарсаб II Карталинский, царь 447
Луначарский А. В. 100, 141
Луппол И. К. 277
Любавский М. К. 43



-
-
-
- Маари (Аджемян) Г. Г. 233
Макашвили И. А. 343, 446
Макашвили З. А. 343, 446
Макашвили Н. А. – см. *Табидзе Н. А.*
Малларме Ст. 35, 40, 47, 76, 79, 180, 325, 348
Мальгин С. Г. 401
Мальмгрен Ф. 400
Мальцев Л. М. 88, 106, 175, 176, 333, 350, 352, 417
Мандельштам О. Э. 87, 111, 121–124, 134, 184, 185
Мануйлов А. А. 43
Маргвелашвили Г. 123
Марджанишвили (Марджанов) К. А. 20, 41, 44, 91, 138, 151, 184, 350, 447
Мари Гурген
Маринетти Ф. Т. 44
Маркс К. 24
Марло К. 146
Март Н. Я. 43, 52, 56, 97
Мартынов Л. Н. 48, 86, 203, 322
Мачабели В. (И. Г.) 98, 129, 132
Мачабели (урожд. Беришвили) М. 92, 95, 189
Мачабели Т. – см. *Гаприндашвили В. И.*
Маяковская (урожд. Павленко) А. А. 158, 439
Маяковская Л. В. 158, 439
Маяковская О. В. 158, 439
Маяковский В. В. 22, 24, 26, 44, 50, 51, 62, 76, 80, 87, 94, 100, 129, 130, 141, 142, 144–147, 149, 151–158, 178, 196, 222, 267, 269, 270, 278, 287, 288, 427, 444
Мейерхольд Вс. Э. 91
Мелита – см. *Чолокашвили М. Т.*
Мельникова И. 311, 323, 325, 328, 332, 336, 346, 392
Мензбир М. А. 43
Мери – см. *Шервашидзе М. П.*
Мериме П. 244
Месхишвили Л. 24
Метерлинк М. 32
Микеланджело Буонаротти 72
Михайлик Ю. Н. 296, 302, 333, 370, 375, 422
Мицишвили Н. И. 121, 123, 146, 261, 267, 283
Мицкевич А. 52, 64, 78, 269
Моурави (Великий Моурави) – см. *Саакадзе Г.*
Мтрехели, революционер 417, 447
Мурван Кру (Глухой) 15



Н. А. – см. *Табидзе Н. А.*

Надирадзе К. Г. 21, 79, 82, 134, 135, 139, 164, 267, 351, 447

Надсон С. Я. 32, 78

Назарова И. 47, 374

Назон – см. *Овидий Публий Назон*

Нариман, спекулянт 220, 221

Нейгауз Г. Г. 273

Некрасов Н. А. 18

Немсадзе М. О. 80

Нерон 48, 353

Низами Гянджеви 436

Никитенко А. В. 277

Николадзе Я. И. 99

Ниношвили (Ингороква) Э. Ф. 47, 445

Нита – см. *Табидзе Т. Т.*

Ницше Ф. 167, 170

Нобиле У. 399

Новалис (Харденберг Ф. фон) 112

Ньютон И. 155

Овидий Публий Назон 197–199, 317, 356, 365, 366, 422

Озеров Л. А. 54, 149, 193, 195, 203, 210, 216, 217, 324, 405, 407, 419

Окромчедлишвили И. Л. 132

Омар Хайям 436

Орбелиани Г. З. 62, 78, 174, 175, 229, 234, 250, 351, 352, 413, 414, 419, 448, 450

Орбелиани С. С. 96, 246, 426, 448

Орджоникидзе С. (Г. К.) 277

Орлов А. С. 277

Орлов В. Н. 287

П. Я. – см. *Яшвили П. Д.*

Павленко П. А. 245

Паганини Н. 111

Палавандов И. 238

Паоло – см. *Яшвили П. Д.*

Паскевич И. Ф., гр. 238

Пастернак Б. Л. 5, 6, 8, 9, 15, 17, 40, 43, 49, 68, 90, 166, 172, 183–185, 200–206, 215, 219, 253–267, 269–271, 273, 275–278, 280, 287, 288, 325, 331, 354, 363, 367, 368, 371, 372, 384, 387, 388, 394, 403, 418, 421, 441

Пастернак (урожд. Лурье) Е. В. 270

Пастернак (урожд. Нейгауз) З. Н. 253, 256, 272–274



-
-
- Петр I, имп. 199
Петрарка Ф. 72
Петров-Водкин К. С. 169, 170
Пикассо П. 67
Пильняк (Воган) Б. А. 148, 274, 277
Пиндар 345
Пиросманишвили (Пиросмани) Н. А. 115, 134–136, 182, 230, 370, 404, 433, 448
Писарев Д. И. 18
Плутарх 347
По Э. А. 90
Портинари Б. 72
Прокофьев А. А. 270
Пруст М. 263
Прюдом — см. *Сюлли-Прюдом*
Пушкин А. С. 6, 42, 49, 78, 83, 145, 155, 159, 198, 199, 236–240, 246, 247, 269, 276–279, 283, 317, 355, 365, 438, 439
Пшавела В. (Разикашвили Л. П.) 62, 64, 76, 78, 147, 177, 198, 213, 217, 234, 235, 244–246, 248, 249, 265, 279, 355, 380, 383, 388, 390, 419, 423, 432, 433, 442, 447–450
Пшибышевский Ст. 234
- Рабле Ф. 403, 404, 444
Разин С. Т. 115
Резников Б. 306, 308, 309, 343, 359, 365, 437
Рембо А. 35, 61, 77, 79, 93, 111, 134, 170, 180, 193, 194, 323, 327, 341, 408
Рибера Х. де 72
Рид Т. М. 15, 434
Рильке Р. М. 261, 265, 273
Робакидзе Г. Т. 83, 339, 445
Роден Р. Ф. О. 262
Роденбах Ж. 34, 35, 72
Рожанковская И. 287–290
Рождественский Вс. А. 118
Розанов М. Н. 43
Роллина М. 83
Ронсар П. 78
Руставели Ш. 42, 44, 60, 65, 68–73, 78, 87–89, 96, 135, 142, 144, 146, 148, 151, 154, 155, 163, 177, 186, 187, 191, 198, 206, 207, 239, 246, 248, 250, 277, 342, 349, 356, 381, 426, 439, 444–446, 449, 450
Русудан, царица 95, 133, 342

Ряшенцев Ю. Е. 36, 37, 47, 53, 82, 187, 189, 252, 308, 315, 317, 319, 321, 337, 344, 353, 369, 438

Саакадзе Г. 13, 94, 129, 176, 189, 190, 335, 337, 341, 342, 347, 349, 354, 359, 447–449

Саба-Сулхан — см. *Орбелиани С. С.*

Сабанеева Т. И. 222, 357

Саганели Г. 345, 448

Сакварелидзе П. М. 283

Самойлович Р. Л. 399

Самсонов Н. В. 51

Сараджишвили В. (И. П.) 229, 416, 448

Сарданапал 411, 448

Сарьян М. С. 169, 170, 229–231, 411

Саят-Нова (Саядян А.) 88, 89, 174–178, 199, 232, 325, 350–352, 356, 433, 448

Северянин И. (Лотарев И. В.) 32, 34, 44, 50, 51, 94

Сен-Виктор П. Б., гр. 166

Серебрякова (в замуж. Яшвили) Т. Г. 132, 164, 255

Синявский А. Д. 287

Скотт Р. Ф. 398

Скрябин А. Н. 41, 43, 44, 52, 55, 70, 261, 381

Словацкий Ю. 52

Случевский К. К. 20

Собинов Л. В. 44, 45

Соколовская Н. Е. 303, 317, 320, 336, 360, 363, 389

Соловьев Вл. С. 37

Сологуб (Тетерников) Ф. К. 25, 26, 31–33, 44, 51

Соломон I, царь 428, 449

Сорин С. А. 140, 447

Спасский С. Д. 46, 66, 116, 193, 203, 213, 214, 330, 357, 391

Ставский (Кирпичников) В. П. 277

Сталин (Джугашвили) И. В. 194, 277, 281

Стриндберг А. 74

Судейкин С. Ю. 114, 115, 449

Судейкина (урожд. де Боссе) В. А. 115

Сулаквелидзе Ав. 24

Сулханишвили Н. П. 244

Сумбаташвили (Сумбатов-Южин) А. И. 49, 50, 70, 71, 80, 448

Сурков А. А. 267, 268

Сюлли-Прюдом (Прюдом Р. Ф. А.) 60, 328



-
-
- Табидзе В. С. 17–19
Табидзе Г. В. 12, 17, 18, 20, 83, 100, 141, 231, 324, 389, 445
Табидзе Е. О. 13, 17, 19, 100, 120, 128, 131, 137, 242, 353
Табидзе И. Ю. 242, 282
Табидзе (урожд. Макашвили) Н. А. 5, 8, 80, 89, 91, 92, 94–98, 100, 106–108, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 128, 131–133, 137, 143, 146–148, 156–158, 164, 165, 168, 191, 194, 195, 214, 225, 233, 241, 242, 244, 253, 254, 256, 265, 270, 272–274, 277, 280–286, 288, 337, 342, 343, 376, 446, 447
Табидзе Симон Ю. 131
Табидзе Софико Ю. 118, 132
Табидзе Т. Т. 116, 130–133, 135, 146, 148, 200, 201, 242, 255, 264, 271, 274, 280, 285, 288, 289, 362, 449
Табидзе Ю. С. 13, 17–20, 22, 24, 50, 52, 54, 66, 67, 113, 115, 117–119, 127, 194, 324, 326, 337, 353, 354, 369
Таиров А. Я. 44
Тамара, подруга Н. А. Табидзе 89
Тамара (Тамар), царица 72, 95, 106, 116, 128, 152, 191, 192, 333, 342, 354, 355, 360, 375, 431, 445, 449
Тамерлан (Тимур) 245
Танти (Феррони) К. К. и Л. К. 138, 350
Татаршвили К. Д. 244, 245
Теймураз I, царь 88, 89, 134, 325, 426, 436, 449, 450
Теймураз II, царь 426, 449
Тельман Э. 278
Тихонов Н. С. 5, 203, 211, 220, 229, 232, 264, 270, 276, 277, 279, 378, 383, 405, 409, 413, 415, 420
Тициан 348
Тмогвели С. 426, 449
Толстая С. А. — см. *Есенина-Толстая С. А.*
Толстой А. Н., гр. 247, 248
Толстой Л. Н., гр. 235–237, 259, 279
Топоров В. Н. 6
Торошелидзе М. Г. 266
Тренёв В. К. 253
Тренёв К. А. 253
Тулашвили В. Д. 49
Туманишвили Д. И. 239
Туманян (урожд. Мачкалян) О. В. 412
Туманян О. Т. 97, 98, 102, 121, 229, 232, 412, 449
Тынянов Ю. Н. 180, 181, 245, 246, 279
Тютчев Ф. И. 32, 78, 140, 143, 159, 250, 348, 397

Уайльд О. 32, 40, 48, 74, 234, 325

Уиараго – см. *Татаршвили К. Д.*

Уордроп М. С. 68

Уордроп О. 68

Ухтомский А. А. 290

Фатьма, гимназистка 66

Федин К. А. 277

Филиппов Д. И. 82

Фирумян С. 231

Фирумян Ц. 231

Флобер Г. 60, 131, 202

Хафиз (Шамседдин Мохаммед) 328

Хлебников В. (В. В.) 44, 76, 142, 269

Цветаева М. И. 253, 273

Цветкова Е.

Цветковская Е. К. 71

Церетели А. Р. 21, 23, 49, 50, 70, 78, 213, 234, 279, 347, 390, 440, 443–445, 449

Церетели Т. 191–193, 354, 355, 375, 408

Циклаури Г. 401, 402, 449

Чаадаев П. Я. 42

Чавчавадзе А. Г. 78, 143, 234, 237, 239, 279, 448

Чавчавадзе (в замуж. Дадиани) Е. А., кн. 237, 304, 437

Чавчавадзе И. Г. 18, 19, 42, 49, 50, 78, 94, 97, 102, 119, 129, 134, 206, 207, 216, 234, 279, 282, 347, 383, 406, 419, 443, 446, 450

Чагатар (Джагатай) 149, 178, 181, 360, 450

Чан Кай-ши 404

Чаренц (Согомонян) Е. А. 229, 232, 233, 270, 411

Чарквиани К. Н. 283

Чеботаревская А. Н. 32

Чернышевский Н. Г. 18

Чернявский Н. Ф. 242

Чехов А. П. 50

Чигуа, конвойный 121, 122

Чиковани С. И. 26, 48, 141, 142, 144, 152, 155, 182–184, 205, 206, 231, 246, 284

Чингисхан (Темучин) 178, 450

Чичико – см. *Гаприндашвили В. И.*



Чоговадзе М. 294
Чолокашвили М. Т. 95, 137, 139, 140, 214, 342, 344, 346, 348, 390, 447
Чопурашвили, духанщик 150, 157, 361
Чудецкий П. И. 18
Чухновский Б. Г. 399–401
Чхеидзе У. В. 138, 350, 450

Шаляпин Ф. И. 44, 45
Шамиль 210, 217, 233, 235–237, 245, 259, 283, 358, 359, 385, 418, 445, 450
Шаншиашвили С. И. 146, 261, 283, 284, 390, 392, 450
Шаншиашвили Я. 392, 393, 450
Шатобриан Ф. Р. 269
Шахабаз – см. *Аббас I*
Шекспир У. 32, 103, 110, 129, 155, 254, 271
Шелли П. Б. 74
Шенгелая Н. М. 141, 248, 281
Шервашидзе М. П. 95, 111, 113, 140, 337, 348, 447
Шехтер М. А. 65, 324, 388
Шкловский В. Б. 20
Шопен Ф. 261
Штайнер (Штейнер) Р. 44

Щербаков А. С. 273

Эврипид (Еврипид) 194
Эйхенбаум Б. М. 153
Эредиа Ж. М. де 61, 327
Эренбург И. Г. 5, 9, 67, 121, 122
Эристави Р. Д. 347, 450
Эткинд Е. Г. 287
Эули С. (Куридзе А. К.) 241

Юдина М. В. 272

Ярალი – см. *Шаншиашвили Я.*

Яшвили Паоло Д. 26, 55, 67–70, 77, 79–81, 83, 84, 92–96, 98–100, 103, 107, 108, 111, 112, 114–116, 119–123, 126, 130, 131, 132, 134, 135, 138, 143, 146–148, 150–155, 157, 158, 160–164, 166, 169, 205, 214, 233, 241, 245, 250, 253, 255, 256, 261, 263, 264, 267, 268, 271–275, 277–286, 337–339, 361, 375, 450
Яшвили Паша Д. 131
Яшвили Т. Г. 339, 449

Песнь странника. <i>Подражание Гёте</i> («Возарилась тоска на ночлег...»)	299
Скорбь («Зашла луна... Затем затмились звезды...»)	300
Мелодия («Люблю я ночи тихое раздумье...»)	300
«Я прикоснулся к чонгури и замер...»	301
Мне только слезы стали утешеньем («Мир, возведенный в муке и тоске...»)	302
Песнь Медеи («В ночи по морю рыщет ураган...»)	303
В Цинандали («В небе дивное разнообразье...»)	304
Песня Мадонны («Ко мне, Ты жив, доверься звездам этим...») ...	304
Песня путника. <i>Сонет</i> («Сей мир я покинул — обитель страстей...»)	304
Моя песня («Душе, в слезах омытой, надоело...»)	305
Песня грусти («Когда смеркается, и ночи полог черный...»)	306
Серенада («Май светлый и горячий наступил...»)	306
Восхваление («Я миновал рубеж. Ушел от гор печали...»)	307
Ангел тишины («Над спящим зефиром — пыльца, словно дым...»)	308
К Адонаи. <i>Сонет</i> («Не осуждай меня! Грешник без воли, без сил...»)	308
Медея. <i>Сонет</i> («О мертвой, погребенной той весне...»)	309
Плач («Я проклял жизнь, мечту я презираю...»)	309
Осенняя ночь («Легкий в горах ветерок засыпает, и горы уснули...»)	310
На крыльях мечты («Я был рожден, преображен, ищу я...»)	310
На кладбище («Сюда на угрюмом рассвете его принесли...»)	311
Мертвая легенда («Давно манила сладкая мечта...»)	311
Серенада («Воскресла вновь душа, горя в огне...»)	312
Осенняя ночь («Ночь черна, и скорбно небо...»)	313
Nocturne («Ночь, ночь, темны Колхетии вершины...»)	313
«Слова о том, что я тебя любил...»	314
Верните («Кто горного беспомощней орла...»)	315
Ночь печали («Унылой ночью, в тишине печальной...»)	315
Голубой Эдем («Рай потерянный и милый!...»)	316
«Ни молнии, ни ливень проливной...»	317
«Зачем я здесь, зачем пришел сюда я...»	317
«Тихой музыки слезы льются в ночное небо...»	318
На маскарade («Темно в глазах. А все вокруг горит...»)	318
Сны Халдеи («Мечта целует прошлого следы...»)	319
Сонет поэта («Все кончится. Всему придет конец...»)	320
Белое сновидение («Для Грузии сторали мы, чтоб снова...»)	320
Принц Магог («Ноябрьский бес приходил с бокалом вина...») ...	321

Дальней («Будь дальней! Бездну отдаленья...»)	322
В парке («Нехотя вечер уходит, сгущается тьма...»)	322
Моя книга («Заплачет ли дева над горестной книгой моей...») ...	323
Ноябрь («Высохший лист платана желтизною тяжелою вышит...»)	323
Цветы голубоглазые («Асаргадон твоей упился плотью...»)	324
Пьеро («Лукавым цветком расцвела сумасбродка-весна...»)	325
Автопортрет («Профиль Уайльда. Инфанту невинную...»)	325
Маг-прародитель («Священнодействует доселе...»)	326
Без доспехов («Мне представляется порою...»)	327
«L'art poétique». Из книги «Халдейские города» («В вазу Прюдома поставил я розу Хафиза...»)	328
Халдейское солнце («Далекий путь, и беспредельность...»)	329
Фатьма-Хатун («Терзает душу девы отраженье...»)	330
Король балагана («Я знаю, откуда пришел я сюда...»)	330
Петербург («Ветер с островов курчавит лужи...»)	331
Ванкский собор («Край Наири... Твердокаменный Ванкский собор...»)	332
Халдейский балаган («О родина, смотрю я на тебя...»)	332
Второе апреля («Взяли Батуми, идут на Орпири татары...»)	333
Валериану Гаприндашвили («Мечта твоя варилась в кухне Гойи...»)	334
Священник и малярия («В малярийной испарине бредит больная луна...»)	334
Сезон в Орпири («Река гниет, как труп Левиафана...»)	335
Сатурн и малярия («Я прежде других повторю: — Какая беда...»)	336
Бирнамский лес («Лес Бирнамский... Халдеи глубокие тени...») ..	336
«Священник и малярия» в гробу («Прошла годовщина, как падал кармин октября...»)	337
Паоло Яшвили («Вот мой сонет, мой свадебный подарок...»)	338
Знамя киммерийцев («Словно знамя киммерийцев...»)	339
Ангел-всадник. Поэма («Свет Апокалипсиса! Дальний путь...») ..	340
Нине Макашвили («Словно с креста балаганного — красное платье...»)	343
Чемпион сезона («О, это все темно и непонятно...»)	343
Мелите («Александрия... Карабулах...»)	344
Гион Саганели («Давай-ка припомним в стихах и помянем вином...»)	345
23 апреля 1923 года («Снилось кафе “Монпарнас” мне под утро сегодня...»)	346
Орпирский златоуст («Не путай с златоустом-окропири...»)	346

Мелита. <i>Дадаистический мадригал</i> («Имя мое — Тициан, — как ни странно...»)	348
Тбилиси. <i>Ода</i> («О землю посохом ударил Горгасал...»)	349
Скверное воскресенье («Шесть лет собиралсь...»)	350
Мухамбази, которое не поется («Из Ортачалы плыл Орбелиани...»)	351
Растянутый мадригал («Ты вся отточена, как сабля Мачабели...»)	352
Матери («Я был похож на Антиноя...»)	353
Тамуне Церетели («Никогда не бывало так радостно мне...»)	354
Илаяли («В Скифии я... Киммерийские сумерки...»)	355
Посвящается чужестранке («Стих не прочтешь ты этот, и о нем...»)	357
Из поэмы «Чагатар» («Как бы я ни был покорен, я смею...»)	358
«Жить легко и свободно хочу я, несвязанный атом...»	359
«Вспомнилось детство, топи Орпири...»	359
Орпири («Да где ж они, все эти двадцать лет?...»)	360
Сергею Есенину («Так жить — одному Чагатару под силу...»)	360
Танит Табидзе («Саламбо, босоногая, хрупкая...»)	362
Не удивляйся («Не удивляйся, если вдруг услышишь...»)	363
«Мне свеча святая Алаверди...»	363
Надпись на книге «Ангел-всадник» («На новый стадион спешит столица...»)	364
Скифская элегия («Очи выплакивал тут...»)	365
«Иду со стороны черкесской...»	367
Карменсита («Ты налетела хищной птицей...»)	368
«Привозит дилижанс...»	368
Апрель в Орпири («Солнечным жаром Орпири наполнен...»)	369
Заздравный тост («Привыкли мы славить во все времена...»)	370
«Высоким будь, как были предки...»	371
«Трижды существуя...»	372
Еврейская мелодия («Сиони рядом был...»)	372
Исе Назаровой («Эту память с весенними бурями...»)	374
В Ананури («Ты здесь не бывала. И все-таки мне суждено...»)	375
Понт Эвксинский («А влажный звук неотделим от плоти...»)	376
Издrevле («Издrevле дня каждодневной вершиной...»)	377
Шарманщики и поэты («В Белом духане...»)	378
Встреча с Константином Бальмонтом близ Москвы в Лесном городке («Мы полем шли... Доверчивей ребенка...»)	380
Тбилисская ночь («Как будто умирающая, ночь...»)	381
В Кахетии («Слушайте зов Алазанской долины...»)	382
«Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут...»	383
Того скрывать не надо («Дезертиры палят из ружей...»)	384

Гуниб («Я прошел по Дагестану, как мюрид...»)	385
Запоздалые скачки («Все мне кажется, будто на скачки...»)	386
Ликование («Как кладь дорожную, с собою...»)	387
Шапка Гарибальди («Я еще безусый был мальчонка...»)	387
Всходит солнце, светает («Солнце первыми лучами метит...»)	388
Из Соганлуга («А Кура — колыбельного тише напева...»)	388
Брату Галактиону («Двое братьев, почти близнецы...»)	389
В Гомборах («Распыляется, гибнет Уджарма. Но свой...»)	390
«Брат мой, для пенья пришли, не для распрей...»	391
Сентиментальное путешествие («Май всюду есть май. Повсеместное чудо...»)	392
Ярали («Судьбою ты нам послан, Ярали...»)	392
Сельская ночь («Дворняжки малые “тяв-тяв” на месяц в небе...») 393	
Роальд Амундсен. Поэма («— Проснись...»)	393
Окроканы («Если впрямь ты поэт, а не рохля...»)	402
Осенний день в Окроканах. <i>Рабле и Калмасоба</i> («В простом стихе вместить мне хочется...»)	403
Из цикла «Всем сердцем»:	
«Это меня удивляет — стих...»	405
«Друзья, старинный облысел Парнас...»	406
Тапараванское сказанье («Парню одному с Тапаравани...») ..	407
Тамуне Церетели («В той памяти весна черна, как ночь...»)	408
В Армении:	
Камни говорят («Будто ожил древний миф...»)	408
Лазурь в лазури («Растворив лазурь в лазури...»)	409
И автодор большой пустыни... («Скала лишилась плоти, кожи...»)	410
Сбылась мечта поэтов («Хоть вовсе о прошлом не думал ты тут...»)	412
Здравица («Здесь когда-то Григол Орбелиани...»)	413
Поездка в Агзевань («И не так уж далеко от Агзевани!...»)	415
«Во веки веков не отнимут свободы...»	416
Стихи о Мухранской долине («В Мухрани трава зеленой изумруда...»)	417
За лавиной — лавина («Гром, в вершину скалы громовой ударяя...»)	418
«Поэты, безутешно плача, пели...»	419
«Лежу в Орпири, мальчиком, в жару...»)	420
Картлис Цховреба (<i>Вступление к поэме</i>) («Говорят, что раз в сто лет колышет...»)	421
Акакию Васадзе. <i>Экспромт на исполнение роли Франца</i> («Боги удачи тебя не боятся...»)	422

Надпись на кубке («In vino veritas!»...»)	422
Родина («Горы и доли твои ненаглядные...»)	423
Багдадские небеса. <i>Владимиру Маяковскому</i> («Много не сделано — вижу воочью...»)	427
Рождение стиха:	
1. «С неба на землю огромным мостом...»	429
2. «Слова ни разу я не обронил...»	430
Две Арагвы («Это потоп заливаает долины...»)	431
Праздник Алаверды («Огромные арбы покрыты ковром...»)	432
Колхида ждет нового Орфея («Над сыростью древних болот...»)	433
«На судьбу человека глядит с высоты...»	435
«Уже сломал и растопил Казбек...»	436
«Раздастся крик предсмертный у ворот...»	437
«О, Мкинвари когда проснется...»	438
Александр Пушкину («На холмах Грузии играет солнца луч...»)	438
Мать и сестры Владимира Маяковского («— Что скажу им — Оле и Люде?...»)	439
На рассвете («По небу мечется звезда денницы...»)	441
«Так же просто, как в Мухрани...»	441
Важа Пшавела на Мтацминде («Не думала спорить гора с Магометом...»)	442
Краткий пояснительный словарь	444
Именной указатель	451

Согласно Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», «книга предназначена для лиц старше 16 лет»

Научно-популярное издание

Галина Михайловна Цурикова

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ:

Жизнь и поэзия

Тициан Юстинович Табидзе

АВТОПОРТРЕТ

Избранное

Редактор *Н. Е. Соколовская*

Компьютерная верстка *С. В. Степанова*

Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 60 × 88 ¹/₁₆. Бум. офсетная. Гарнитура Octava.

Печать офсетная. Усл. л. 30,0. Тираж 2000 экз.

Зак. № 3501

ООО «Издательство “Росток”»

E-mail: rostokbooks@yandex.ru

По вопросам оптовых закупок

обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

*Книга выходит в год 120-летия Тициана Табидзе
и 125-летия Бориса Пастернака*

Предлагаем вниманию читателей *первое полное не подцензурное* издание книги историка литературы, критика Г. М. Цуриковой «Тициан Табидзе: жизнь и поэзия». Это единственная книга, посвященная жизни и творчеству известного грузинского поэта, его дружбам с русскими поэтами, и особенно душевному родству, связывавшему Тициана Табидзе с Борисом Пастернаком. В книге также содержится поэтический корпус, в который вошли как широко, так и мало известные стихотворения Тициана Табидзе.

Грузинская поэзия не перестала быть для нас тем, чем была последние два века: частью русской литературы и русской культуры, чему свидетельством является и эта книга.

...Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Перевод Б. Пастернака